



БИБЛИОТЕКА
ТОМСКОЙ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ

VII



Библиотека
томской поэзии
и прозы

Издание Томской писательской организации

Библиотека
томской поэзии
и прозы

ТОМ
7

Леонид Шелудько
Сергей Куклин
Олег Лапшин
Татьяна Прокопьева
Анастасия Губайдуллина
Екатерина Сердюк

ТОМСК
2018

ББК 84(2Р)6
Б59

Л. Н. Шелудько, С. А. Куклин, О. В. Лапшин, Т. В. Прокопьева, А. Н. Губайдуллина, Е. С. Сердюк. Библиотека томской поэзии и прозы. Литературно-художественное издание. Том 7 — Томск, 2018. — 420 с.

Литературно-художественное издание
«Библиотека томской поэзии и прозы»
издаётся при поддержке
губернатора Томской области
Сергея Анатольевича Жвачкина

Леонид ШЕЛУДЬКО

Повесть

Рассказы

Стихотворения



Леонид Николаевич ШЕЛУДЬКО

Родился 16 декабря 1952 года в п. Черновские Копи (шахтёрский пригород Читы). Рос в посёлке шахты Харанор, в даурских степях. В 1970 году приехал поступать в Томский политехнический институт, после окончания с дипломом горного инженера-механика уехал работать на гигантские угольные разрезы Экибастуза и Павлодарской области Казахстана. С 2004 года живёт в Томске.

Стихи начал писать в пятнадцать лет. В студенческие годы занимался в литературном объединении «Молодые голоса», которым руководила Т. А. Калёнова. Регулярно публиковался в институтской многотиражке «За кадры», выступал на телевидении. В Экибастузе участвовал в создании и работе литературного объединения «Пласты», печатался в городской и областной прессе, в доперестроечной «Комсомольской правде». В 1986 году стихи Л. Н. Шелудько появились в республиканском литературном журнале «Простор». По возвращении в Томск пришёл в литобъединение «Молодые голоса» ТПИ, возрождённое в 1999 году Александром Казанцевым. Член Союза писателей России с 2009 года.

Книги: «Дорога через осень», «Бумажный голубь», «Рыжий» и другие.

ИНАЯ

Повесть

Глава 1. Найдёнка

Поздно вечером с субботы на воскресенье случилась невиданной силы гроза. Исполинские молнии хлестали землю так, будто провинилась она перед небом. Будто хотело небо спрятать за этой грозой что-то, о чём до поры нельзя было знать ни одной живой душе на земле. Раскаты его злобы бились в окна и стены домов Таинска. Со старых тополей на крыши газетных киосков и металлических гаражей рушились ветки. С холмов шумно мчались потоки воды, проносились по улицам, сметая всё на своём пути, и врывались в делившую город пополам речку Ургу. Речка вздулась так, что едва успевала нырять в подземную часть своего русла у Большого концертного зала. Клопоча и крутя воронки, вырывалась на волю у «Белого Дома», областной администрации и с разбега влетала в Таю, со спокойным достоинством нёсшую свои воды под мрачными сполохами грозы вдоль южных и западных окраин города.

Очередной огненный бич хлестнул где-то рядом, и во всём районе, прилегавшем к улице Трамвайной, погас свет, оборвав программу «Время» на репортаже с XXVIII съезда Коммунистической партии Советского Союза.

— Серёжа, отключи телевизор от розетки, а то мало ли что, — сказала мужу Антонина Северцева. Она оторвалась от окна, за которым бурлил поток, разгонявшийся на крутоватом спуске с улицы Кобзаря и низвергавшийся в пенную водяную лавину, уходящую вниз по Трамвайной на проспект:

— Видишь, какая погода? А ты за грибами собираешься.

— К утру всё равно распогодится, — ответил её Сергей, шлёпая босиком на кухню. Ощупью нашёл в ящике кухонного стола спички и зажёл свечу.

И правда, к утру распогодилось. Только мусор, принесённый ночным потоком, да сломанные ветки во дворе напоминали о вчерашнем. Первой электричкой Северцевы доехали до Межевой и углубились в лес, начинавшийся сразу за станцией. Солнце вставало над лесом, курилась влажная земля, мокрая трава похлёстывала по голенищам резиновых сапог. Везде — на траве, на листьях

и даже на паутине между ветвей — блистали в солнечных лучах жемчужины отшумевшей грозы. И первый груздочек, выглянувший из-под прелой прошлогодней хвои, до краёв был полон влагой.

— Ну, с почином, — сказала мужу Антонина, и они, разойдясь на несколько шагов, неспешно пошли навстречу поднимавшемуся всё выше солнцу, заглядывая под деревья и кусты, приподнимая лезвиями ножей бугорки старых листьев. Через полчаса, когда ведро Сергея заметно потяжелело, вдруг донёсся до него громкий и какой-то тревожный голос жены:

— Серёжа! Иди-ка скорей сюда.

— Целую грибную поляну надыбала? — подошёл он поближе.

— Да тихо ты, — уже вполголоса оборвала она, — плачет кто или кажется?

Они стояли рядом, вслушиваясь в лесные шорохи и птичьи голоса. И одновременно услышали сквозь них тихий плач где-то совсем близко. На ходу смахнув паутину между кустами, рванулся в ту сторону Сергей. И через несколько широких шагов остановился так резко, что жена сходу уткнулась в его широкую спину.

В траве между молодой берёзкой и кустом дикого шиповника на куске ткани жемчужно-белого цвета лежал и тихо плакал голенький ребёнок. Совсем маленький, нескольких дней от роду. Девочка. Антонина ахнула и подхватила девочку на руки. Та перестала плакать, посмотрела на женщину внимательными серыми глазами и, сунув в рот большой палец, старательно зачмокала.

— Вот это да. Серёжа, её бросили здесь уже после грозы, вот и плёнка почти сухая. Из Межевой кто-то. Или из нашей электрички. Чесанул напрямик по лесу, бросил ребёночка и смылся. Тварь, а не женщина, и как только её земля носит?

Северцевы жили вместе пятый год, но детей у них не было. Сергей служил срочную в ракетной части и попал там под облучение. Врач сказал ему:

— Ничего страшного, вот только детей у вас, сержант, может не быть. По крайней мере, в ближайшие десять лет.

Антонина знала об этом с тех пор, как они решили пожениться. «Ничего, — думала она, — десять лет не вся жизнь, а я терпеливая». Но всё равно старалась не глядеть в сторону счастливых молодых мамочек с колясками. У неё просто не укладывалось в сознании, как это можно — выносить и родить ребёнка, да ещё такую красивую девочку, чтобы бросить в лесу на верную смерть. «Тварь!» — опять вскипела в женщине злоба. Малышка заплакала.

— Она же голодная. Серёжка, дуй-ка назад на Межевую. Спросишь у дежурной на вокзале, где найти участкового или любую здешнюю власть, и быстро веди сюда. По правилам надо, чтобы они на месте всё увидели.

Спроси её сейчас Сергей, что это за «правила», вряд ли смогла бы она связно ответить. Но он много раз убеждался в прозорливости своей супруги, потому поспешно зашагал назад. И через час привёл участкового.

Первой вечерней электричкой возвращались Северцевы домой.

— Ну вот, Серёжка, пошли по грибы, а нашли девочку. Как она там теперь, наша найдёнка? Спит или опять плачет?

— Позвоним завтра да и узнаем, — погладил он пальцами карман рубашки, в котором лежал тетрадный листок с телефоном роддома имени Семашко, куда «скорая» увезла со станции девочку, — а плакала она, только когда её у тебя забирали. Наверное, успела привыкнуть. Подумала, что ты мама.

— Ну скажешь тоже, — ответила мужу Антонина. Остаток пути они проехали молча. Но и в дороге, и дома лицо её будто светилось тёплым тихим светом. Сергей видел этот свет и помалкивал, боясь погасить его неловким словом.

В понедельник вечером, отработав смену на «Электромоторе», они пришли в роддом Семашко. Оказалось, что у их безымянной «найденки» уже есть имя — Ника.

— А почему так? — удивлённо спросила Антонина у торопившейся домой старшей медсестры.

— Как это «почему?» — на ходу объяснила та, — имя у каждого ребёнка должно быть. Наш роддом — имени Семашко. Николая Александрыча. Потому был бы мальчик, стал бы Колькой. А девочка — Ника. Богиня победы. Нормальное имя.

— А фамилия тоже будет?

— А фамилия... Вот будем в Дом малютки передавать, тогда и до фамилии руки дойдут. Всё, некогда мне, женщина. Рабочий день кончился.

Глава 2. Ника Северцева

Таинск начинал просыпаться в половине шестого. Первыми вставали те из таинчан, кто работал на нефтехимическом комбинате, птицефабриках, свинокомплексах и других предприятиях за чертой города. В нём не было крупных производств уровня АвтоВАЗа, Северстали или Уралмаша. Но горожане критически хмыкали в адрес тех из приезжих, кто называл Таинск глухой провинцией, не без оснований полагая, что причиной таких заявлений была элементарная зависть к «сибирскому Оксфорду»: каждый пятый житель его был студентом, а по количеству образованных людей «на душу населения» Таинск чуть-чуть уступал одной Москве, слегка опережая Петербург.

Первая летопись города повествовала: стоял хмурый полдень, когда струги казаков вошли из Таи в устье Урги. Смуглолицые скуластые воины их нового союзника Таймурзы ждали на берегу. И проводили на высокий пустынный мыс у слияния рек. Там, на мысу, самый могущественный шаман племени начал камлать вокруг священной шкуры царя тайги, белого оленя. И было в грохоте его бубна, в неистовой, обращённой к небу пляске-мольбе такое, что крестились никогда не боявшиеся ни чёрта, ни самой смерти казаки, а покрытые шрамами сражений с кочевниками юга скуластые воины прижимали к губам и сердцу родовые амулеты. И в ту минуту, когда в изнеможении рухнул шаман на священную шкуру и, протянув руку к небу, прохрипел что-то, вряд ли понятное даже его сородичам, открылось окно в сплошных тучах над мысом, и упал на это место столб солнечного света. Радостно вскинули копья воины и с великим почётом, на белой шкуре, унесли обессиленного в юрту. А в столб света, соединивший небо и землю, вошёл походный батюшка отец Фёдор, рыжебородый и кряжистый, чья рука десять лет назад вместо креста сжимала рукоять казачьей сабли. И отслужил он первый молебен на этом мысу. Ему прислуживал отрок Ванюша Северцев, сирота, приставший к отряду в Нарыме. Едва закончился молебен, прилетел неведомо откуда снежно-белый голубь и сел на широкое правое плечо отца Фёдора. Правда, злые языки утверждали потом, что голубя отрок из Нарыма с собой привёз. На том месте заложили казаки острог. Вечером на пиру сотник Демьян Караваев и князь Таймурза, чиркнув ладони походными ножами, слили по несколько капель крови в чашу с вином и выпили из той чаши, вылив остаток вина на место, где первая башня Таинского острога вскоре поднялась. Так побратались они между собой и с городом.

Северцевы вставали в половине седьмого. В полвосьмого выходили из дома. Они поднимались по улице Кобзаря, сворачивали на Енисейскую и оказывались у проходной литейной площадки «Электромотора», самого крупного из предприятий Таинска, дававшего работу нескольким тысячам горожан. Двадцать минут не спеша, под ручку. Пятнадцать — быстрым шагом. Они расходились по гардеробным, переодевались и встречались уже в бытовке своего участка, куда раньше всех приходила бригадирша Брызгалова, невысокая плотно сбитая бабёнка лет сорока, зоркоглазая и очень памятливая — всегда помнила, кто опоздал, когда и на сколько минут. Впрочем, о днях рождения в своей бригаде она тоже никогда не забывала. Её знали во всех цехах и участках литейки, за злой язык и доносы называя Брызгалихой.

Потом начиналась смена. Антонина работала подсобницей, со скребком и лопатой всю смену обходя транспортные линии. Она

хорошо знала своё дело, и напрасно бригадирша следила за ней — придраться было не к чему. Не встревала и в дразги, неизбежные в преимущественно женской бригаде — детский дом, откуда вышла она в самостоятельную жизнь, приучил не распускать язык.

Сергей уходил на пескосушилку. Открывал топки сушильных барабанов, длинной кочергой шуровал золу, оставляя в топках не остывшие со вчерашнего дня угли. Включал поддув воздуха и начинал лопатой загружать чёрные, матово поблёскивавшие куски кокса. Подняв температуру, запускал вытяжные вентиляторы и подачу. Через полчаса первые струйки до хруста высушенного песка начинали сыпаться из барабанов на транспортёры, уносившие его в накопительные бункеры.

Смена заканчивалась в четыре. А в половине пятого Северцевы выходили из проходной на Енисейскую. Жена уходила влево к проспекту и оттуда ехала в Дом малютки, куда перевели из Семашко найденную ими девочку. Сергей шёл домой, заходя по пути в магазины. Иногда они ездили к девочке вместе. Дела по её удочерению продвигались медленно, и только через год их «найденка» стала Никой Северцевой.

Ника развивалась заметно быстрее своих сверстников. В девять месяцев сделала первые шаги. В два с половиной года говорила родителям очень чисто и чётко:

— А поехали на тр-р-рамвае в гор-р-рсад!

В четыре выучила первые буквы, а в пять уже читала по слогам. Антонина ушла в заботы о Нике всей истосковавшейся по материнству душой и чувствовала бы себя самым счастливым человеком на свете, если бы не смутный, возникавший ниоткуда страх, даже не страх, а тень его, накрывавшая иногда женщину. Чудилось ей, когда гуляла она с дочерью по городу, что где-то рядом бродит незнакомая особа, вглядываясь в лица встречаемых детей. И бросится к её Нике с воплем: «Доченька, наконец я нашла тебя!». И в то же мгновение закончится счастье. Северцева возненавидела эту женщину ещё тогда, когда впервые взяла на руки брошенное дитя. Она даже хотела ограничить прогулки с дочерью своим двором и ближайшими окрестностями, но не знала, как объяснить это девочке. Жена не посвящала мужа в свои тревоги, имея основания полагать, что если вслух сказать о плохом, оно непременно сбудется, и Сергей был счастлив её счастьем.

Дочь пошла в школу, и Северцевы решили работать в разные смены, чтобы иметь возможность провожать и встречать девочку, ведь дорога до школы проходила через трамвайные пути и оживлённую улицу. Иногда они брали с собой Мишу Малинина, мальчика из их двора, учившегося в одном классе с Никой. Иногда

Малинины-старшие брали Нику. А домой дети почти всегда возвращались вместе.

Они подрастали, и уже не надо было провожать их ни до школы, ни даже до дороги. Глянув через окно спальни во двор, мать поторапливала дочь:

— Никусь, вон уже Миша тебя дожидается.

Девочка на ходу дохлёбывала чай и спускалась по лестнице. Под арку они входили каждый со своим портфелем, но под её сводами портфель Ники обычно перекачывался к однокласснику. Из окна кухни, выходящего на улицу, Антонина видела, как они поднимаются по Трамвайной. Как высокая худенькая Ника что-то рассказывает, размахивая руками, коренастому, кругловатому, чуть пониже её ростом Мише Малинину, нагруженному двумя портфелями. «Мишке в малине», как дразнила паренька спутница. У неё была мягкая игрушка, большой, цвета кофе с молоком, медведь, подарок родителей на день рождения. Девочка назвала медведя Мишкой и играла с ним в школу, воображая себя учительницей:

— Ай-яй-яй, Миша Малинин, ты почему слово «живот» через «ы» написал? А за что Колю книжкой ударил? Без родителей завтра не приходи, а сейчас вставай в угол! — и отворачивала медведя лицом к стене.

Почему-то Ника наперёд чуяла, когда учителя спросят Мишу, по какому предмету и даже что именно. Она предупреждала друга, но тот считал это обычной девчоночьей перестраховкой. И каждый раз убеждался в правоте Ники:

— Откуда ты знала?

— Ниоткуда. Просто знала, и всё.

Оказалось, что она может знать это и о других своих одноклассниках. Если захочет. Только о самой себе, Нике Северцевой, девочка ничего такого никогда не чувствовала заранее. И просто готовилась к урокам. Половина класса списывала у неё домашние задания по математике или русскому. Только Миша стеснялся. И приходил к ней домой, когда не мог справиться с уроками сам.

А однажды Ника вдруг поняла, что может чувствовать мысли мамы и папы. Подробно, в мельчайших деталях, как если бы они мыслили вслух. Надо было только приоткрыть воображаемую дверцу внутри себя, и их мысли начинали звучать в голове, будто собственные. А главное, откуда-то появилась уверенность, что со временем у неё получится заглядывать в любую человеческую душу, когда пожелает. Подглядывать. Подслушивать. Навязывать свою волю. Ника не знала, откуда явилась эта уверенность, и девочке впервые в жизни стало страшно, что некто чужой и сильный хозяйничает в её голове. Тогда она наглухо закрыла в себе воображаемую дверцу, позволявшую слышать неслышимое, и ей стало легче.

Годам к десяти её любимой книгой стала повесть Януша Корчака «Король Матиуш Первый». Она попробовала увлечь этой книгой Мишу Малинина, но тот читал и перечитывал «Легенду о Тиле Уленшпигеле». И Ника усаживала возле себя игрушечного мишку-медведя и принималась вслух читать ему любимые места из «Матиуша».

Глава 3. Иная

— Мама, ну врёт же она! И сына врать заставляет.

На телеэкране тётянка средних лет рассказывала о своей уникальной способности лечить людские болезни:

— Вот вы, женщина, да-да, вы! Выйдите сюда. Сынок, — обратилась она к мальчику лет десяти, — посмотри, чем она больна.

— У неё камень в почке, мама, — ответил тот, пристально посмотрев на стоящую в нескольких шагах от него смущённую и слегка уже напуганную женщину.

— Вот видите, а вы даже не знали, наверное. Ну ничего, сейчас мы с сыном лечить вас будем. Я усилим воли разобью ваш камень, разотру его в песок, и он сам выйдет. Вы даже ничего не почувствуете. Смотри внимательно, сынок, и рассказывай, что будешь видеть.

Тётянка-экстрасенс подняла на уровень пояса левую руку ладонью вверх и с силой ударила по ладони кулаком правой руки. Ещё раз, ещё, ещё:

— Что видишь, сынок?

— Треснул. Дробится. Распадается.

Тётянка начала тереть кулаком по ладони:

— А теперь?

— Уже совсем мелкий песочек остался, — через пару минут сообщил ей сын.

— Ну вот, теперь всё в порядке. Только вы, женщина, к врачам всё же ходите. Пусть на всякий случай обследуют вас и подтвердят результат моего лечения.

Взволнованная женщина кинулась к спасительнице и её сыну, аплодисменты телеаудитории почти заглушили сбивчивые слова благодарности, ведущий передачи поправил галстук-бабочку и громко произнёс, почти выкрикнул:

— А теперь я приглашаю сюда парапсихолога и психотерапевта Авксентия Петровича Кислицына! Встречайте!!

Сергей и Антонина Северцевы догадывались о необычных способностях дочери. Она всегда точно знала, где лежат потерянные взрослыми вещи. Какая погода будет завтра и через неделю. На ка-

ком из городских рынков и у кого сегодня самая дешёвая картошка. Однажды женщина из соседнего подъезда потеряла маленькую дочь, ушедшую погулять во двор. Обошла все соседние дворы и собиралась уже звонить в милицию, когда вышедшая из подъезда Ника сказала:

— Тётя Таня, вы не волнуйтесь. Ваша Ксюша с девочками на «три качели» ушла.

И женщина побежала на «три качели», удалённую от их двора детскую площадку. Привела свою девочку и зашла поблагодарить Северцевых за внимательную и памятную дочь. А они-то знали, что дочь провела почти весь день дома и просто не могла видеть, куда и с кем ушла эта соседская Ксюша.

— Откуда, доченька?

— Не знаю. Просто представила себе Ксюшу и увидела её на «трёх качелях». Я правда не знаю, как это получилось.

Когда бывали телепередачи с участием людей, наделённых необычными способностями или выдававших себя за таковых, девочка просто прилипла к экрану. Она приоткрывала в себе воображаемую дверцу и осторожно входила в мысли этих людей, пытаюсь через их знания и опыт понять себя. Лучшие из них были хорошими психологами и психотерапевтами. Они действительно могли лечить людей словом. И только. Другие умели проникать в чужие мысли и беззастенчиво пользовались этим. Третьи просто дурили народ, как тётяшка, кулаком разбившая несуществующий камень:

— Мама, ну врала же она и сына врать заставляла.

В городских газетах появились объявления: «Гадание, снятие порчи, любых магических воздействий. Сильнейшие обряды на возврат отношений в семье, любимых, отворот от соперников, практическая магия». «Гадаю на картах, снимаю порчу, работаю космоэнергетикой». «Экстрасенс-психолог, высшее образование. Восстановление отношений, увеличение доходов». Какая-то «потомственная ведьма» обещала: «Приворожу навсегда. Расскажу всё по фото. Устраню соперников». И даже «ясновидящая, целитель, биоэнерготерапевт, профессор, магистр, член международного регистра», награждённая «золотым знаком Элита», предлагала «все виды магических услуг очно и дистанционно». Эти люди были рядом. Ходили по соседним улицам. Оставляли номера своих телефонов. Усилием мысли девочка всматривалась в них. Одни жаждали славы. Другие власти. И все — денег.

Девочка поняла, что она иная. И тайне, появившейся в ней неизвестно откуда, ещё долго оставаться неразгаданной. Эта тайна мешала быть, как все. Мешала раскрыть душу даже перед теми из одноклассниц, которые относились к Нике с искренней симпатией, хотя и чувствовали незримую преграду между собой и этой

странной девочкой. Зато одноклассников именно тайна и притягивала. И удерживала тоже она.

Нике исполнилось четырнадцать. Из девочки она понемногу превращалась в девушку. Новые ощущения, новые чувства, новые интересы занимали в душе всё больше места, вытесняя прежние переживания. Она приняла себя такой, как есть, и почти успокоилась. Успокоилась наконец и Антонина Северцева. Призрак незнакомки, рыскавшей по городу в поисках её дочери, растворился где-то в обступивших город березняках и ельниках, пихтачах и кедровниках вековой сибирской тайги.

Глава 4. Трамвай первого маршрута

Всем видам общественного транспорта Ника с детства предпочитала трамвай. Когда ей было пять, родители повезли девочку в гости к папиному брату на Урал. На поезде. Для неё это было первое настоящее путешествие. С тех пор каждая поездка в трамвае стуком колёс и покачиванием вагончика напоминала о нём. Если бывало грустно или трудно, если надо было решить для себя что-то важное, она выходила из-под арки своего дома, переходила через рельсы и на той стороне, на остановке «Улица Чкалова», садилась в трамвай первого маршрута. Он убегал до проспекта и оттуда начинал подниматься к площади. Весело бежал Верхней Еланью мимо заводов и корпусов политехнического университета, спускался на Нижнюю и пробегал её, приветствуя звонками городской сад и Новособорную. С Нижней Елани ещё раз спускался, въезжал на Пески и пересекал их по прямой, как стрела, Магистратской. С неё нырял в петляющую меж домов частного сектора Большую Подгорную, на которую свысока поглядывали новые микрорайоны Каштанной горы. В середине Подгорной, возле рынка, разворачивался на кольце и начинал обратный путь. Там Ника снова покупала билет и возвращалась домой, успокоившись и приняв решение.

Вот и теперь колёса постукивали по стыкам рельсов, слева потянулись корпуса заводов, а Ника всё не решалась отвести взгляд от потока машин на проспекте и поглядеть вглубь себя. Живущая внутри девушки тайна с завидной регулярностью подсовывала ей загадки одна замысловатее другой. Годам к шестнадцати обнаружилось — она может легко видеть прошлое любого человека. Достаточно было мысленно пролистать дни или годы этого человека назад, и открывались события, о которых сам человек успел забыть. Она увидела детство и юность своих родителей, их встречу в людской толпе у проходной «Электромотора», первые цветы, подаренные маме папой, и первые их поцелуи. Даже сцены близости могли во всех подробностях развернуться перед ней, если

бы она позволила себе увидеть это. Однако экскурсии в прошлое других людей были чем-то сродни подглядыванию из темноты в освещённые окна чужих домов, занятию для людей, не обременённых совестью. Зато с каким удовольствием окуналась девушка в прошлое города! Да, и это тоже было теперь возможным — невидимкой бродить среди казаков, закладывавших стены деревянной крепости у слияния двух рек, подниматься по Кузнечному взвозу на Соляную площадь под перестук молотов о наковальни, воочию видеть, за что получили свои имена Мухин бугор и Шведская горка. Провожать первых каторжан, угоняемых в неведомую глушь по только что проложенному Иркутскому тракту, и встречать первых студентов первого сибирского университета. Эти молодые люди приезжали в Таинск из глухих тмудараканей сибирской земли, а через несколько лет уезжали отсюда инженерами, врачами, архитекторами и педагогами. Или оставались здесь навсегда. Ника так и не разгадала, почему из города купцов, богатевших торговлей, простиравших её до Монголии и Китая, на стыке девятнадцатого и двадцатого столетий он превратился в город университетов, которыми начали купцы гордиться не менее, а может, и более, чем своим личным барышом. Она была знакома с первой летописью города и придумала для себя: значит, именно тогда дали первые всходы зёрна света, упавшие на эту землю в день основания Таинска.

Однажды Нике захотелось увидеть самое начало своей жизни — от появления на свет. Решила пролистать время назад — не тут-то было. Время не листалось. Даже о событиях трёхмесячной давности она могла знать только то, что сохранила память. Поняла — и даже легче стало: «Ф-фу, хоть в этом я такая же, как все». Зато дорога в первые дни жизни легко открылась перед ней, стоило полистать назад мамины и папины годы. Лучше было бы Нике не додуматься до этого способа. Тогда не пришлось бы увидеть крохотной полянки между молодой берёзкой и кустом дикого шиповника, где на куске ткани жемчужно-белого цвета лежал и тихо плакал голенький ребёнок.

С гулко бьющимся сердцем вылетела она из этого дня жизни родителей. Не сразу успокоилась. А когда успокоилась — вернулась в этот день и пошла от него дальше, к роддому и Дому Малютки, к сияющим маминым глазам и растерянно-счастливым папиным. И вспомнила, как мама стискивала её руку, стоило незнакомой встречной женщине глянуть в их сторону. Уже зная, где надо искать, нашла бумаги о своём удочерении. Придумала для мамы историю о том, как она случайно наткнулась на эти бумаги. Продумала всё до мелочей. А когда мама пришла с работы, дочь, перехватив из её рук тяжёлые пакеты с покупками, сказала только:

— Ты перестанешь эти тяжести таскать? Ведь есть же папа, и у меня руки вроде на месте.

— Да я же всё равно по пути, Никуся, — будто оправдываясь, проговорила та.

«Спрошу, — вертелось в голове девушки. — Только зачем? И так всё знаю. А чтоб сама правду сказала! Ну скажет, и станет ей больно. А мне не больно?» И сама же одёрнула себя: «Не совала бы нос в их воспоминания — не было бы сейчас больно». И она закрыла своё только что сделанное открытие. А зёрнышко одиночества, упавшее в душу, когда Ника впервые ощутила себя иной, и лежавшее там почти неощутимо несколько лет, вдруг ожило и пустило первый корешок. Когда через полгода или год она поняла, что может видеть не только прошлое, но и будущее — за исключением своего собственного — то отнеслась к этому совершенно спокойно, как и к ещё одному корешку одиночества в душе.

Трамвай первого маршрута давно миновал Новособорную и мост через Ургу, а Ника всё никак не решалась начать обдумывать главное. Она окончила школу и поступила на механико-математический факультет государственного университета, на специальность «астрофизика и звёздная астрономия». Её с детства завораживало звёздное небо. Здесь, в средней полосе Сибири, почти всегда задёрнутое то ватным одеялом, то рваной кисеёй очередного циклона, в ясные зимние ночи небо являло Нике удивительные гроздьё мохнатых от мороза созвездий. А в девятом классе она побывала в планетарии и увидела фантастической красоты снимки с космического телескопа «Хаббл».

Такое случается хотя бы раз в детстве и самой ранней юности любого человека — что-то происходит с тобой впервые, а тебя пронзает мгновенная искра: это уже было со мной! Искра тут же гаснет, а с нею и это чувство. Только память о нём остаётся, а потом и память тускнеет. Тускнеет и гаснет. Эта искра пронзила девушку одновременно с первым взглядом на хаббловские снимки: видела! И погасла, оставив растерянное: «Да где же я увидеть-то могла такое?». Память об этом и привела её на мехмат университета. А друг и верный рыцарь Миша Малинин поступил в политехнический. Вот и подошла Ника к самому главному, а трамвай первого маршрута к конечной остановке, кольцу в середине Большой Подгорной. Девушка купила новый билет, и трамвай, выждав положенное по графику время, тронулся в обратный путь.

Нике нравился Миша. Мишка-медведь. Так называла она и своего друга, и игрушку, подаренного в детстве родителями большого, цвета кофе с молоком, медведя, надёжного хранителя её тайн, обид и сомнений. Когда у медведя отвалились фабричные пластмассовые глаза, девочка фломастером нарисовала ему красивые,

совсем не медвежья, с длинными загнутыми ресницами. И каждый год в день рождения медвежонка, всегда совпадавший с её собственным, подновляла эти глаза. У игрушки начали отваливаться лапы — бралась за иголку.

«Стоп, опять я не о том», — оборвала она себя. Нике нравился Миша Малинин. Высокий и сильный, хотя пока по-юношески неуклюжий. Тёмно-русые волосы лежали на его голове крупными волнами, прикрывая чуть оттопыренные уши и обрамляя широкое, загорелое, кое-где ещё тронутое прыщами созревания лицо. Тёплые карие глаза на этом лице, то грустные, то весёлые, но всегда внимательные, заставляли не замечать ни слегка искривлённого в юношеской драке носа, ни жиденьких усиков, которыми в третий раз за последний год собрался обзавестись этот добрый и доверчивый Мишка-медведь. Она с детства знала, что нравится ему, но лет до четырнадцати относилась к этому спокойно. Так люди относятся к хорошей погоде на дворе или несколько раз перечитанной книге. Но когда началось её превращение из девочки в девушку, в глазах друга появилось любопытство. Сначала осторожное, почти незаметное. Но чем старше они становились, тем чаще Ника ловила на себе его взгляды, то восхищённые, то заставлявшие девушку мысленно краснеть. Мишка мгновенно отводил глаза, но что он мог сделать с лицом, на котором начинала проступать откровенно-предательская краснота? Однажды взрослый парень из соседнего двора схватил Нику за грудь. Она вырвалась и убежала, а на следующий день Миша Малинин явился в школу с разбитым покривившимся носом и распухшими, с сорванной кожей костяшками пальцев на руках. Девочки из их класса, до этого случая поглядывавшие на него с интересом, начали открыто лезть на глаза, но что-то было в этих глазах такое... Точнее, не было в них именно того, заставлявшего мысленно краснеть Нику. Они оставались и добрыми, и внимательными, но на удивление спокойными, когда глядел парень на других своих ровесниц. А потом был выпускной вечер. Прощание с детством, лёгкий алкоголь и тревога, неумело прикрытая бравадой. А ещё первые поцелуи. Во время танца. И в пустом тёмном классе. И дрожь, вдруг заколотившая большое Мишкино тело и заставившая Нику оборвать поцелуй:

— Пошли, а то искать начнут.

— Да ну их всех, Никусь...

Что-то непривычное, даже пугающее повисло между ними в этом пустом, освещённом одной луной классе, и девушка потянула парня за руку:

— Пойдём. Не надо больше ничего.

И добавила, глядя прямо в его помутневшие, хмельные не только от вина глаза:

— Сегодня не надо, мой хороший.

Ника слышала, как мама иногда говорила папе эти слова, и произнесла их, в точности повторив мамину интонацию, ласково и твёрдо. Мишка сразу обмяк, уткнув загоревшееся лицо в ладони.

Девушка ничуть не покривила душой, назвав его «мой хороший». Она просто впервые произнесла вслух то, что чувствовала о нём с недавних пор: мой. Хороший. Позже, снова и снова вспоминая произошедшее, она поняла: в тот самый момент, когда Мишку начала сотрясать дрожь, из самых глубин её души вдруг поднялся кто-то взрослый, мудрый и добрый, и шепнул: сделай так. Стоило парню ткнуться лицом в ладони, этот взрослый и мудрый исчез, спрятался там, откуда пришёл, оставив её растерянной от случившегося девочкой. Так они ещё раз простились с детством.

Трамвай первого маршрута взбирался с Нижней Елани на Верхнюю. По табло в салоне побежала строка: «Следующая остановка — политехнический университет». Мишкин университет. Два года прошло после выпускного вечера. Много за это время случилось в первый раз между стремительно взрослеющими молодыми людьми. Случилось и стало частью их новой жизни. Они не посвящали родителей в перипетии своих отношений, где были не только цветы и поцелуи, но и размолвки, и очень поздние, под утро, возвращения домой из студенческих общежитий, где одноклассники Ники или Михаила, когда очень надо было, освобождали для них на несколько часов одну из комнат. А их родители сами всё понимали и при встречах здоровались друг с другом почти по-родственному. Неделю назад Михаил, прежде чем уехать на свою первую практику, сказал Нике уверенно и веско:

— Получим дипломы и поженимся. Скорее бы уже, надоело прятаться.

Она промолчала, и он решил, что молчание — знак согласия. Знать бы ему, о чём её молчание... Вот и искала девушка в этом трамвае ответа на вопрос: знать ему или не знать? Тот взрослый и мудрый, что всего однажды пришёл на помощь в трудную минуту, молчал: решай сама. А она начала летать. В детстве люди иногда летают во сне. Ника тоже летала. Просыпалась и помнила только ощущение полёта. А мама говорила, как все мамы своим детям:

— Летаешь — значит, растёшь.

Ночью две недели назад она долго не могла уснуть в душевной комнате. А потом ей приснился странный сон. Будто она, не в силах уснуть в душевной комнате, решила выйти на свежий воздух. Легко, совсем как в летучих снах детства, поднялась над кроватью. Посмотрела на себя, лежащую на правом боку лицом к стене, и вылетела на улицу прямо сквозь москитную сетку распахнутого окна. На улице тоже было душновато. Разогретые за день земля и асфальт выдыхали скопившийся в них жар, он заливал улицы и переулки, неспешно поднимаясь к прохладному небу. Ника поле-

тела по ночному городу на высокий правый берег Таи, не удивляясь полёту — во сне же! Не соответствовали обстановке сна только ясно слышимые звуки готовящегося к ночи города: шуршание шин последних маршруток, треск то вспыхивавшей, то почти погасавшей лампы на столбе у перекрёстка, неестественно громкие голоса подгулявшей компании у закрывающейся шашлычной. А ещё запахи горячего асфальта и последних снятых с мангала шашлыков.

С левого, низкого берега реки, с лугов и роц заречья, тянул ветерок, уносивший не только остатки дневной духоты, но и мошку с комарами. Поэтому здесь, на речном обрыве и в аллеях раскинувшегося над ним сада, всегда находили пристанище влюблённые пары. Ей захотелось на свою скамейку, которую они с Мишей облюбовали ещё первокурсниками. Ту самую, на перекладинах которой он вырезал перочинным ножом, поджидая её: «Ника!», «Никуся» и даже «Никушка». «Ты бы ещё «фигушка» нацарапал», — буркнула она тогда. А на верхней перекладине красовалось «Лучше всех политех». Но этот пафосный клич изваял кто-то другой.

Однако их скамейка под берёзой в ближней от обрыва аллее была занята. Там ссорилась молодая пара. И, судя по накалу разговора, ссорилась давно. Парня Ника узнала: он несколько раз выступал на факультетских собраниях, каждый раз требуя чего-нибудь от кого-нибудь. Вот и теперь парень требовал от невысокой худенькой девушки, чтобы та сама, не впутывая его, решила свои проблемы.

— Но у меня же ни рубля лишних денег нет... — оправдывалась она.

— Раньше надо было думать! И предохраняться! — гремел он. — Займи у кого-нибудь денег, раз ума занять не у кого!

— Значит, я дура, а ты умный?! Как твоя «умная» мамочка?! — вспылила девушка, пальцами изобразив в воздухе кавычки вокруг этого слова.

Парень размахнулся для оплеухи. Высокий, крепкий, комплекции Миши Малинина. Ника поняла, что сейчас девушка полетит на асфальт аллеи с разбитым в кровь лицом. И она бросила себя в промежутки между спорившими, как можно ближе к парню. Тот не успел ударить. Нечто неведомое отшвырнуло его от девушки. Толчок был такой силы, что тело парня перелетело через скамью и рухнуло под стоящую за ней берёзу вместе со скамьёй.

— Подавись своим подарочком! — девушка сорвала что-то с пальца левой руки, швырнула в сторону упавшего и почти бегом пошла по аллее в сторону выхода из парка, прижимая ладони к лицу. Когда наконец парень опомнился и, ругаясь, встал, девушка уже перебежала проспект, догоняя последний троллейбус.

«Это сон, это только сон», — твердила Ника, подлетая к дому.

Прошла через москитную сетку открытого окна, увидела в темноте себя, спящую лицом к стене. «Вот же я», — подумала с облегчением, возвращаясь в спящее тело, и уснула уже без сновидений. Однако утром она вспомнила всё так ясно и чётко, будто прокрутила запись на экране компьютера. Всё, вплоть до шума падения и слов ругани. Тут же придумала предлог, чтобы улизнуть из дома, и поехала на берег. Вышла из троллейбуса, торопливо пересекла проспект, вошла в парк. Самым коротким путём зашагала к «своей» аллее. И ещё издали увидела перевёрнутую скамью под берёзой. Подошла вплотную. Листочки веток, надломленных парнем, которому некуда было девать свой гнев, уже начали увядать и испускали едва ощутимый запах смерти, окружавший столь любимое ею прежде место. Довершая картину, тускло блеснуло почти вдавленное в землю тонкое золотое колечко с маленьким красным камешком. «Не приснилось...» — обречённо подумала она.

Ещё несколько ночей Ника исследовала новый сюрприз судьбы. Выходила из тела и летала по ночному городу, как булгаковская Маргарита. Оказалось, что во время таких полётов её окружает невидимая, но ясно ощущаемая ею и очень прочная броня, оберегающая от столкновений с чем угодно, от птиц до высотных домов. Поднимающая на любую высоту и с любой скоростью. Не мешающая проходить сквозь москитную сетку и сквозь бетонные стены. И исчезающая неизвестно куда при возвращении в спящее тело. Да и спящее ли? Скорее — замирающее, как дом, из которого ушли люди.

Старенький трамвай первого маршрута подошёл к остановке «Улица Чкалова». Со скрежетом открылись две из четырёх дверей. Девушка так и не приняла никакого решения. «Когда не знаешь, что делать, не делай ничего» — успокаивала она себя чьим-то мудрым советом. Миша вернулся с практики: «Поедем на обрыв!». «Надоело, — ответила Ника, — пойдём лучше в Университетскую рощу».

Глава 5. Волшебница

Миша начал работать мастером на электромеханическом заводе. Начальник цеха, приметивший толкового, ответственного парня, когда тот ещё подрабатывал грузчиком и разнорабочим, а потом был студентом-практикантом, сказал:

— Тебе сейчас что главное? Закрепиться и начать набирать стаж и опыт. Осмотришься на заводе — сам поймёшь, к чему у тебя больше душа лежит.

И Миша окунулся в мир микронных допусков и станков с числовым управлением, ритмичного грохота гидравлических прессов,

ровного гудения мостовых кранов и резких предупредительных сигналов погрузчиков «Комацу». Он втягивался в работу, осваивался в коллективе и чувствовал себя всё увереннее. Вдвоём с Никой они сняли квартиру в доме напротив родительского, на противоположной стороне улицы, и жили теперь вместе. Малинин настаивал на свадьбе, того же мнения были и Северцевы-старшие. Но все их разговоры об этом не могли поколебать упорного молчания Ники. А она не могла найти в себе силу объяснить самым родным и любимым людям причину этого молчания. Как-то, незадолго до получения дипломов, Миша размечтался об их будущей семейной жизни и о двух детях, мальчике и девочке. Ника решила проверить, как исполнится его мечта, и прошла по судьбе Миши в будущее. Там, в будущем, несколько лет рядом с ним была только она. Затем никого, кроме родителей и коллег по работе. А потом — Ника прокляла свой удивительный и беспощадный дар видеть людские судьбы наперёд! — рядом с ним появилась незнакомая молодая женщина. В отчаянии девушка торопливо пролистала дальше: Миша и его женщина шли по улице, катя детскую коляску... Потому, когда разговоры о свадьбе начали преследовать Нику ежедневно, она предложила:

— Давай поживём гражданским браком. Вон сколько людей так делают. А там видно будет.

И её Мишка-медведь согласился ждать, уверенный, что всё изменится, когда у них будет ребёнок. А Ника, получив диплом астронома, работу по специальности найти не смогла — в школах, в планетарии, в НИИ оптики атмосферы всё было занято людьми с опытом и стажем. Однажды в середине дня она возвращалась домой трамваем первого маршрута. В это время народа здесь было мало, вагон просматривался из конца в конец, и взгляд Ники привлекло объявление возле двери в кабину водителя: «Трамвайно-троллейбусное управление объявляет набор на курсы водителей и кондукторов. Во время обучения выплачивается стипендия. Трудоустройство, полный соцпакет». И телефоны отдела кадров. В отделе кадров удивились приходу молодой соискательницы места кондуктора, но отговаривать не стали: мало ли какие обстоятельства привели её сюда.

И она начала работать трамвайным кондуктором, по несколько раз в день проезжая через весь город от кольца на Восточной до кольца на Подгорной или Южной. Ника Северцева любила этот город, его мало-помалу вымиравшие заводы, созвездие университетов, соборы, хай-тековские навороты особой экономической зоны и кружевную вязь столетних двухэтажек Татарской Слободы. Новенькие многоэтажные микрорайоны и тихие кварталы «деревяшек» военной и послевоенной постройки в окружении старых тополей и ветхих сараев. Вечерами они с Мишей гуляли, и Ника

рассказывала мужу удивительные истории, случавшиеся в городе сто лет назад и даже раньше, когда был он экономическим и административным центром громадного края.

— Откуда ты всё это знаешь? — удивлялся тот.

— Книжки читала. И до сих пор, между прочим, читаю. Не то что некоторые. Ты знаешь, что мы сейчас идём по улице Бульварной? А вовсе не по проспекту революционера, чьё имя на табличках? Она, эта улица, до сих пор не смирилась с чужим именем, я чувствую это. Как хорошо, что никто не додумался в угаре революции переименовать Кузнечный взвоз, Соляную и Конную. А с каким облегчением стряхнули с себя чужие имена Воскресенская гора и Новособорная площадь!

— Ты так говоришь о них, будто они живые.

— А какие же, Мишенька? Я их живыми чувствую. И город наш такой же живой, как мы с тобой. Он до нас жил и после нас жить будет.

— Ну... После нас — это понятно... — соглашался он, радуясь хорошему настроению жены, сменившему наконец долгие молчаливые думы о чём-то трудном, известном только ей.

Лишь одно место Таинска Ника всегда обходила и объезжала стороной — нависающий над городом Расстрельный мыс Каштачной горы. Хоть и стоял там теперь огромный крест в память о тысячах невинно убитых. Хоть и стала мемориальным музеем Следственная тюрьма страшного НКВД в самом центре города. И в своих путешествиях по прошлому старалась она не заходить в те годы, когда жизнь любого человека стоила дешевле чернил, потраченных на писание доноса о нём.

Промчалось, будто и не было его, до обидного короткое сибирское лето. Покрасовались напоследок в золоте леса, парки и аллеи. За первым снегом явился первый мороз. Огляделся по сторонам, расписался на стёклах домов, где хозяева не успели вставить в окна пластик, подвернул снежное одеяло под бока продрогшей земле и, довольный осмотром, передал хозяйке-зиме её владения. Ника работала теперь в перчатках с обрезанными пальцами. Своё законное кондукторское сиденье с печкой-трамвайкой под ним она частенько уступала бабушкам или молодым мамочкам с малышами. Легче работалось в новеньких жёлтых вагонах усть-катавского завода — они были тёплыми, к тому же бегущая строка на кабине водителя сама подсказывала пассажирам остановки. Северцева освоилась в работе, где были нужны внимание, настойчивость и выдержка, где даже самый мимолётный контакт с людьми начинался с улыбки. Уже через полгода начальство ставило её в пример другим кондукторам: «Учитесь у Северцевой, её даже пьяные с одного слова понимают». Здесь, на работе, Ника не стеснялась применять

свои способности, чтобы незаметно для постороннего глаза усмирить буйного и одёрнуть нахального, разглядеть среди пассажиров и выдворить карманного воришку или разбудить спящего за пару минут до того, как он проедет свою остановку.

— Вы просто волшебница, девушка, — заявил ей высокий хмурый мужчина, — как вы узнали, что мне сейчас выходить?

— Я же вас не впервые вижу, вот и запомнила, — думая о чём-то своём, улыбнулась она.

— Вид у вас усталый, милая волшебница. И улыбка грустная, — обернулся он, выходя.

Хмурый мужчина не ошибался: каждый вечер она несла домой усталость. Ей было немного легче работать в первую смену — Ника возвращалась задолго до прихода мужа и успевала лечь на диван, выйти из тела и, оставшись внутри своей таинственной брони, раздробить, перемолоть и сжечь перешедшие к ней сегодня из людских душ страхи, тревоги, боль, обиды и одиночества. Закончив, приводила дом в порядок и встречала Мишу улыбкой у накрытого к ужину стола. После этого они гуляли, заходя к друзьям и однокашникам. Или оставались дома — друг с другом, с книгами и телевизором. Труднее была вторая смена — приходилось носить в себе дневной груз, дожидаясь, пока Миша уснёт, и только тогда очистить душу. «Доченька, — говорили иногда бабушки в трамвае, думая, что всё происходит само собой, — с тобой рядом проедешь — как на свет народишься». И она грустно улыбалась, вспоминая эти слова возле засыпающего мужа.

Всё у них было, как у всех молодых супружеских пар. Ника не предохранялась от беременности с того самого дня, когда из любопытства заглянула в будущее Миши. Она решила, что дело именно в этом. И больше не заглядывала туда, надеясь и боясь. Иногда ездила к подруге, устроившейся работать в планетарий, чтобы поглядеть на свои любимые звёзды в телескоп или увидеть свежие фотографии с «Хаббла». Однажды, когда у мужа был ночной аврал на заводе, она решила полетать. Поднялась выше облаков и увидела звёзды яркими и крупными, какими никогда не видела их с земли из-за стоявшего над городом зарева. Она поднималась всё выше и выше, и спохватилась только тогда, когда вдалеке, намного ниже неё, мигая проблесковыми огнями, прошёл пассажирский «Боинг». Любопытства ради она догнала лайнер, в лунном свете разглядела на нём эмблему красноярской авиакомпании, ещё немного полетала, любуясь звёздами, подумала: «Не пора ли домой?», и её броня послушно начала снижение.

Тем временем приближался предсказанный календарём древних майя на 20 декабря 2012 года конец света. Газеты, телеканалы и интернет были забиты пророчествами и их опровержениями.

Одни вестники грядущего Апокалипсиса предсказывали гибель Земли в «галактическом выравнивании», другие ждали в этот день мгновенного сдвига полюсов планеты, третьи утверждали, что произойдёт столкновение со странствующей, населённой пришельцами планетой Нибиру. Временами в дискуссиях всплывали теории о сдвиге земной коры и о взрыве красного гиганта Бетельгейзе.

Во всём мире взлетели цены на атомные бомбоубежища, заброшенные шахты и подземные бункеры, где можно было пересидеть грядущий ужас. Люди, не имевшие денег для таких приобретений, спрашивали свои правительства, имеет ли им смысл убить себя, своих детей и домашних животных, не дожидаясь конца. Мэры некоторых городов призвали своих граждан запасаться продуктами питания и предметами первой необходимости. Полиция пресекала попытки массовых самоубийств, арестовывая вождей и адептов экстремистских сект. А в окрестностях французской деревеньки Бюгараш, возле одноимённого пика, имевшего форму конуса с перевёрнутым основанием, собрались многотысячные толпы людей, уверенных, что это место является базой инопланетян, откуда те, не дожидаясь гибели планеты, улетят и заберут их с собой. Возродилась секта «бога Васи», обещавшего спасение всем, кто уверует в него и докажет веру богатыми пожертвованиями. Полиция гонялась за Васей, но «бог», имевший своих приверженцев даже в правоохранительных структурах, всякий раз ускользал от ареста. У Миши Малинина в «день конца света» был очередной аврал на заводе, Ника работала во вторую смену, а их сосед, инвалид-афганец дядя Витя Мурзин, пропивал пенсию, приговаривая: «А не взорвётся Земля — новую принесут».

Минул назначенный срок, жизнь продолжалась. Ника вышла из квартиры, торопясь на работу. Этажом ниже на ступеньках курил дядя Витя. Она знала — сосед курит только тогда, когда начинает болеть оставшаяся под Кандагаром рука. Услышав цоканье её каблуков по лестнице, дядя Витя обернулся и попытался улыбнуться:

— То ли Бог заслонил, соседка, то ли дьявол промахнулся — но ещё один конец света мы с тобой пережили.

Он верил в Бога, но в церковь не ходил, считая, что вера — это святое, а любая религия, начинавшаяся со стремления людских душ к справедливости, рано или поздно становилась жертвой корыстолюбия и бизнесом на вере.

— Опять болит?

Он устало кивнул, затянулся «Космосом» и подвинулся на ступеньке, пропуская девушку. Она спустилась и вышла из подъезда, унося его боль на работу.

Глава 6. Однажды вечером

Ника вошла в квартиру, поставила у порога пакет с продуктами, скинула туфли и поспешила на кухню — скоро должен был вернуться муж. Включила кухонный телевизор и занялась ужином. В программе новостей, сменяя друг друга, мигранты ломились в Европу, националисты маршировали по Киеву, астероид из глубин космоса приближался к Солнечной системе, а очередные террористы, нацепив чёрные маски, палили из автоматов в небо. Переключилась на «Загадки Земли», но там надвигался очередной конец света, на этот раз по календарю индейцев потомушто, выведивших свою историю от пришельцев с Фаэтона. Всё было, как всегда. Менялись только времена года, погода на улице и график работы. Да ещё мама уже несколько раз, ничего не объясняя дочери, ложилась в одну из клиник медицинского университета.

Мягко щёлкнул замок входной двери, и в маленьком коридорчике сразу стало тесно. Сегодня Миша пришёл немного позднее обычного и слегка возбуждённым:

— Припозднился чуток. Караваев говорит: «Ты за три года свой участок вдоль и поперёк узнал, пора тебе кругозор расширять, пойдёшь сменным мастером, за весь цех отвечать, а через год Смирнову на пенсию, освоишься и будешь мне полноценным замом», вот, — выпалил он всю новость одной фразой, — допился Коля, турнул его Караваев из сменных. А это рыбкой жареной пахнет?

И снова всё пошло обычным порядком. Только муж теперь тоже работал посменно. И однажды вечером, когда он ушёл во вторую, Ника решила полетать. За эти годы она освоила ближние города Сибири, за ними Москву и Петербург, а потом захотела увидеть весь мир. Древние монастыри Пиренейских гор, яблочные долины Нормандии и ночные закоулки Праги. Она слышала и понимала (это тоже делала броня) чужую речь, пролетала сквозь брызги Ниагарского водопада, парила над норвежскими фьордами. Не видимая, не слышимая и пока не улавливаемая даже самыми чуткими радарными систем противовоздушной обороны, она пересекала границы государств, океаны и континенты так же легко, как у себя дома переходила из комнаты в другую. Но в этих путешествиях с нею было только её одиночество, а в трамвае любимого первого маршрута всегда находился кто-нибудь, улыбающийся навстречу. Холодными зимними вечерами, привалившись к тёплому боку мужа у экрана, она дополняла рассказы тележурналистов о разных уголках Земли оставшимися за кадром подробностями.

— Никусь, ну когда ты успеваешь столько читать? Что-то я давно не видел у тебя в руках ничего, кроме твоего любимого «Матиуша».

— Когда ты футбол и хоккеей смотришь, Мишенька, — привыч-

но отвечала она, пропуская мимо ушей замечание о «Короле Матиуше Первом».

— Ничего. Накопим денег и своими глазами всё увидим.

— Ага, «накопим». Кризис же.

— Наша-то продукция нарасхват. Каждый месяц экспорт грузим, — с гордостью человека, уверенного в деле рук своих, отвечал он. И принимался возражать телеведущим, если они, по мнению Миши, «чушь городили».

Вот и два дня назад, когда «говорящая голова» взалёб повествовала о загадочных пирамидах на Луне и их «потрясающем сходстве с пирамидами Гизы», он пробурчал:

— Ври-ври, поднимай рейтинг. Всё равно ещё лет двадцать тебя никто не проверит. А я таких «пирамид» в детской песочнице детской же формочкой налеплю — сколько хочешь. И сфотографирую через светофильтр.

«А зачем ждать двадцать лет, — подумала Ника, — заодно проверю броню. Захочет ли она меня выше атмосферы поднять». Кольнула мысль: «Вот и на Земле становится тесно...», но она тут же шарахнулась от этой мысли, как от змеи: «Просто посмотрю на Луну поближе — и назад».

Она взяла такой разгон, что почувствовала, как выгорает, пробивая атмосферу, внешний слой брони. Вышла в открытый космос. Лететь стало совсем легко. Стоило подумать: «А побыстрее?» — и лунный диск начал увеличиваться на глазах. Звёзды окружали её, и она снова на мгновение испытала чувство, что это уже было когда-то. Ника курсировала над Морем Дождей, куда поместила свои пирамиды «говорящая голова», на высоте нескольких километров. Но увидела только горы неправильной формы в оспинах кратерных воронок по склонам. Поднялась выше, совершила два круга над каменной пустыней Луны и тут разглядела, как из тоннеля у вулканического плато Холмы Мариуса выплыли огромные полупрозрачные пузыри, оторвались от поверхности и почти мгновенно ушли в открытый космос, будто планета с силой выдохнула что-то из своих глубин. «Всё равно никто не поверит», — думала она, когда броня пробивала атмосферу по дороге домой.

Прошло несколько дней после лунного путешествия. Однажды вечером, отработав первую смену, Ника прибежала домой, чтобы проводить мужа во вторую. Телевизор на кухне был включён, эксперты в телестудии, перебивая друг друга, подтверждали или опровергали опасность приближающегося астероида, то и дело обращаясь к пророчеству индейцев потомушто.

Она укладывала ужин для Миши в пластиковый контейнер, когда почувствовала: кто-то чужой и очень сильный извне надавил на дверь, отделяющую её сознание от внешнего мира, и вот-

вот ворвётся внутрь. Ника с такой силой захлопнула эту дверь, что почувствовала, как застонал незваный гость.

— Что с тобой? — озабоченно спросил Миша, принимая пакет с контейнером из её рук.

— Ничего, — ответила она, стараясь не глядеть ему в глаза, — сейчас полежу и пройдёт.

— А ты не... — он замешкался, подбирая слова, — может, тебе солёного охота?

— Да нет же, не беременна я, — начала сердиться всегда улыбка Ника, — просто устала. Иди ты уже на работу!

Дверь за мужем захлопнулась. И ей показалось, что дверной замок не щёлкнул, а лязгнул. Накатила вдруг усталость. Ника опустилась в глубокое мягкое кресло и обняла старого друга, большого мишку-медведя, подаренного родителями в детстве, будто мог он защитить от надвигающегося... чего? беды? судьбы? испытания. «Скорее бы уже, мишенька», — прошептала она за секунду до того, как раздался стук в дверь. На пороге стоял мужчина. Среднего роста. Неопределённого возраста. Незапоминающейся, какой-то неуловимой наружности. В потёртых джинсах и полинявшей от стирок футболке.

— Я могу войти, — скорее утверждение, чем просьба, прозвучало в ровном, лишённом эмоций голосе. Ника отступила, он вошёл. Она отступала по коридору, он шёл на неё. Медленно и спокойно. Она упёрлась в косяк кухонной двери, опомнилась и остановила незнакомца, толкнув его взглядом.

— Я долго искал, — ей показалось, что губы пришельца шевелятся как-то сами по себе, вне зависимости от голоса. Будто голос звучал прямо в её голове, а губы только имитировали человеческую речь.

— Я нашёл тебя.

— Кто ты и что тебе нужно?

— Чтобы ты узнала о себе.

— Кто ты?!

— Я брат твоего отца.

Ника сидела на табурете в кухне, в углу между стеной и холодильником. Почему-то ей хотелось быть защищённой со спины и боков.

— Значит, ты мой дядя, — растерянно произнесла она, когда поняла, что сейчас, именно сейчас и здесь, в этой кухне три на три метра, с потёртым ковром на линолеумном полу и стареньким гарнитуром вдоль стены, откроется перед нею главная тайна её жизни. И сразу станет простым и понятным всё остальное. «Не этого ли я хотела всю жизнь?» — мелькнуло в ней. Он молчал, ожидая, и его молчание постепенно успокоило Нику. Вдруг ей вспомнилось:

папа, желая подбодрить дочь перед трудным делом, отвечал на её нытьё: «Ты же Ника. Богиня победы. Ты справишься». С чего-то надо было начинать, и она начала:

— Расскажи о моих родителях. Кто они и откуда.

— Мой брат был, как я, Высшим, — он произнёс это слово веско, как произносят титул, — а твоя мать — смертной.

— «Был»? Значит, его нет?

Гость промолчал, не желая отвечать на пустой вопрос.

— Ты сказал, что он был «высшим», как и ты. Высший — это нечто большее, чем просто человек?

— Мы не люди. Мы — Высшие. Ты — Высшая. В тебе Сущность, породившая Силу.

— Что есть «сущность» и что — «сила»? — спросила она. И подумала: «Заговорила, как он. Коротко и веско. Дура». Ника вдруг поняла, кого ей напоминает пришелец. Так же спокойно и холодно, такими же рублеными фразами начальник трамвайного депо Семьгин отчитывал проштрафившихся слесарей и их мастера Федичкина. И ей сразу стало легче.

— Сущность отличает тебя от смертных. Сила — то, что вынесло твою Сущность в Пространство. Атмосфера данной планеты не позволяет фиксировать Высшего. Ты вышла в Пространство. И была зафиксирована. На дальней периферии Системы нет Высших. Это мог быть твой отец. Потому я здесь, — и он замолчал в ожидании вопроса.

— Дядя, расскажи об отце и матери. Как их звали, какими они были?

Родители нарекли его и брата многосложными именами, приличными их роду и положению. Для общения в семье и со сверстниками старший выбрал два первых слога своего имени — Рекус. Младший назвался ещё короче — Лин. Он был, как все младшие. Не признавал за Рекусом первенства ни в чём. Но иногда просил помочь в математике. Стремился догнать и превзойти. В шалостях, в состязаниях, а позже и в науках. И если удавалось превзойти — был счастлив.

— Его не стало. Я узнал боль. Она во мне. Теперь — навсегда, — старший брат говорил такими же короткими фразами, но печаль и свет звучали в его словах.

— А мама?

Её маму звали Тайна. Несколько поколений предков Тайны, сменяя друг друга, жили слугами в родном доме Рекуса. Они росли вместе — Рекус, Лин и Тайна. И она была самой красивой из всех, кого он знал...

— Могу я сесть?

Скорее просьба, чем вопрос, звучала в его словах, и Ника кивнула, вышла из своего угла и подала гостю второй табурет. Он сел и

привалился спиной к тумбовому столу у мойки, будто устал после долгой дороги или тяжёлой работы.

— Хочешь знать, какой была Тайна — смотри на себя. Ты есть она. Почти.

— Что с ними стало?

Смертная может быть подругой Высшего, говорил Рекус. Может даже родить ему ребёнка, смертного или Высшего. Каким он будет, невозможно определить ни заранее, ни даже вскоре после рождения. Но она не может быть супругой Высшего. Только родить и уйти. Почему? Таков Закон.

— Ты могла быть моей дочерью, девочка. И я бы не нарушил Закон. Но она выбрала Лина. Выбирает всегда женщина.

Лин не смирился с Законом. Ему уже приходилось бывать на этой окраине Галактики, максимально удалённой от мест средоточия Высших. И он знал, где можно укрыться от устройств контрольного слежения, ибо сам участвовал в их разработке. Когда Тайна должна была навсегда отбыть к дальним родственникам, Лин взял её и дочь внутрь своей Силы. И исчез. Если бы он выбрал убежище поближе! Но младший брат никогда не дружил с математикой. «Этика выше математики, а любовь выше всего», — вот что он говорил. Младший просто не рассчитал ресурс, ведь его Силе пришлось нести тройную нагрузку.

Они падали на планету с огромной скоростью, и замедлить падение было уже нечем. Когда он понял, что все трое сгорят в атмосфере, как только догорит последний лепесток Силы вокруг них, то отдал её остаток малышке. А сам... А сами Лин и Тайна опустили лёгчайшей, не видимой даже в специальные приборы золой на леса и болота вокруг того места, куда Сила бережно уложила их дочь.

— Тебя!

Он поднял на Нику тяжёлые, будто гири, глаза. Этот взгляд обвинял её, Нику, в смерти брата и любимой женщины. Ника ходила по кухне наискосок: три шага, поворот, три шага. Гость молчал, приходя в себя. Прошло несколько минут, и она спросила, обдумывая что-то своё:

— Высшая может родить от смертного?

— Нет.

— Почему?

— Такова наша природа.

Раса Высших родилась здесь, в этой Галактике. Их предки были смертными. Пришло время, когда они смогли и захотели изменить свою природу и судьбу. Те, кто захотел. Но ничего не потерявший ничего и не приобретёт. Не всё оказалось совместимо с кодом Высших. И потому Высшая может зачать только от Высшего.

— Вы — боги? Вы те, кого обычные люди считали богами?

- Мы Высшие. Это долг и ноша.
- В чём этот долг?
- Беречь Систему.
- Высшие живут вечно?
- Высшие живут, сколько желают.

Была ночь. Город спал, и только одинокие огни светились в окнах домов на углу Трамвайной и Кобзаря. Ника опять сидела между стеной и холодильником, от усталости привалившись к нему спиной, напротив своего вечернего гостя. Уже несколько минут они молчали. Много было сказано, о многом — обещано рассказать потом.

— Я обдумую всё, что услышала.

— Думай, девочка. Мы будем очень рады тебе. Наши родители давно простили Лина. А тебя станут обожать. По праву Старшего я известил твою Силу. Она знает, где я буду, когда захочешь вернуться. Скажи ей только: «домой». Здесь ты чужая. И всегда была бы чужой. Даже если бы жизнь на этой планете не исчезла. Дома у тебя будет всё. Любовь. Семья. Дети.

— О чём ты, дядя? Почему она должна исчезнуть? — зацепилось за сознание Ники мимоходом оброненное Рекусом слово.

— Этот камень. О котором говорят в здешних новостях называющие себя экспертами. Он всё ближе. Столкновение неизбежно.

— Это действительно так серьёзно?!

— Да. Используй свои способности и проверь. Если хочешь, — сказал он спокойно и холодно, как в самом начале разговора. Так спокойно, что ей захотелось немедленно забиться в броню своей Силы и прижать игрушечного мишку.

— Вы же Высшие! Вы можете стереть этот камень в пыль! — крикнула она, уже чувствуя его ответ.

— Одна маленькая планета. На самой периферии Системы. Огромной Системы и соразмерных Системе проблем.

— Но мы живые! Разве жизнь не высший дар?

— Твоя — да. Но смертные везде и всегда смертны. А здешние через несколько поколений смогут и захотят стать Высшими. Две расы Высших в одной Системе несовместимы.

— Так не вы ли, — окатила Нику холодом внезапная догадка, — не вы ли этот камень сюда отправили?!

— Теперь ты знаешь своё предназначение. Думай сообразно ему. Но недолго. Иначе увидишь и запомнишь гибель тех, кто был дорог здесь. Я помню Лина и Тайну живыми. Ты будешь помнить своих. Это легче, девочка. Поверь. И знай — я люблю тебя и жду.

— Ещё один вопрос, дядя. Что будет с этим телом, когда я покину его навсегда?

— Состояние «ни жизни, ни смерти».

- Кома?
- Если здесь это именуется так.
- Надолго?
- Навсегда. Или не навсегда.
- А если я откажусь вернуться?
- Тогда Стражи доставят тебя в Совет.

Ника набрала в грудь воздуха, ещё не зная, что именно она скажет, чтобы... изменить? остановить? исправить? Но там, где только что стоял Рекус, колыхнулось и пропало цветное облачко. Мягко щёлкнул замок входной двери. Глубокая ночь, предшествующая рассвету, затопила округу. Таймер кухонной электроплиты показал три часа, а часы на главной башне столицы пробили полночь. Президент ядерно-космической державы сидел у аппарата прямой связи с президентом другой ядерно-космической державы, где день был в самом разгаре. Учёные и специалисты военно-космических сил почти одновременно доложили своим президентам результаты многократной проверки расчётов орбиты обнаруженного в 1999 году астероида. И члены президентских советов по национальной безопасности съезжались на экстренные совещания.

Глава 7. Высшая

Ложиться спать после такого разговора не имело смысла. Она поверила дяде, но всё же решила проверить. Вышла из тела, поднялась над землёй и прокрутила время вперёд. Лучше бы она этого не делала. Рекус оказался прав, любимых легче помнить живыми. Но теперь Ника точно знала, сколько времени ей отпущено.

— Что с тобой? — спросила, заглянув ей в глаза, бригадир кондукторов первого маршрута Галина Сергеевна.

— Всю ночь не спала, тётя Галя, — соврала та, — зуб заболел, что только не делала...

Всё было, как всегда, в этот день. Ей достался старенький, лет сорок уже прослуживший скрипучий вагон. Начался утренний час пик. Переполненные трамваи, троллейбусы и маршрутки развозили людей по заводам, фабрикам и учреждениям. Потоки молодёжи покидали студгородки и растекались по учебным корпусам университетов. «Хозяева жизни» на «лексусах» и «крузерах» неспешно катили в банки и офисы. Затем наступало время самых дисциплинированных пассажиров — мамочек с малышами и пенсионеров. Пенсионеры обсуждали свои болезни, погоду и виды на урожай, мамочки агукались со своими чадами или прикидывали, кого попросить помочь вынести коляску. Двое бомжей, мужчина и женщина, тусовавшихся на остановке с намерением бесплатно прокатиться куда-то, всегда нетрезвых, пропахших мочой и кана-

лизацией, сунулись было в открывшуюся дверь, но, увидев там Нику, развернулись, изобразив равнодушие.

В это время по обе стороны разделяющих континенты океанов специалисты готовили к старту сверхсекретные ракеты, вводя в автоматику управления одно и то же время подрыва боеголовок в заданной точке между орбитами Земли и Марса. Державы, втайне готовившиеся к гипотетическому противостоянию в открытом космосе, отбросив десятилетия недоверия, взаимных упреков и почти неприкрытой вражды, решили вместе встретить общую беду, как это уже бывало прежде, и их военно-космические силы работали сейчас, как единый механизм.

Она закончила смену и вернулась домой, когда Миша, немного поспав после ночной смены, бродил по квартире, жалуясь:

— Сколько раз зарекался перетерпеть, не спать днём. Дневной сон — хуже нет, вот опять встал, как варёный...

— Одевайся. Поедем к твоим, поможем на даче. Мать просила. — Ника скинула рабочее в стиральную машину, переоделась, и молодые люди отправились на автовокзал.

На даче Малининых-старших они и переночевали. Утром, доделав оставшуюся работу, с пересадками двинулись на дачу Северцевых — оказалось, что Ника договорилась использовать все накопившиеся за последнее время отгулы. Пока они перебирались с дачи на дачу, с космодромов в разных точках планеты поднялись и заняли район ожидания на околоземной орбите ракеты класса «Земля — космос».

Молодые вернулись домой поздно, уже в сумерках. Наутро Миша ушёл в первую смену, а Ника занялась домом. Она сняла и перестирала занавески и шторы, вымыла окна внутри и снаружи, выгребла всё из шкафов. До скрипа перемыла рабочую и парадную посуду, вытерла книги, закинула в стиральную машину всю одежду, имевшую хоть какой-то намёк на свежесть. Заменяла постельное бельё, отмыла всю сантехнику и облицованные кафелем стены туалета и ванной, вычистила ковры, тщательно вымыла каждый угол в доме, погладила высохшие занавески и шторы и повесила их на окна. Пришёл с работы Миша, они поужинали и отправились гулять.

Он ещё спал, когда Ника встала, приготовила завтрак, поставила варить большую кастрюлю борща на обед, приготовила в мультиварке ужин и, отложив порцию для мужа, убрала всё в холодильник. Они вместе попили чай, и Ника ушла, сказав ему: «Не скучай, я подышу городом».

Она прощалась. С любимыми парками и аллеями, со строгим сибирским барокко Воскресенского собора. Она смотрела на город, реку и заречье с высоты мыса, где родился он четыреста лет назад. И впервые пришла на Расстрельный, чтобы постоять у Креста

памяти. В эти минуты с околоземной орбиты ушли ракеты класса «Земля — космос». Все, какие были у планеты Земля. Они ушли туда, откуда астероид-убийца, километровый в поперечнике обломок скального массива погибшей миллионы лет назад планеты приближался, как пуля к мишени.

На кольце Большой Подгорной Ника села в трамвай первого маршрута и поехала домой пассажиром. Зашла к маме, и они долго сидели рядышком, разговаривая обо всём и ни о чём. Ника дождалась прихода папы, обнялась с родителями и пошла к себе:

— Провожу Мишу в ночную.

— Когда вы уж поженитесь, как люди, доченька, — услышала она, улыбнулась, кивнула и ушла.

— Что с тобой, Никуся? — спросил Миша, принимая из её рук пакет с ужином.

— А что со мной, мой хороший? — вопросом на вопрос ответила она и провела ладонью по его уже обраставшей после утреннего бритья щеке, — со мной всё в порядке, ёжик ты колючий. Поцелуй меня.

— Да что же с тобой? — ошеломлённо переспросил он, когда Ника оторвала губы от его губ и сделала шаг назад.

— Просто я устала, любимый.

Всю дорогу в трамвае до завода ему не давал покоя вопрос, почему его Ника, которую знал он с детства, его всегда «застёгнутая» Ника впервые вслух назвала его любимым. Но сразу за проходной Мишу закружила другая жизнь и другие вопросы. А Ника прошла по квартире. Разложила все вещи по местам. Взяла в руки верного мишку-медведя. Увидела, что у того начала отпарываться лапа. Достала иголку и нитки, крепко пришила её. Фломастером подновила медведю большие печальные глаза. Присела на пуф у трюмо. Она уже знала, что часть ракет-перехватчиков, экспериментальных, толком не доработанных и не испытанных, ушла с боевого курса и самоликвидировалась. У других подрыв боевой части произошёл чуть-чуть раньше или чуть-чуть позже, чем требовалось. Астероид треснул, потерял некоторые фрагменты, но так и не свернул с курса. Президенты ядерных держав тоже знали это и обречённо молчали у аппаратов прямой связи.

Она не солгала Мише. Ника действительно устала до изнеможения за эти дни, когда занимала себя любым делом, лишь бы не остаться одной со своими мыслями, и за эти бессонные от мыслей ночи. До последнего момента оттягивая принятие окончательного решения, она лгала самой себе, поскольку всё решилось в ней ещё тогда, когда мягко щёлкнул дверной замок за исчезнувшим Рекусом. Ника повернулась лицом к трюмо и спросила своё отражение в зеркале о чём-то, ведомом только ей:

— Ну что, Ника, богиня победы?

Достала с книжной полки читанного-перечитанного «Короля Матиуша Первого». С книгой в руках подошла к дивану. Положила её на спинку дивана у изголовья. Усадила рядом с книгой мишку-медведя. Легла на диван. Вышла из тела и попросила всю свою Силу — всю, сколько её есть — собраться вокруг себя в кулак. И через несколько мгновений новейшие, сверхчуткие радары военно-космических сил зафиксировали старт из точки с координатами 56° 29' 19" северной широты и 84° 57' 08" восточной долготы неопознанного объекта малой массы. Оператор, затребовавший у компьютера характеристики объекта, уронил на ноги чашку только что сваренного кофе, увидев, что через три секунды после старта объект прошёл орбиту Луны со скоростью, почти равной скорости света. Преодолевая боль в обожжённых ногах, доложил командованию.

Она протаранила каменную громаду. Одного удара оказалось мало. И она снова разгонялась до самой большой на свете скорости — скорости света. И снова била. Камень начал разваливаться, сходя со смертельной орбиты. Ника догоняла самые крупные куски и разбивала их. Выискивала самые крупные из оставшихся и снова била. Её Сила предупреждала: «Ресурс истощается». «Ресурс критический». «Введён аварийный резерв». «Аварийный резерв заканчивается». И только когда почувствовала она самой сердцевиной своей Сущности: «Теперь — всё...», только тогда собрала вокруг себя лоскутки уцелевшей Силы и, почти теряя сознание от усталости, попросила: «Домой...».

Ника возвращалась домой. В окружении роя мелких обломков побеждённого чудовища. Над сибирской равниной стояла тёплая безоблачная ночь, и множество людей любовалось внезапным звездопадом, успевая или не успевая загадывать желания на падающие искорки. Может быть, кто-то даже успел загадать желание на Нику, когда Сущность Ники вспыхнула, как спичка, едва догорел в нижних слоях атмосферы последний героически защищавший её лепесток Силы. Мельчайшей, не видимой даже в микроскоп золой опустилось то, что было её Сущностью, на тайгу и болота вокруг Таинска, рядышком с Лином и Тайной. Теперь они были вместе.

Утренние выпуски новостей всех телекомпаний мира сообщали о совместном успехе человечества, расписывали предполагаемые детали надвигающейся катастрофы, называли количество ракет и их стоимость, смаковали детали биографий боевых генералов-ракетчиков. Президенты ядерных держав, зная правду, помалкивали, предоставляя генералам раздавать интервью и автографы. Им, президентам, гораздо важнее были сведения о загадочном объек-

те, ушедшем навстречу астероиду из точки с координатами 56° 29' 19" северной широты и 84° 57' 08" восточной долготы. Главы разведок уже получили свои порции президентского недоумения, и теперь проводили экстренные совещания, требуя от подчинённых «найти и доложить. Первыми!». А в это время от третьего подъезда дома № 105 по Трамвайной улице отъезжала машина «скорой помощи», и бабушки на скамейке удивлялись:

- Надо же, совсем молоденькая...
- Какая симпатичная парочка была...
- Нерасписанные жили-то...
- Хорошо, родить не успела, а то б сиротки остались...

Вереницы буржуазных «лексусов» и «крузеров» с редкими вкраплениями слегка аристократичных «майбахов» всё так же по-хозяйски чинно катили вдоль фешенебельного Сибирского проспекта. Настоящие хозяева города — студенты, свободные и счастливые, вытекали многолюдной весёлой рекой из студенческих городков и растекались по учебным корпусам. В квартире на четвёртом этаже дома № 105 по Трамвайной улице молодой сильный мужчина плакал, обнимая игрушечного медведя.

Прошла неделя. Каким-то образом сведения о «сибирском старте» перестали быть монополией двух держав, и это обстоятельство имело ряд последствий. Известные фирмы из разных стран вдруг изъявили желание инвестировать средства в особую экономическую зону Таинска, одно за другим открывая в городе свои представительства. Так же неожиданно взлетели рейтинги и без того бывших на слуху местных университетов, и делегации со всего света спешили приобщиться к сибирской науке. В городе появилось много иностранцев. Они заполняли полупустые отели и снимали частные квартиры. Некоторые из них, с липкими глазами и особо чутким слухом, старались пореже попадать в поле зрения соперников и местных спецслужб.

Миша попросил на работе весь накопившийся отпуск, и его начальник Караваев, зная обстоятельства, сказал: «Отдыхай, сколько потребуется». И спохватился: «Извини, Михаил. Какой это, к чёрту, отдых...». Теперь он каждый день ездил в отделение интенсивной терапии областной клинической больницы, иногда встречаясь там с Северцевыми-старшими. Вечером того дня, когда «скорая» увезла Нику, Миша принёс в её палату и посадил у изголовья кровати старого грустноглазого медведя. Назавтра приехал с «Королём Матиушем» и начал негромко, чтобы никому не мешать, читать неподвижной, бесчувственной Нике вслух. Страницу за страницей. Главу за главой. День за днём. И в день, когда прочитал ей: «Матиуша похоронили на необитаемом острове, на вершине скалы. Ало и Ала украсили могилу цветами, и канарейки поют над ней

свои нескончаемые песни», она впервые ненадолго открыла глаза. Прошло время. Врачи, так и не доискавшись до первопричины случившегося, выписали Нику на амбулаторное лечение, а затем и участковый терапевт закрыла больничный лист. Ника вспомнила всё. До момента, когда, усадив мишку-медведя в изголовье, легла на диван.

Она больше не работала в трамвайном парке, приняв предложение директора Второго лица, сделанное по рекомендации её бывшего заведующего кафедрой Воробьёва, преподавать в лицее астрономию. И теперь лицеисты удивлялись рассказам о звёздах: «Ника Сергеевна, откуда вы столько знаете? Из интернета?». Ника потеряла способность видеть невидимое и слышать неслышимое, зато однажды поняла, что беременна. Миша ошалел от счастья и потребовал немедленной свадьбы, но споткнулся о жёсткое, продиктованное давней попыткой заглянуть в его будущее: «Подождем. Немного осталось». Она думала о своих мамах. Мама Тайна дала ей жизнь и отдала свою ради неё. Мама Тоня Северцева, мамочка... И когда родилась девочка, Ника назвала малышку Таней. Если муж на работе, Ника Малинина гуляет с дочерью от памятника Семье до памятника Счастью. Или сидит на скамейке у памятника Счастью, пока малышка спит в коляске.

Однажды, вскоре после рождения Тани, предварительно позвонив: «А мы к вам в гости...», пришли мама и папа Северцевы. Ника накрыла стол. А когда Михаил собрался наклонить бутылку с вином над бокалом мамы Тони, та накрыла бокал ладонью: «Мне нельзя...». И, смущаясь, запинаясь на каждом слове, поведала, что у них с Сергеем будет ребёнок. Глянула в растерянно-радостные глаза дочери и разразилась гимном во славу профессоров медицинского университета.

— УЗИ уже делали? Кто?!

— Сын, — солидно покашливая, вступил в разговор папа Серёжа, — надо же кому-то фамилию нашу передать.

Ажиотаж разведок вокруг «сибирского старта» постепенно затих, обойдясь некоторым его участникам неприятностями вплоть до увольнения со службы, а сам «старт» уютно устроился в копилке неразгаданных тайн планеты рядом с тунгусским метеоритом и бермудским треугольником. Его эхо ещё отзывается полунаучными статьями и даже фильмами-гипотезами, но они продиктованы скорее честолюбием авторов, чем творческим поиском. Зато продукция особой экономической зоны завоёвывает новые рынки сбыта в разных уголках мира. Население Таинска неуклонно растёт, и каждый пятый таинчанин по-прежнему студент. Всё так же в конце лета съезжаются на берега Таи молодые люди из тмутараканей и крупных промышленных центров. Всё так же несуетливо

несёт свои воды Тая навстречу Оби, и каждый год в начале короткого сибирского лета разъезжаются с её берегов молодые педагоги и врачи, инженеры и учёные на берега могучих сибирских рек, на берега Волги и Рейна, Хуанхэ и Ганга, Нила и Меконга. Или остаются в Таинске навсегда. Сами того не зная, они уносят отсюда зёрна света, который однажды на высоком мысу у слияния Таи и Урги соединил небо и землю.

Если Нике случается одной выходить на улицу в тёмное время суток, когда на небе нет ни туч, ни облаков, она старается не поднимать глаза к звёздам.

2013–2016 годы,
Томск

ПЕСТРУШКА

Рассказ

Убойный конвейер

Куровозные телеги поднимались под навес разгрузочного пандуса, птица сыпалась на транспортёр, въезжала внутрь здания и падала на вращающийся стол карусели. Бригада женщин вокруг стола, в одинаковых салатного цвета халатах и шапочках, в защитных очках и марлевых респираторах ловила перепуганно трепыхавшихся кур и вешала на транспортёр. Три секунды на птицу. Поймать — повесить. Поймать — повесить. Пять тысяч раз в смену на каждую пару рабочих рук. Зимой в холоде. Летом в жаре. Всегда — в волнах аммиака. И птица, перевёрнутая вниз головой, покорно затихала.

— Если бы существовал куриный рай, дорога к нему начиналась бы от «киллеров», — сказал однажды сменный слесарь Дима Ёлкин напарнику Толику.

Ёлкин шёл вдоль убойного конвейера. Деловито и бесшумно работали глушители и «киллеры». Лились кровь и вода. Шипел вакуум, пощёлкивали перевесчики и потрошители, шелестели транспортёры, еле слышно звенели пилы, тихонько гудел «маэстро». Ёлкин, среднего роста, худощавый и жилистый, с первыми проблесками седины в чёрных, слегка вьющихся волосах, закончил очередной обход оборудования и вошёл в карусельную. Вошёл с определённой целью — потискать бойкую и весёлую разведёнку Нинку Любашину, к которой он, работающий и хозяйственный, но мрачноватый, с трудом сходившийся с людьми, а потому одинокий, был равнодушен.

Дима не скрывал, что молодая женщина нравится ему, а потому поступал напоказ, чтобы все знали: не троньте, моя! А она, в то время, когда сердце млело в широких и жёстких, но не грубых мужских ладонях, ни на секунду не останавливаясь, продолжала ловить — вешать свои пять тысяч, одними локтями изображая сопротивление, и повизгивала:

— Ну Ёлкин... ну Ёлкин же... ну люди же смотрят!

Остальные женщины на карусели были замужними и смотрели на них с пониманием, а то и лёгкой завистью, но переставая ловить — вешать, ловить — вешать. И тут сквозь шипение, пощёлкивание и гул несколько женских голосов разом закричали из-за стены, от «маэстро»:

— Ёлкин! Ёлкин!!

Мысленно ругнувшись (ругаться вслух не позволяли присутствию Нинки и репутация невозмутимого человека), Дима пошёл на крики.

Пеструшка

На заселение пятого птичника привезли цыплят. Птичница сразу обратила внимание на одного. Он был таким же крохотным и светливым, как другие, но на жёлтенькие спинку и крылышки ему будто брызнули рыжей краской.

— Ух ты какая пеструшка шустрая, — заметила она, когда цыплёнок быстрее всех кинулся к поилке.

Пеструшка оказалась любопытной курочкой. В то время как другие передвигались только от кормораздатчика к поилке и обратно, её пёстренькую спинку видела птичница в разных углах обширного помещения. Даже когда подросла и нежный пушок сменился пером, перо тоже казалось помеченным рыжими брызгами. Пеструшка обживала свой мир. Мир был сверкающе-белым и тёплым. Мир сначала пах только едой, а потом начал попахивать и аммиаком птичьих испражнений. Этот запах стал запахом дома. Включался свет, наступал день — время кормления. Свет гас, наступала ночь — время сна. Мягко гудели вентиляторы, всем хватало и корма, и питья. Птицы подрастали, свободного места в помещении оставалось всё меньше, они наедались и лежали на подстилке из опилок и испражнений. Только Пеструшка бродила по периметру птичника, хотя ей всё труднее было носить тяжелеющее, раскормленное тело.

И однажды в половине седьмого утра к воротам в торцевой стене птичника подъехали куровозные телеги. Ворота распахнулись, телеги въехали внутрь. Без лишнего шума в полутьме началась погрузка. Куроловы брали сонных птиц парами и бросали в металлические короба телег. Перепуганные внезапной переменой обстанов-

ки, те, кудахча, жались друг к дружке. Телега уезжала, на её место вставала новая. Пеструшка проснулась, почуяв неладное. Спала она, по своему обыкновению, у стены. Подальше от скопища пернатых. И попробовала улизнуть от неведомой, но явно ощущаемой опасности в самый дальний угол. Но птичница, получавшая зарплату от сданного живого веса, заметив её манёвр, сказала куролову:

— Поймай по-тихому вон ту пёструю, пока курей не перебудила.

И беглянка оказалась в телеге. Рычал трактор, кузов потряхивало на неровностях дороги, когти птичьих лап скользили по металлу. Всё было чужое и незнакомое, только запах аммиака, пропитавший изжелта-белые перья товаров Пеструшки, был запахом дома. И он понемногу успокаивал. В курочке проснулось любопытство, и она глянула поверх бортика. От привычного сверкающе-белого мира не осталось ничего. К дороге подступали берёзы, прошла навстречу порожняя телега, потянулись мимо заборы и здания. Несколько поворотов, медленный осторожный разворот — и настил разгрузочного пандуса принял на себя новый груз. Кузов телеги начал распахиваться вниз, птица из головной секции с шумом и кудахтаньем посыпалась на транспортёр. Тут Пеструшка, сидевшая у заднего бортика хвостовой, с силой оттолкнулась лапами от металла, перепрыгнула через бортик и шмякнулась о настил. Она не ожидала падения с почти метровой высоты, потому испугалась. Но поднялась и постояла, осматриваясь. Потом начала осторожно, не спеша и с оглядкой, спускаться с пандуса. Рабочий, высокий парень с деревенским лицом, разгружавший телегу, лишь покосился на беглянку, но останавливать разгрузку из-за одной курицы не стал. Пеструшке хотелось есть и пить. Внизу, на асфальте, лежало просыпанное кем-то зерно.

Очередная телега с птицей почему-то задерживалась. Была середина мая, но жарило, как в разгаре лета. Карусельщицы вышли на свежий воздух покурить. Вышли и Дима с Нинкой. Отошли подальше от пандуса, где не так ощущался запах аммиака, и присели на ограждение газона.

— Бросай курить, — буркнул Ёлкин, — целоваться с курящей всё равно, что облизывать пепельницу.

— А сам?

— Я мужик, — убеждённо отрезал Дима.

— Ёлкин, а вон курица убежала, — чтобы отвлечь его от нежелательной темы, начала Нинка.

— Ну и пусть бегаёт.

— Поймай.

— Ага. Щас. Мне не за это платят.

— Ну я поймаю, — привстала она.

— Сиди. Туда, — он мотнул головой через плечо в сторону убой-

ного конвейера, — она и без нас попадёт. Пусть поживёт, сколько сможет. Вон как зерно наяривает. Голодная.

— Хоть в канаву спрячься, дура, — крикнул он, будто эта пёстренькая курочка могла его услышать и понять.

Пеструшка доклёвывала зерно на обочине, когда мимо неё лихо пошла на разворот задержавшаяся на птичниках телега. Курица метнулась подальше от колёс и свалилась в канаву ливневой канализации. По дну канавы текла вода, и она, придя в себя после падения, первым делом напилась. Возле воды ползали соскучившиеся по солнышку дождевые черви. Беглянка клюнула одного, сглотнула. Ей понравилось, и она пошла вдоль канавы, поклёвывая червей и запивая водой. Здесь было хорошо и почти тихо, но жарко, как и наверху. Пеструшка брела, пока канавка не упёрлась в водопропускную трубу, ныряющую под асфальт. Из трубы тянуло прохладой, и она пролезла внутрь. Здесь, внутри трубы, были и прохлада, и вода, и черви в илистом слое на дне. Пеструшка решила, что лучше места ей не найти. Она закопошилась, устраиваясь поудобнее, а устроившись, от пережитых волнений, усталости и полутьмы уснула.

Когда разгрузка телег закончилась, рабочий приступил к проверке территории и сбору почему-либо не попавшей на транспортёр птицы. Добросовестно заглянул во все углы, где могли притаиться куры, осмотрел газоны, проверил канаву ливневой канализации, только в трубу под асфальтом не заглянул. Да и что там было делать курице? Отправил всю обнаруженную птицу на карусель, кинул грязные перчатки в мусорный контейнер и со спокойной совестью пошёл в душевую.

На улице вечерело, когда Пеструшка проснулась. Она не сразу поняла, где находится. Полутёмная труба вместо привычного сверкающе-белого мира окружала её. Курочка бросилась туда, где увидела круг света, и вывалилась в канаву ливневой канализации со стороны, противоположной той, откуда попала в трубу. А когда вывалилась, вспомнила. Она вспомнила тревожное утро, поездку в куровозной телеге и ощущение надвигающегося страха, вытолкнувшее её наружу. Вспомнила и прижалась ко дну канавы. Но вокруг было спокойно. Откуда-то — из канавы не было видно, откуда — доносился мерный шум, похожий на шум работающих в птичнике вентиляторов. Постепенно беглянка успокоилась, встала и пошла вдоль канавы, поклёвывая червей и разную другую съедобную мелочь, запивая свой ужин водой.

Смеркалось. Канавка упёрлась в бетонный забор. Под забором его строители оставили узкую протоку для схода воды. В этом месте откос канавы был пологим, и Пеструшка поднялась по нему в заросли сухой прошлогодней травы, рядом с которой уже про-

бывалась молодая крапива. Там она и провела свою первую ночь на свободе. Майская ночь была ощутимо холодной, звёздное небо заменяло сверкающе-белый кров, вместо вентиляторов тихонько шумели сухие стебли. Птичьи голоса и шум машин на автотрассе где-то за забором то и дело будили курочку, а под утро совсем похолодало.

Встало солнце, и вскоре с той стороны, откуда пришла она вчера, послышался шум тракторов. На убойном конвейере начинался новый рабочий день, и до неё время от времени докатывалось оттуда ощущение страха и покорности куриной судьбе. Уйти подальше от источника этого ощущения мешал забор. Пеструшка попробовала пролезть в оставленную под ним протоку, но это ей удалось только тогда, когда разрыла она лапами слой ила на дне. По ту сторону забора тянулись такие же заросли сухой травы и молодой крапивы, так же журчала вода и ползали рядом с ней красные черви. За зарослями начинался берёзовый лесок, сквозь него проходила железная дорога, по которой, заставив Пеструшку вжаться в землю от страха, с воем и свистом пронеслась утренняя электричка из города. На опушке курица нашла ямку под полусгнившей корягой, залезла в неё и начала обживать в своём новом мире.

Середина лета

Нинка Любашина называла Диму только по фамилии:

— Ёлкин, а Ёлкин!

Не потому, что ей не нравилось имя Дмитрий. А только потому, что так звали её бывшего мужа. Поначалу молодой женщине льстило, что муж ревнует ко всем встречным: «Значит, любит». Но когда тот начал скрипеть зубами на каждую её улыбку не в его адрес, а потом и отвешивать оплеухи, она просто собрала свои вещи и вернулась в родительский дом. А вскоре официально развелась. Ладная и видная, с лёгким налётом сдобности в лице и фигуре, Нинка не боялась одиночества. Но ухаживания Ёлкина поначалу встретила настороженно, сочтя схожесть имён залогом схожести характеров.

— Ты чё, Нинка? — искренне удивилась подруга, сманившая её перейти работать в убойный цех. И добавила, оттопыря вверх большой палец с маникюром френч на ногте:

— Дима мужик во!

Мрачноватый Ёлкин возле улыбчивой Нинки и сам начинал улыбаться. Теперь они вместе ходили на обед в фабричную столовую, временами уезжали после работы к нему, но всегда женщина ночевать возвращалась к себе, отклоняя предложения остаться до утра. Она даже в минуты, когда человек не владеет собой, ни разу не назвала его по имени:

— Ёлкин., Ёлкин., Ё-ё-ло-о-чки-и-ин!

Стояла середина лета, плавился асфальт под ногами, и плавилось сердце Димы Ёлкина, когда она называла его «Ёлочкин».

Поначалу каждый свой новый день в берёзовом лесочке между забором птицефабрики и линией железной дороги Пеструшка встречала, как последний. Грозно шумели над головой деревья. Вода падала с неба и заливала приютившую её ямку под корягой. Копья молний и громовые удары, казалось, целили прямо в неё. Вой электричек, спешивших из города и в город, настигал в любом месте лесочка и заставлял вжиматься в землю. Но больше всего курочка боялась бродячих собак, забредавших иногда в лесок. Стая эта обитала в посёлке за линией железной дороги, а вожаком был рыже-подпалый дворняга, сильный и быстрый.

Но день проходил за днём, дни складывались в недели, лето вступало в полную силу. В глубине леска, на возвышенном, не заливаемом дождями месте, Пеструшка обнаружила давно заброшенную нору под корнями берёзы и стала жить в ней. Лес в избытке снабжал курочку пищей, за водой она ходила к ручейку, вытекавшему из-под забора, или пила дождевую. Её тело предубойной раскормленности стало поджарым и сильным, ноги крепкими и быстрыми, а острый клюв без промаха хватал добычу. Необходимость удирать от опасности научила помогать ногам крыльями. Однажды, спасаясь от собаки из стаи Подпалого, Пеструшка выскочила на обрыв. Спасения не было, и она как бежала, так и прыгнула вниз. Но вместо того, чтобы упасть камнем и разбиться о землю, полетела. Почти как птица, яростно ударяя воздух крыльями. И приземлилась внизу, метрах в двадцати от растерянного пса, за полосой непролазных кустов шиповника. Она запомнила чувство полёта и начала завидовать птицам. Невыносимо тосковавшая в первые дни по сытому и уютному миру птичника, Пеструшка вспоминала его всё реже, а потом и вовсе забыла.

Однажды собачья стая наткнулась на Пеструшку поблизости от её убежища, и курочка успела проскочить в нору. Подпалый, видя, что жертве некуда деться, с расправой не торопился. А когда сунул в нору морду, эта странная пёстрая курица, успевшая к тому времени отдышаться, прийти в себя и понять безвыходность своего положения, от отчаяния сделала единственное, что могло её спасти: ударила крепким клювом прямо в собачий глаз.

До вечера крутилась стая вокруг пеструшкиной норы, не рискуя соваться в неё и дожидаясь, когда хоть немного придёт в себя визжащий от боли вожак. Уже в сумерках собаки ушли, и только глубокой ночью Пеструшка выбралась из своей земляной крепости поискать пищу и воду.

Исполнение желаний

Наступила осень. Улетели на юг грачи, скворцы и ласточки. За ними потянулись клинья журавлей и шеренги цапель. Последние деньки догуливали на окрестных озёрах и болотах утки и гуси, готовясь к дальней дороге. И Пеструшка смотрела вслед свободным птицам в свободном небе.

Становилось всё холоднее. Она старалась реже покидать своё убежище, опасаясь встречи с Подпалым. Когда пёс потерял глаз, стая прогнала его, выбрав нового вожака, и теперь он, отощавший и потерянный, бродил в одиночку, лишь иногда с ним ходила сука, которую не принимала ни одна стая из-за хромоты. Хромая была чистопородной немецкой овчаркой и домом своим считала раньше двор трёхэтажного коттеджа в районе, называемом горожанами Поле Чудес. Но однажды попала под машину, и хозяин, дождавшись, когда срастётся сломанная лапа, увёз собаку подальше в лес и оставил там.

Окончив работу, карусельщицы в последний раз перед душевой вышли покурить на свежий воздух. Дима, вышедший вслед за Нинкой к газону с прибитой первым заморозком травой, держа в руке пачку синих «LD», заметил, что та не спешит закуривать, и припомнил — сегодня он вообще не видел её курящей.

— А ты чего не закуриваешь, бросила, что ли?

— Всё, откурилась я, Ёлкин.

— Ты? Наконец-то.

— Да-да. Откурилась. И отвыпивалась. И с тобой, Ёлкин, откувыркалась, — сказала она легко и даже как-то весело.

— Не понял. Ну-ка, объясни, что случилось, — глаза Ёлкина сделались холодными и колючими.

— Что случилось, то и случилось. Ребёнок у меня будет. Мамой я стану, вот что случилось.

— Фу-у! — облегчённо выдохнул он. — Значит, так: со смены вместе едем к тебе собирать вещи. С этой минуты ты мне жена.

— А ты-то при чём? Ты своё сделал. Дальше я сама, — спокойно, как о давно решённом, ответила она.

— Как это — «сама»? — гася улыбку, ошарашенно вымолвил Ёлкин.

— Вот так. Я и ребёнок. И всё.

— А я?

Нинка пожалала плечами, собираясь повернуться, уйти и закончить на этом тяжёлый, но необходимый разговор.

— Да что ты... — крикнул всегда казавшийся таким невозмутимым Ёлкин и будто подавился этим криком, — да что вы со мной делаете?! Или я урод какой, что отцом хорошим быть не смогу?!

Она не знала, да и мало кто знал: когда бывшая жена Димы Ёлкина свою вторую беременность, как и первую, прервала абортom, он оставил её, сказав на прощанье:

— Тебе бы у нас на убойной линии вместо «киллера» стоять. У тебя убивать — хорошо получается.

Все последующие годы он копался в себе, пытаясь понять вину в случившемся, и не находил её. И облегчения тоже не находил. Нинка не знала этого, но вдруг поняла: ляпни она ещё хоть слово поперёк, и железный Ёлкин, чего доброго, расплатится. А на что он будет способен в таком состоянии, один Бог знает.

— Ёлкин ты, Ёлкин, — женщина шагнула к мужчине, подняла руку, быстро провела ладонью по его слегка вьющимся, чёрным с проседью волосам и удержала её дёрнувшуюся назад голову, — Дима ты Ёлочкин...

Была та удивительная пора, какую испокон веков на Руси зовут бабьим летом. Пора, когда над остывающей, но ещё тёплой землёй летят паутинки, когда грохоток картофельных клубней, падающих в пустое ведро, веселит крестьянскую душу слаще любой музыки. Пора желанная, как последняя сигарета перед долгой и трудной работой. Прощальная пора.

Собирая последние дары осеннего леса, Пеструшка бродила неподалёку от своего земляного дома на пригорке, постепенно приближаясь к нему, как вдруг почувствовала тяжёлый, сминающий душу взгляд. Неслышно подкравшийся Подпалый готовился к последнему броску. Пеструшка кинулась было на пригорок, но, отрезая ей дорогу к убежищу, там уже стояла Хромая. Они всё-таки подловили курочку. И бросились на неё разом.

Но за миг до того, как Хромая сомкнула клыки на куриной шее, Пеструшка успела вогнать клюв в единственный налитый злобой глаз Подпалого. И тут её душа взлетела над осенней землёй. «Вот что мешало летать», — поняла она, увидев оставшееся на земле тело. Хромая, не оглядываясь на катающегося по жёлтым умирающим листьям слепого пса, ухватила это тело за голову и поволокла к логову, где ждали голодные щенки.

Пеструшка взлетела повыше. Невинные птичьи души, чередой поднимавшиеся от убойного конвейера прямоком в куриный рай, видели случившееся. И почтительно расступились, пропуская Пеструшку.

Октябрь 2014 года

ПЛЁТКА

Рассказ

Тулеген был одним из двух дежурных электриков нашей смены. Другим — Коля Савченко. Они ввалились в наш вагончик, когда мы с наладчиком Витей Кохом только-только присели перекусить:

— О, да у вас сало! Гляди, Коля — с чесночком! Давно мы не пробовали сала с чесночком.

— Ты же казах, Тулеген, — попытался урезонить его Витя, — тебе по религии сало есть не положено!

— Я казах, служивший в Советской Армии. И мне много чего положено, если стариков рядом нет. Старики в таких вопросах — хуже тигров уссурийских. Или тебе сала жалко, Кох?

Его армейская служба прошла в уссурийской тайге, на станции Камень-Рыболов под озером Ханка. Там и Китай, и Корея — всё рядом. А вот казахов, кроме него, не было. И принимали Тулегена за корейца, а чаще за бурята. Круглолицему, высокому и крепкому, кто-то дал ему там прозвище «уссурийский тигр». В шутку, конечно. Но добродушному Тулегену понравилось это сравнение с редким, красивым и опасным зверем.

Как-то, в начале нашего знакомства, рассказывая о своих братьях и сёстрах — кто где живёт и чем занимается — высыпал он целый ворох казахских имён.

— Сколько же их у тебя? — спросил я Тулегена.

— У папки нас десятеро: семеро парней, со мной, да три сестрёнки ещё у нас. Я-то шестой по счёту.

— Вот как? Значит, мать у тебя — «Мать-героиня».

— Нет. У мамки нас трое.

— Как же так — у отца десять, а у матери трое?

— А вот так: у папки три жены. И мы их всех мамками зовём. А не назовёшь — не обижайся. У папки рука тяжёлая. Да они и сами своих родных детей от не своих особо не выделяли ни раньше, ни сейчас. Разве только — на своих работы побольше валили. А так — каждая мамка в своём доме живёт. Вот моя, например, ближе всех к школе. Так мы зимой, в самые морозы, всей оравой после школы к нам топали. Мамка накормит, посадит уроки делать, а самых старших к тем мамкам отправит. Скажут они — где мы, да что всё в порядке — и назад. Чтобы утром, когда самый морозяка давит, опять вместе да по короткому пути — в школу.

Отец его был табунщиком и неделями кочевал по степи с совхозными табунами и отарами. Как успевал он обеспечивать все три свои семьи? Тулеген говорил об этом туманно:

— Есть люди и побогаче моего папки. Но семьи такие, как у нас, большая редкость. Видать, не в деньгах тут дело.

Присели они к нашему столу, съели всё сало, запили чаем и ушли. Вместо «спасибо» Коля бросил уже в дверях:

— А сало у вас — так себе, мужики. Шкурка толстовата....

Два года назад, когда Тулеген был ещё не в нашей смене, понадобилось вызвать его на работу взамен заболевшего напарника Коли Савченко. И я поехал в Каратас, где, как и в соседней Знаменке, вперемешку жили русские, казахи и немцы. На одной из окраинных улиц отыскался его дом. Водитель дежурного «пазика» по сигналу, вызывая хозяина.

— Заходите в дом, мужики. Сейчас соберусь, — сказал Тулеген, узнав, в чём дело.

А когда мы уходили, я увидел: в прихожей, на стене возле двери, висела плётка. Обычная плетёная пастуха-табунщика, из узких сыромятных ремешков, с деревянной рукоятью и темляком. Я спросил, кивнув на неё:

— У тебя верховая лошадь есть, Тулеген?

— Нет.

— Зачем же плётка? — удивился я.

— Это для другого дела, — ответил он, слегка смутившись.

И мне показалось, что провожавшая его жена, среднего роста симпатичная и приветливая казашка, чуть заметно улыбнулась.

Захрипела рация на стене:

— Начальник смены! Ноль седьмой выехал на весь кабель. Ждём электриков для переключения.

«Ноль седьмой», тяжёлый карьерный экскаватор весом в четырёста тонн, с четырёхзначным заводским номером, заканчивавшимся цифрами «07», в этот день переезжал из отработанного забоя в новый. Подошёл автобус, электрики забросили в него когти, пояс и «закоротки», и мы поехали переключать «ноль семёрку». Спустя час она снова, гудя двигателями хода и постукивая траками, покатила к забюю. А мы вернулись к себе, где Витя смотрел по телевизору «Свадьбу в Малиновке».

— Тулеген, а Тулеген, — начал Коля, когда нам надоели опереточные бандиты вкупе с опереточными красными конниками, — расскажи про свою свадьбу! Большой калым за невесту отдал?

— Не давал я калыма, — ответил он нехотя, — украл, и всё.

Но что-то очень тёплое шевельнулось в его душе, и он продолжил:

— Когда из армии пришёл, в Знаменке на танцах почти сразу её, Сауле, заметил. То есть я её и до армии видел, но она тогда совсем никакая была. Маленькая, худая, какая-то вся стеснительная. Ну, она стеснительная так и осталась, а в остальном... Глянешь в глаза, а они — как звёздочки! В общем, разглядел я её.

— А потом?

— Она с сеструхой моей Розкой дружила. Розка нас познакомила, ходить стали. Папка узнал, говорит: ты серьезно или просто так? А раз серьезно, тогда начинай дом строить.

Воспоминания увлекали его всё сильнее:

— Два года не прошло, построили. Братья же помогали, да и другая родня. Спрашиваю однажды Сауле: хочешь моей женой быть? А она: я согласилась бы, если отец разрешит. Пошёл я с этим делом к папке. А он говорит: настоящий джигит должен себе жену украсть. А если боишься, что не получится, или вообще боишься, то сразу говори. Тогда пойду с её отцом договариваться.

Отца её в Знаменке зовут Одноглазым. Он тоже табунщик, как и мой папка. Высокий и жилистый, с носом, похожим на ястребиный клюв. Отчаянный и ловкий на коне. Не раз побеждал в кокпаре, пока однажды в запале кто-то не выхлестнул ему плёткой глаз. Не нарочно, само собой. С тех пор он носит на глазу повязку. В общем, серьёзный отец у моей Сауле. Тигр уссурийский.

Начал я думать, как её украсть. Дело ведь непростое. Бывало, идёт она по улице, с обеда на ферму торопится, худенькая, косички на спине подпрыгивают, тут я навстречу. Увидит — и так заулыбается, что мне песни петь охота! Как же её такую украдёшь? Однако перед папкой себя уронить тоже не хочется. Думал, думал — и придумал. Выбрал время, когда отец её в степи с отарами был. Тут брат Серик погостить приехал. Я к нему, а он: давай, мол, получится! Подговорили мы с ним сеструху. Тем более что они подруги. Хоть и в разных деревнях живут, а на одной ферме работают.

И вот идёт моя Сауле после обеда на работу. На ферму. А тут на папкиных «жигулях» Серик едет. Тормознул возле неё да и говорит: мол, не надоело тебе пешком ходить? Садись, подвезу! А на заднем сиденье Розка. Тоже ей: поехали, да поговорим дорогой. А меня в машине нет. Если бы я там был, она бы ни за что не села. Догадалась бы. А теперь думаю: может, и догадалась бы, да всё равно села?

Напротив следующего переулка Серик чуть-чуть притормозил. Я из переулка выскочил и почти на ходу запрыгнул в машину на заднее сиденье. Саулешу мою к сестре прижал. Тут она всё поняла, да было уже поздно. И она заплакала. Тихонько, как дитё обиженное. Говорю брату:

— Останови, не могу я так!

А он:

— Да ты что, сдурел? Взятся — доводи до конца! — и только сильнее на газ давит.

Привезли мы её, а там уже гости ждут. За стол её посадили, а она всё плачет. Не так чтобы сильно, а всё равно жалко её. Она и в

спальне потом до утра проплакала, уж как я ни уговаривал. Так её в ту ночь и не тронул. А утром говорю:

— Ну, раз тебе в моём доме радости нет, иди назад, к родителям.

А куда ж ей теперь идти? Кто её возьмёт после того, как она в моём доме ночь провела?! Расписались мы с ней в загсе и стали жить. Папка мой к её отцу пошёл, а тот говорит:

— Тебя я уважаю, а парень твой чтоб к моему дому дорогу забыл. А то я ему ноги перелломаю. Вот так.

Папка утром после того, как я Сауле украл, повесил в моём доме плётку. Плётка эта в доме нашей мамки раньше висела. Сколько я себя помню, столько она и висела. Я у папки спрашивал, зачем она тут, а он отвечал всегда одно:

— Вырастешь — узнаешь.

А когда в моём доме повесил, тогда же и рассказал. Я его послушал и спрашиваю:

— Почему ты только сейчас это сказал? А не раньше?

Он отвечает:

— Родится у тебя сын и станет таким, как ты сейчас — тебе и решать, когда ему про эту плётку рассказывать. А я решил — так.

Захрипела, пробиваясь сквозь помехи, рация на стене:

— Наладчик, ответь сорок второму.

— Слушаю тебя внимательно, сорок второй, — взял трубку Витя, — говори, что случилось.

— Витя, у нас подъём дёргаться начал, приезжай.

— Вечно на сорок втором что-нибудь дёргается, — приговаривал он, складывая в сумку полный комплект электросхем, инструменты и прибор-«цэшку». Все электросхемы всех типов наших экскаваторов Витя знал наизусть, но немецкая пунктуальность всё равно брала верх.

Я ждал продолжения рассказа о плётке, но тут дошла очередь и до меня:

— Дежурный механик, ответь восемнадцатому.

— Слушаю, восемнадцатый.

— Николаич, у нас на правом повороте «наездник» задымил.

— Давно?

— Только что.

— Работайте пока без него. Сейчас что-нибудь привезу на замену.

Прошло недели две. Мы заступили в ночную смену. Коля Савченко отпросился по своим делам, Витя был на «сорок втором», где снова что-то «дёргалось», и Тулеген, чтобы не скучать одному в своём вагончике, зашёл к нам. По телевизору смотреть было нечего, и мы заварили свежий чай. Я спросил его, что же было дальше, после их свадьбы. И для чего всё-таки плётку эту отец его принёс?

— А дальше было вот что, — начал он, сперва не спеша, а потом всё больше погружаясь в рассказ, — долго моя Саулеша переживала, что всё так получилось. Родители её наш дом стороной обходили. И она иногда плакала. Папка мне говорит:

— Терпи, скоро всё наладится. Она у тебя уже беременная ходит. Не может быть, чтобы Одноглазый не захотел своего внука или внучку посмотреть.

Так оно и вышло. Родился у нас сын Ерлан. Ерик. Весь на меня похож. Только носик его крохотный на ястребиный клюв Одноглазого походил. Папка опять к нему пошёл, говорит:

— Внук у нас с тобой родился. Джигит.

И только тогда Одноглазый ответил:

— Ладно, на внука глянуть — зайду.

Я и тому рад был.

Когда они с моими родителями пришли, я в стайке был. Бежит жена, вся перепуганная: так и так, мол. Захожу в дом — стоит её отец над коляской, наклонился, смотрит на внука своего, и вроде как отмяк лицом. А я вошёл — снова выпрямился, набычился, так и прожигает меня своим единственным глазом.

Снимаю со стены плётку. Сложил и протягиваю ему. И говорю:

— Вот тебе, отец, плётка. А вот моя спина. Бей сколько хочешь, только прости.

А все стоят и ждут, что он сделает. Возьмёт плётку или плюнет мне под ноги и уйдёт. Взял. Тут я зубы стиснул — будь что будет. И он ударил меня. Один раз. Сплеча рубанул, с оттяжкой. Будто молния врезалась в спину и пропахала. Хоть и приготовился, хоть и зубы стиснуты были, а всё равно вырвалось сквозь них — то ли рычание, то ли хрип. А он в лицо мне глянул:

— Что, больно? Мне больнее было, когда ты мою дочь, как овцу из чужой отары, уволок.

Сложил плётку и протянул:

— Повесь на место. А когда мой внук вырастет, расскажи ему, за что я тебя ударил.

Папка говорит:

— Женщины стол накрыли. Пойдёмте праздновать!

Я плётку вешаю на крючок у двери и чувствую, как первые капли крови потекли по спине. И думаю: «Зато моя золотая больше плакать не будет».

Тулеген замолк. По рации начальник смены вызывал экскаваторы. Из карьера в двухстах метрах от нашего вагончика слышались резкие сигнальные гудки «восемнадцатого». Витя Кох, закончив наладку на «сорок втором», запросил автобус. Чувствуя, что не всё ещё сказано, я заторопил:

— А дальше, Тулеген, что было дальше?

— А дальше? Сидим за столом. Папка с Одноглазым беседуют, общих знакомых и родню перебирают. Потом оказалось, что они в одном гарнизоне служили, только в разные годы. И ударились оба в воспоминания об армии. У меня боль спину рвёт и печёт, рвёт и печёт. И ничего мне больше не хочется. Рубашка на спине промокла, и под меня уже кровь затекает. Глянул Одноглазый и говорит папке:

— Отпустим Тулегена? А то я свою руку знаю. Мало ему не показалось.

— Иди, сынок, полежи. Легче станет.

Уже в дверях слышу:

— Крепкий у тебя парень. Теперь я за дочку спокоен.

Зашёл в спальню, постелил на нашу кровать клеёнку, для сына купленную, и лёг на неё животом. Только лёг — заходит Саулеша. Глянула на мою спину. Не охнула, не вскрикнула, только вдохнула как-то глубоко и со всхлипом. И вышла. Ну, думаю, за мамками побежала. Нет. Приносит тазик с тёплой водой. Тряпки какие-то, бинты и мази. Сначала рубаху на мне ножницами разрешила. Вымыла спину. Потом рубец мой свежий стала перекисью поливать. И всё молча, деловито, как будто всю жизнь так делала. Мазь какую-то прохладную по больным местам размазала. И сразу боль стихать начала. Успокаиваться. Вдруг чувствую: губы её — легонько-легонько, осторожно-осторожно — спины моей возле самого вспухшего рубца касаются. И понял: она же мою рану целует! Уткнулся лицом в подушку. А подушка под моими глазами мокреть начала. Лежу и чувствую: надо будет сто раз мою золотую украсть — сто раз украду!

Когда она вышла воду кровяную из тазика вылить, я подушку сухой стороной кверху перевернул. А то подумает, что из-за боли разнюнился.

Вот и всё. Две недели после этого я только на боку и на животе спал. А когда жена дочку родила, которую я в честь сеструхи Розой назвал, да стала она подрастать, тут я и обиду Одноглазого всё больше понимать начал.

Возле вагончика остановился дежурный «пазик». В клубах морозного воздуха вошёл Витя. Мы снова заварили свежий чай и начали поздний ужин.

С тех пор прошло немало лет. Нет уже той огромной страны, в которой все мы были вместе. Витю Коха дети уговорили перебраться к ним в Германию. Коля Савченко на Украине, в своём родном Донецке. Я уехал в сибирский Двуреченск. Между нами тысячи километров и государственные границы. Тулеген так и живёт в Каратасе. Недавно его старший сын украл себе жену.

ПРОВЕРКА НА ВШИВОСТЬ

Рассказ

Гриша Ротермель и Саша Штриплинг дружили ещё со школы. По паспорту они были «советскими немцами», а так — просто двумя нормальными парнями, как все вокруг. Гриша, чуть повыше ростом, пошире в плечах и потемнее волосом, относился к Саше покровительственно, но не помыкал. Ему достаточно было, чтобы Саша знал — Гриша всегда и во всём первый. Он первым пошёл в школу водителей при ДОСААФ, а Саша — уже за ним.

Служили оба за баранкой. Саша водил тяжёлый «Урал» в «голубой дивизии», названной так местными остряками за то, что выброшена была в голую степь под Борзей, «столицей» даурских степей, в декабре тревожного семидесятого года под голубое забайкальское небо. А Гриша возил на «уазике» командира артиллерийского полка, стоявшего под Улан-Удэ, столицей Бурятии. На родину, в горняцкий посёлок среди казахстанских степей, вернулись почти одновременно. Гриша — чуть раньше. И пошли работать водителями на тяжёлые «БелАЗы»-«сорокачи», вывозившие по сорок тонн руды за одну ходку из забоев рудника горно-обогательного комбината. В одном Саша опередил друга — женился на два года раньше, на их однокласснице. Она ещё в школе заглядывалась на Гришу. Но потом почему-то передумала.

Они работали в одной бригаде, хотя и на разных машинах. Бывало, что в бригаде происходили перестановки людей с одной машины на другую или кто-нибудь уходил и на его место бригадир Николай Степанович брал новичка. Если в результате у Гриши появлялся новый сменщик, он делал напарнику «проверку на вшивость»: будто по забывчивости оставлял в кабине, на видном месте, некоторую сумму денег. Обычно на следующий день сменщик протягивал ему эти деньги, выговаривая:

— Что, богатым стал — где ни попадя деньги разбрасываешь?

Но однажды новый напарник промолчал, а деньги исчезли. И Гриша нашёл способ избавиться от этого напарника.

Саше хватало того, чтобы быть своим среди своих. Грише хотелось, чтобы с ним считались не меньше, чем с бригадиром. Наверное, со временем так бы и вышло.

Но Союз уже трещал, и начался отъезд «советских немцев» на только что объединившуюся «историческую родину». Она не скупилась на гостевые визы, и на ПМЖ принимала людей без долгой волокиты. Перед самым падением СССР в Германию уехали родители Гриши и семья сестры Саши Штриплинга. А когда рухнул Союз, друзья, побывав у родственников в гостях, тоже решились уезжать.

Гриша и тут сумел опередить друга, и раньше него, и выгоднее продав квартиру, гараж и свою салатного цвета «Ниву». Уехали обе семьи вместе.

Прошло два года. Горно-обогачительный комбинат то останавливался, то снова начинал работать. Опустели полки магазинов. Начались задержки выдачи зарплаты. Кто-то уехал из посёлка насовсем, кто-то устроился на угольные разрезы соседнего города и каждый день ездил на работу за пятьдесят километров. Советские деньги ещё были в обороте, но уже появились и новенькие тенге, украшенные портретами Аблай-хана, Чокана Валиханова и других известных казахов. Но и на них покупать было нечего. И тут в посёлок вернулся Гриша Ротермель с семьёй.

Поначалу мы подумали, что Ротермели приехали в гости, соскучившись на своей новой «родине» по родным местам и людям. Но Гриша, неделю пожив у друзей, купил двухкомнатную квартиру в старой трёхэтажке на окраине посёлка. Тогда такие квартиры уже продавали за гроши. И пошёл работать на угольный разрез. Водить точно такой же «сорокач», на каком возил руду в комбинате. На вопросы, почему вернулся, отвечал только:

— Да ну их, с их козлячьими порядками!

И обрывал разговор. Или переводил его на другое. Гриша заметно изменился после возвращения, став молчаливым и замкнутым. Что-то тяжёлое носил он в себе, и оно поднималось со дна души, едва речь заходила о Германии и немцах. Видя это, мы отстали от него. И прикидывали, скоро ли вслед за другом вернётся Саша.

Прошло ещё полгода. И однажды, в конце июня, когда солнце дожигало дожелта степи вокруг посёлка, в ограду дома, где уже несколько лет после смерти жены и отъезда детей одиноко жил Альберт Густавович Штриплинг, отец Саши, ввалились гости. Саша, с женой и детьми, весёлые, хотя и усталые после трёх часов в самолёте и двухсот километров автобусом.

Вечером, когда ослабела жара и закончился рабочий день, во дворе под тополями накрыт был стол. Молодые Штриплинги, заметно уже приуставшие от хлопот, принимали соседей и друзей, охотно и с удовольствием рассказывая о Германии, о тамошних своих соседях и друзьях. И всё было хорошо. Вот только Гриша не пришёл. И на вопросы о том, что случилось с его другом в Германии, отвечал Саша одно:

— Об этом лучше него никто не расскажет.

И переводил разговор на другие темы.

Они гостили две недели. Ездили рыбачить на Иртыш. Несколько дней, взяв с собой отца, купались и загорали на озере Джасыбай,

в крошечной «казахстанской Швейцарии» среди бескрайних, от Алтая и до Каспия раскинувшихся степей. Саша уговаривал отца перебраться к ним, но Альберт Густавович, сначала ничего сыну не отвечавший, перед самым отъездом сказал:

— Нет, Сашенька. Мама здесь лежит. Как я её одну оставлю? А вам — детей поднимать.

Последний перед отъездом вечер подходил к концу. Смеркалось, духота сменялась прохладой, танцы сменялись песнями на просторном дворе Альберта Густавовича.

— Что-то Гриха даже проститься не пришёл, — сказал Саше бывший его бригадир Николай Степанович, — а ведь какими вы друзьями были!

— Да я и не ждал, что придёт, Степаныч. Гордый он. Ему свою гордость не обойти, не перепрыгнуть.

— Что ж между вами вышло, Санька? Не поверю, что вы там сцепились!

— Между нами — ничего. А вообще — вышло.

Прощальное настроение или выпитое вино, тёплые звёзды над засыпающей землёй или тёплые серые глаза Степаныча, которого уважал Саша почти как отца, или всё это вместе всколыхнуло его душу:

— Вышло, дядя Коля, вышло!

Они закурили из бригадирской пачки. Саша затянулся и, не в силах больше молчать, начал:

— В переселенческом центре мы были вместе. Учили нормальный немецкий, обычаям и повадкам учились. Многие из нас новые специальности получали. Те, которые там востребованы были. А нам с Грихой сказали, что русских шоферов и так с руками везде отрывают. Это здесь мы немцами были, дядя Коля, а там русскими стали.

Через год выдал ему и мне этот центр направления на работу в одну и ту же транспортную компанию. Помог на первое время жильё снять. Дальше живи, как сам сумеешь.

Компания установила нам испытательный срок, дала машины. Не новые, но вполне приличные. И начали мы с Гришей по немецким штрассе рассекать. Работа простая: загрузиться товарами на складе, развезти их, согласно маршрутному листу и строго по времени, по большим и маленьким магазинам в городе. Ну и по окрестностям. А потом поставить машину в бокс. И всё. Это не сорок тонн руды из карьера на фабрику по серпантину тащить.

Так мы и работали. А однажды — до конца испытательного срока неделя оставалась — отработал я маршрут, гляжу, а в кузове мешок сахара остался. Мне в тот день вместе с другими продуктами десяток мешков его загрузили. Думаю: кто-то недобрал. Поехал

назад, зачищать маршрут. По инструкции так положено. Объехал все места, где разгружался. Ни у кого недобора нет. В боксе сдал машину дежурному и поехал домой.

Утром прихожу к диспетчеру за маршрутным листом, а он говорит:

— Герр Штриплинг, вам сначала к герру Краузе надо.

Герр Краузе — это наш начальник. Захожу, сидит он за столом. На столе перед ним конверт какой-то лежит. Поздоровались. Он спрашивает:

— Как отработали вчера?

— Нормально, — говорю, — отработал.

— И всё было, как всегда? Ничего необычного? — спрашивает, а сам по этому конверту пальцами барабанит. — Даже в мелочах?

Берёт конверт и встаёт из-за стола. Тут меня будто кольнуло: мешок сахара! Я же про него и думать уже забыл.

— Нет, — говорю, — герр Краузе. Лишний мешок сахара мне вчера загрузили.

— И где он, этот мешок?

— В машине, а машина в боксе. Я что-то не так сделал, герр Краузе?

Он опять сел, ящик выдвинул и бросил туда этот конверт:

— Нет, герр Штриплинг, вы всё сделали правильно. Получайте маршрутный лист и приступайте к работе. А мешок у вас на складе заберут. Я им сейчас позвоню.

Дал диспетчер «маршрут». Выхожу — навстречу Гриха. Бледный. Сразу видно — не в себе человек. И ко мне:

— Саня, меня уволили!

Мы на людях всегда по-немецки говорили, чтобы внимания не привлекать. А тут он — от волнения — на русский перешёл:

— Представляешь, вызывает меня Краузе. Начинает расспрашивать про вчера, что да как. Нормально, говорю. А он: мол, вы такой хороший водитель, компании так жалко с вами расставаться, но ваши услуги нам больше не нужны. И конверт суёт. А в конверте — уведомление об увольнении и деньги расчётные! Вот так, Санёк!

Только сказал Гриха про конверт, мне сразу всё стало ясно. Даже ноги затряслись от ясности — что было в конверте, который Краузе в стол бросил. Говорю:

— А у тебя — точно? — всё было, как всегда? Даже по мелочам?

— Да нет, как всегда, всё было, — говорит. Только мимо глаз моих смотрит.

Мне бы смолчать, дураку. Молча пойти за машиной да ехать по маршруту. Ему бы я всё равно ничем уже не помог. А я взял и ляпнул про свой разговор с Краузе. И про мешок сахара, и про конверт. С перепуга ляпнул, дядя Коля.

Его даже затрясло:

— Так это не ошибка была?! Это меня «на вшивость» проверяли?!!

Он так кричал, что вокруг нас люди собираться начали. Я говорю:

— Мне ехать пора, Гриша.

И пошёл за машиной.

Попытался он найти другую работу. Но без рекомендации с последнего места нигде не берут. Рекомендацию-то ему Краузе дал. В том же конверте она лежала. Хорошая рекомендация. Если бы не последняя строчка. А в ней сказано: «Склонен к нечестности». И как только дочитывали люди до этой строчки, тут же ему отказывали. А без рекомендации брали только временно. Улицы мести или мусор вывозить. На день или два, пока найдут замену турку, который раньше эту работу делал.

Потыкался он, помыкался — а дальше вы сами знаете.

— А ты? — спросил Степаныч, прикуривая сигарету от сигареты.

— А я так и работаю. В этой же компании. Краузе наш после того случая как-то по-другому стал ко мне относиться. Мягче как-то.

Они вернулись за общий стол. Было совсем темно, и двор освещали два фонаря, над крыльцом и возле калитки. Гости разошлись. Только бригада, бывшая бригада Саши Штриплинга, сидела в полутьме за столом.

— Дайте я на вас напоследок на всех вместе посмотрю, — сказал он, отступив к забору.

— Что ж на нас смотреть? Вот они мы, все живые, и долго ещё живые будем. И увидимся не раз!

— А рваните-ка нашу любимую! — попросил он.

И в восемь глоток «рванули» мы так, что за две улицы слышно стало:

*На поле танки грохотали.
Солдаты шли в последний бой,
А молодого командира
Несли с пробитой головой.*

А Саша всё смотрел, будто навсегда насмотреться хотел. Когда мы дошли до:

*Старушка-мама зарыдает,
Смахнёт слезу старик-отец,*

он сполз спиной по забору в траву. То ли всхлипнул, то ли выстоял:

— М-мужики, как же я — без вас — там — б-буду?!

Обхватил руками голову, уронил её на колени и заплакал.

СТРАННИК

* * *

Я странник.
Иду по страницам
ещё не написанных книг.
Ищу сквозь личины и лица
Любви проступающий лик.

* * *

Как берег тянется к волне,
так я – к тебе.
Так ты – ко мне.
Мы неразрывны столько лет,
как тень и свет,
как «да» и «нет».

Вот так
идут через века
любовь и боль,
в руке
рука.
До самой кромки бытия.
Как я и ты.
Как ты и я.

ЯНВАРСКОЕ

Подъезды приняли на роздых
воробышков, а вместо них
сидят нахохленные звёзды
в ладонях ночи ледяных.

Ещё минута улетает
туда, где тает – не оттает
луны вмороженный пятак.
Она уже не повторится.
И даже эти минус тридцать
хоть повторятся, да не так.

И лишь бессонница сверлит,
и что болело – то болит,
и что ушло...
Так в чём же дело?
Ах, минус тридцать...
Потеплело.

ОН

Я отражусь в ночном окне.
Войдёт в стекло ночное
мой враг.
Сейчас он не во мне.
Лицом к лицу мы, двое.

Он равнодушен – не жесток.
Не бьётся лбом о стену.
Он чётко знает свой шесток,
и очередь, и цену.

И что, и кем предрешено,
и кто, и сколько стоит.
Но он – то самое оно,
которое не тонет.

* * *

Есть люди-молнии.
И мне бы,
себя и случай не вина,
стихии две – земли и неба –
грозой любви соединять!
Есть люди – на тюремных нарах
горят призывом к мятежу.

Я электрический фонарик.
Я разрядился и лежу.

* * *

Вчерашний день
в мою стучался дверь,
молил впустить,
к минувшему взывая.

Был поздний час,
но я открыл, зевая.
Он понял, повернулся,
и теперь
меня обходит, даже не кивая.

ГОД ОВЦЫ

Отару дней пастух ведёт.
Собаки лают.
Россия спит. Европа ждёт.
Донбасс стреляет.

Упала нефть. Взлетел бензин.
Валюты стонут.
Соваться с тыщей в магазин
уже не стоит.

Полузабытый Виктор Цой
поёт с экрана,
как в год Овцы не быть овцой
или бараном.

ПЕРЕЛОМ

На переломе двух веков –
назад, в Россию, из югов.
Россия дыбилась от боли,
и перелом судьбы моей
был оттого ещё больней.
Но сам я выбрал эту долю.

Мне обо всём забыть велит,
и хлеб, и зрелища сулит
телеэкран.
И только ночью,
напоминая о былом,
опять болит мой перелом
и отпустить меня не хочет.

Я прошлым веком болен.
Но –
но в мир проломлено окно,
луна красуется в проёме.
Всё обойдётся.
Может быть.
И очень хочется забыть
о переломе.

ОТТЕПЕЛЬ

Жали морозы и жалили:
– Вот тебе. Вот тебе! Вот тебе!!
Выдохлись.
Нате вам, шалые,
оттепель.
Оттепель, оттепель!

Бедные снег да и лёд теперь.
Оттепель жмёт и старается.
В вёсны торопится оттепель,
в дамки она прорывается.

Лужей январскою хлюпает,
мера безмолвие белое,
оттепель, девочка глупая.
Оттепель, девочка смелая.

* * *

Наташе

Ветра срывают снег,
в леса его уносят.
Потом сорвут с души
обличье, как пальто.
Я встану перед Ним,
и Он меня не спросит,
за что тебя любил.
Лишь – обижал за что?

* * *

Ошалела вьюга от тоски.
И, терпеть её не в силах боле,
бьётся, разгоняясь в чистом поле,
о сосняк далёкий у реки.

Или это в поле у реки
против полчищ нового Мамаю
на смерть встали русские полки,
и летят лихие степняки,
свежий снег копытами вздымая!

Или это вьюга, от тоски...

АРХЕОЛОГИЯ

Вот здесь, где проросли века
сквозь кости и кольчугу,
я и стоял,
в кольце клинков,
со смертью на клинке.

Я был зарублен.
Но зато –
вы только что друг другу
сказали тихо о любви
на русском языке...

БЫТЬ РУССКИМ

Опять на нас косятся нервно:
«Опять Россия не права!».
Я россиянин, это верно.
Но русский всё-таки сперва.

Я русский. Мне светло и грустно.
Я грусть мою устал скрывать:
быть нелегко в России русским.
Быть, а не просто проживать.

Пока я есть на белом свете,
со мной и радость, и беда
быть русским.
Быть за всё в ответе.
За всех. Во всём. Везде. Всегда.

От ноши этой я старею,
зато и кайф во мне живёт:
ведь даже нашенских евреев
загранка русскими зовёт.

* * *

Горчит Россия, как вина.
И не ищу уже ответа,
за что дана ей доля эта,
за что Россия мне дана.

Я пью горчащее вино.
Я, этой горечи частица,
успев Россией причаститься,
хочу успеть ещё одно:

уже летя в небытие,
в иные кущи или чащи,
зажать в губах
слегка горчащий
прощальный
поцелуй
её.

* * *

Оно пройдёт, лихое время,
как всё проходит на Руси.
Неси невзгод своих беремя
и снисхожденья не проси.

Не на твоём пиру веселье.
Там до тебя и дела нет.
Но не ищи себе спасенья
из этих лет.

Не лобызай чужое стремя,
чужое знамя не носи.
Оно пройдёт, лихое время,
как всё проходит на Руси.

РОДИНА

Проколола «железка» Даурии угол,
битый оспой шурфов
от «разведки на уголь»,
прострочила, ушла на Китай.
Вот и родина.

Зябнет перрон на рассвете.
Та же степь. И пологие сопки. И ветер,
что шептал: «Поскорей вырастай...».

Он пророчил судьбу –
в небывалом распахе.
Вот и вырос я, ветер. Сперва из рубахи,
а из родины – много позднее.
Вышло так,
как частенько выходит на свете.
Почему же мне грустно и совестно, ветер,
словно я виноват перед ней?

* * *

Если долго копаться в себе,
постепенно я сделаюсь глубже.
В глубине сам себя обнаружив,
поклонюсь за удачу судьбе.

И закрою раскопки. Не то,
размечтавшись найти там рубины,
закопаюсь в такие глубины,
где меня не отыщет никто.

ФОНЕТИКА

Согласные для гласных неопасны.
И не горчат в гортанях у согласных –

у звонких, у шипящих, у глухих –
гортани непривычно обдирая,
финалом фонетического рая
ни бунт, ни «Марсельеза», ни стихи...

МАРТ

Погода пьяна,
заврался прогноз
и морок повис на душе.
У марта и дождь – ещё не всерьёз,
и снег не всерьёз
уже.

Он мне подмигнёт,
играя со мной
колодой краплёных карт,
зимой – не зимой,
весной – не весной,
март.

А честь не в чести,
а водка в цене,
и мартом по брови полна
увязшая в ней,
в весне – не весне,
родная моя
страна.

* * *

Дверь открою. И, тепло транжиря,
в дом впуссу озябшую весну.
Я живу в таком немирном мире,
что скорей похож он на войну.

Это в нём сцепились до победы
власть и честь. И бою нет конца.
Это в нём точнее, чем торпеды,
стрессы торпедируют сердца.

В нём свистят не пули – пересуды.
И от них, а не от вражьих мин,

рвутся кровеносные сосуды
и сдаёт окопы инсулин.

Это в нём рванулись в штыковую,
кто друзьями был ещё вчера.
Из него любовь, едва живую,
всю в бинтах, выносит медсестра.

И в него сегодня на рассвете,
вся ему – до бантиков – видна,
в пальтеце коротком и берете
заявилась девочка-весна.

* * *

Лишь теперь,
не легко и не ловко,
за былые удачи плачу.
Я не буду героем тусовки,
а статистом и быть не хочу.

Только больно бывает порою,
только снова талдычит молва:
у друзей, уходящих в герои,
по Дантесу,
а то и по два...

* * *

Сосредоточенны и хмуры,
судили критики стихи,
с высот большой литературы
клеймя изъяны и грехи.

Судили в частностях и в целом,
клеймили долго и не зря.
Стихи стояли под прицелом
и – ухмылялись втихаря.

* * *

Строки-пустышки и строки-каменя,
я не вложил ни души, ни уменья
в вас.

И наказан за это вполне –
строки-друзья не приходят ко мне.

* * *

Чем больше мним,
тем меньше весим.
И поздно хватимся потом,
что в дирижаблях нашей спеси
заметны мы –
с большим трудом.

* * *

На листке, вырезанном из журнала –
крылатый конь Пегас.
Дунул сквозняк,
листок закружился по комнате.
– Папа, ты знаешь,
почему он летает?!
– Почему, доченька?
– У него же – крылья!!

* * *

Птицы летали и курицы – тоже.
Солнце садилось на юг.
Шёл человек, на людей непохожий,
около шёл и вокруг.
Около –
овцы плелись косогором,
волки точили ножи.
Люди – вокруг – доверялись заборам.
Колья, ограды, межи.

Он подошёл и не спрятал улыбки.
«На тебе хлеба, живи!»
Взял. И сыграл им
на старенькой скрипке
песню о первой любви.

«Ну и чудак», – расходились, зевая.
«Спятил», – роняли смешок.

Ночью осинового столба, оживая,
в землю пустил корешок.

* * *

Судьба моя – игра,
сплетенье тьмы и света.
Играть – и заиграться наповал
на кончике пера
Поэта всех поэтов,
что Библию верлибром диктовал.

НА МИГ

Прошёл огонь
шнуром огнепроводным.
Рванули детонатор и ДШ*.
На миг,
но зверем сильным и свободным,
взметнулась взрыва жаркая душа.
Земля качнулась. Комья разлетелись.
И сняли оцепленье взрывники.

Мне хочется,
да и всегда хотелось,
рвануть стихи огнём такой строки,
чтоб озарился мир нездешним светом
и новый мир из ничего возник.
Чтоб я себя почувствовал Поэтом.
На миг.

* * *

Вроде всё сложилось хорошо,
вроде все наладились дела.
Оглянулся – день-то и прошёл.
Пригляделся – это жизнь прошла.

* * *

И он ушёл, последний снег.
Ушёл зимы последний воин.
Апрель хохочет, он доволен,
клокочет смех в гортанях рек.

* Огнепроводный шнур, детонатор, ДШ (детонирующий шнур) – средства взрывания (Прим. авт.).

Шарфы и шубы в шкаф забить,
его исполнив повеленье.
И о счетах за отопленье,
хоть ненадолго, но забыть.

Сажать цветы и ждать дождей.
И просто быть, а не казаться.
И стука в дверь не опасаться,
и не молиться на вождей.

Отмеренный транжирить век,
друг друга холодом не рая,
наперекор дерьму и дряни,
полезшим, лишь растаял снег.

АПРЕЛЬ

Лик луны потёрт, но светел,
как монета в пять рублей.
В переулке бродит ветер,
тёплый пьяный дуралей.

Крыши льют капелей слёзы,
март ушёл за окоём.
Обнимается берёза
с одноглазым фонарём.

В ПАРТЕРЕ

В партер апрельской кутерьмы,
травинки, лезьте
глядеть,
как тает грусть зимы
с зимою вместе.
Кому-кому,
а вам важны –
вплотную, рядом –
глаза весёлые весны
над первым рядом.
А вам особенно нужны
и свет, и вера.

Стою тихонько у стены
партера.

* * *

Когда в магазине одном
мне дали удачу на сдачу,
о ней до утра, чуть не плача,
судачил взъерошенный дом.

Когда через несколько дней
меня обманули стократно,
как было соседям приятно
жалеть о потере моей...

СПРЯЖЕНИЯ В ДАТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ

Мы сами себя запрягаем
и сами заносим кнут.
Я даю.
Ты даёшь.
Он даёт.
Даже она даёт.
Мы даём.
Вы даёте.
И только они – берут.

Деньгами берут. И лестью –
лакомством королей.
Так вот и падаем – вместе.
Вместе-то веселей.

* * *

Однажды ушёл мой последний друг,
зажав свою боль в горсти.
Однажды ушёл мой последний друг,
а я не успел:
– Прости!

Я столько всего не успел, когда
за ним захлопнулась дверь.
И ходят со мной вина и беда
теперь.

* * *

На челе умирающих рано –
благородства
печать ли, клеймо...
А подонку и подлость – охрана.
Ведь кому оно нужно, дерьмо!

«BISTROT SUR LE MONT»*

Дыханию Парижа, маю
или французскому вину
сказать «спасибо»,
я не знаю.
Но в тридцать глоток,
как в одну,

забыв про вековые тяжбы,
давившие ещё вчера,
поляки пели нам протяжно
о подмосковных вечерах.

Я пил из песни, как из чаши.
Живая в ней была вода.
И думал я, что власти наши,
что дорогие власти наши
нас не поссорят никогда.

А песня русская звенела,
вбирая польские слова.
И Польша вовсе не сгинела,
и Русь по-прежнему жива.

Зачем закат дугою алой
за реку бросила весна,
когда бутылки и бокалы
полны французского вина?

СКАЗОЧКА

Сошлись в бою добро и зло,
решать свои дела.
Так вышло – злу не повезло,
и мир лишился зла.

* «Бистро на горе» (фр.).

Его в телеге увезли,
отголосив «ура!»,
к норе на краешке земли
приспешники добра.

Вот там и заперли – в норе,
чтоб, обретя покой,
увязнув по уши в добре,
исчез и род людской...

* * *

Как здорово, что в мире есть Париж,
заветный остров в океане быта.
И в брешь,
 что в толще быта им пробита,
влетел души моей весёлый стриж.

Как здорово три ночи и три дня
дышать парижским воздухом весенним,
с Парижем вместе отражаться в Сене,
как будто мы друзья или родня.

И чувство это зёрнышком любви
в подарок быту принести оттуда,
где на земле ещё возможно чудо.
И так реально – только позови...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Как Вам в Томске, доктор Чехов?
Ничего не изменилось.
Не считая Интернета,
не считая скоростей.
Рядом с Вами, в Белом доме,
бал сегодня новогодний.
«Шевроле» и «мерседесы»
титулованных гостей.

Ничего не изменилось.
Попрыгуньи молодые
клич «В Москву!» несут, как знамя.

Тесно им и скучно здесь.
Да, холерой не болеем.
Но забиты под завязку,
в основном-то русским людом,
все «палаты номер шесть».

Тальники вон порубили,
чтоб не портили картины.
В них ли дело? Из-под снега,
из размаха и тоски
неизменно прорастая,
прёт и прёт судьба России,
как за Вашею спиною –
по-над Томью тальники.

ЖУРАВЛИ

Летят на север журавли.
Там, в глубине пустой земли,
без них любимой только Богом,
и завершится их дорога.
Летят на север журавли.

Пока мы топаем в пыли,
идём из пешек в короли,
меняемся и изменяем,
и за измены извиняем –
летят на север журавли.

И Русь жива, пока над ней
летят, в далёкой сини тая,
спешащие на север стаи
её усталых журавлей,
одной любовью синь пластая.

РОСА

Упала на траву роса
и так торжественно блистает!
А через час ли, полчас
росу окликнут небеса
и даже след её растает.

Упрусь глазами в синеву
и попрошу простого чуда:
успеть, до оклика Оттуда,
росой, упавшей на траву,
блеснуть.

А после – будь что будет.

* * *

На бумагу слов упали зёрна,
будто в землю по весне легли.
И молиться вовсе не зазорно,
чтобы эти зёрна проросли.

И не важно,
что не скоро осень
золотой уронит в поле свет.
И не важно,
кто колосья скосит,
сеятеля вспомнив или нет.

БРАГА

В бутылки поэзии, в нужные сроки,
«дойдя» в мутноватом стекле,
стихами становятся странные строки
с коронами рифм на челе.

И, брагою слова хмельного согреты,
сбиваются ближе родни
осколки небес –
чудаки и поэты.
И счастливы этим они.

* * *

Актрисе Галине Кука

Комедианты, скоморохи,
в тряпье гороховом шуты
идут подмостками эпохи,
с царём и нищенкой на «ты».

Наги их души, ноги сбиты.
Но вмиг стихает суета,
лишь только высветят софиты
в тряпье гороховом шута.

ПЕШКА

Их прикрывает грудь моя
и остальных таких, как я.
И потому пока что целы,
полны отваги и вранья,
король и вся его семья,
и конница, и офицеры.

Я пешка.
Жизнь моя доска.
Я верю воле игрока,
и у меня есть всё, что надо:
под гимнастёркою душа,
да «сидорок», да ППШ,
да две гранаты.

Вот-вот наступит мой черёд
идти вперёд. Пойду вперёд,
хоть с детства ненавижу драки.
Готовьте копья и мечи,
мечите лазеров лучи –
мой ход, вояки!

Как знать,
что снайпер-офицер
меня разглядывал в прицел
неторопливо, будто в тире?
И я упал, едва-едва
перешагнуть успел с е2
на е4.

ГРУСТНОЕ

Гляжу, конечно же, вперёд.
А всё равно себя итожу.
Умру – и в тот же миг умрёт
всё ненаписанное тоже,

и весь сиюминутный хлам,
и строки пробы невысокой.
«Мне поделом и по делам...» –
себя итожа, пел Высоцкий.

Июнем календарь забит,
но холодок весьма весенний.
И от него
меня знобит,
а не от – «...умер Вознесенский...».

* * *

Звёздный атлас в небе вышит,
еле слышно речка дышит,
и огонь лениво лижет
сучковатое бревно.
Ночь. Предчувствие рассвета.
Всё допито и допето,
лишь комар из чаши лета
дует красное вино!

* * *

Хондроз души лечу дорогой.
Багаж уложен. Здравствуй, путь.
Не будь ко мне чрезмерно строгим
и снисходительным не будь.

Не превозмочь желанье это –
свернув с натоптанной прямой,
пройти тебя до края света,
до возвращения домой.

* * *

Третьи сутки дорожная проза:
к полотну подступает тайга,
по колени в тумане берёзы
и по пояс в тумане стога.

Канут годы мои золотые.
Новый век
станет кучей старья.
Но такую же будет Россия,
недопетая песня моя.

Разве только – под сорок морозы,
разве только – без края снега,
по колени в сугробах берёзы
и по пояс в сугробах стога.

* * *

По ромашке на любовь гадаю
и опять – «до гроба» – нагадал.
Кто сказал, что в детство я впадаю?
Я ведь из него не выпадал...

РЫЖИЙ

По зябкому шиферу стареньких крыш
катился рассвет во дворы,
и был я тогда упоительно рыж,
один изо всей детворы.

Я с этой поры, на потеху молве,
в её перекрестье стою.
Стекает рассвет по седой голове
на рыжую душу мою.

ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ ДЕТСТВА

Плыл по звёздной заводи
поплавок луны.
На рыбалку загодя
вышли пацаны.
Зорька небо красила
поперву – слегка.
Караси-карасики
ждали червяка,
листья ждали ветра,
а вода весла,
тишина рассветная
голосов ждала,
в заросли болотные
прячась до поры,
пацанов голодные
ждали комары.
И за дальней кромкою,
где уже светло,
счастье их негромкое
тоже их ждало.
Только заприметить
да не упустить!

Да за счастье это –
жизнью заплатить....

А пока что загодя
вышли пацаны,
а по звёздной заводи –
поплавок луны!

ИНГОДА – ИРТЫШ

Сохатый спустится к воде,
к реке таёжной Ингоде.
Напьётся. И уйдёт в хребты
над берегами Ингоды.

Степные воды Иртыша
текут привольно, не спеша.
Гнезятся утки в камыше
на Иртыше, на Иртыше.

От Иртыша до Ингоды –
позаросли мои следы.
Но лишь засну – летит душа,
летит к берёзам Иртыша,

чтобы до утренней звезды
вернуться к соснам Ингоды.

2002 год, Чита

* * *

Река срывала берега.
В весёлом раже
сносила стайки и стога,
и крыши даже.

Перечить ей – опасный прок,
смириться легче.
А мост остался поперёк,
в воде по плечи.

Отбушевав – тиха, пуста –
устало катит.
Белеют буквы вдоль моста:
«Сергей + Катя».

* * *

А под лужами ямы совсем не видны,
и вздыхают маршрутки, кренясь.
Я унижен бессильем великой страны
одолеть свои хамство и грязь.

Вам знакомо бессилье тяжёлого сна –
хочешь руку поднять, а невмочь?
Спит Россия.
Устала. А может, больна.
И никто не спешит ей помочь.

Но в надежде,
что всё же проснётся она,
журавлиной строкою рассвет
для неё для одной расширяет весна
сколько лет,
 сколько лет,
 сколько лет...

ВОЛНА

Летит на пляж ещё одна
волна, вздымая муть со дна.
Но только пену в ней и муть
я не приму за моря суть.

Да, в чём-то я, конечно, лох.
Но всё равно, не дай мне, Бог,
в одну дуду с другими дуть,
в упор не видя мути суть.

1982

Записан, размножен, упрятан в кассеты
Владимир Высоцкий.
И признан Поэтом.
Становится в нём
пьедестальность заметна.
Его даже хвалят. Печатно. Посмертно.

Посмертно – и диски, и книги, и пресса.
Посмертно,
как будто штампованный прессом,
углы кругловаты, приглажен, припудрен.
Осталось завить «под Есенина» кудри.

А те, что при жизни
молчанием били,
сегодня поспешно его возлюбили.
Посмертно. Как будто при жизни
на свете
никто и не слышал об этом поэте.

Я тоже, я тоже – посмертно.
И, может,
мне скажут:
– А сам-то ты,
сам-то ты что же?
И сам я себя призываю к ответу.
И нету вины. И прощения нету.

2012

Упади-ка, CD, на ладонь дисководы,
в закоулках процессора час погости.
На душе разыгралась такая погода,
что меня лишь Высоцкий сумеет спасти.
Он споёт о романе
 с наводчицей Нинкой.
О судьбе иноходца он тоже споёт.
А ещё –
 а ещё о «не прыгайте с финкой».
Мне ведь тоже
 нужней кислорода – восход.
Я изрядно устал, сам с собою воюя.
Остальное – пустяк, суета и дожди.

Он о Нинке запел,
 возвращая мне юность,
когда всё впереди,
 когда лучшее всё – впереди.

СЕНТЯБРЬСКИЙ СНЕГ

*Памяти поэта
Александра Рубана*

Цедила ночь коктейль рассвета
под жёлтых листьев саундтрек,
и пеленал остатки лета
нежданный снег, сентябрьский снег.

Был полон смыслов и ужимок
и новый день, и юный век.
Но смысл кружившихся снежинок
знал только он, сентябрьский снег.

На тропы, свалки и овраги
снежинки падали, тихи.
Земля, белей листа бумаги,
принять готовилась стихи.

Но не сумел никто ни строчки
весь день придумать, вот беда.
Рассвет догрыз горбушку ночи,
и снег растаял без следа.

* * *

В. Бельчикову

Нас судьба не ласкала
ни тогда, ни сейчас,
на Парнас и в Ла-Скала
заявляя не нас.

За стихи свои платой
получая под дых,
не теряйте, ребята,
голосов молодых.

ОГОНЬ

*Графоманам
с филологическим уклоном*

Сухие лучинки зажгите берёстой.
И пусть огонёчек окрепнет сперва.
Потом уж –
потолще лучины подбросьте.
Потом – но с разбором! –
дрова.

Есть люди,
которые снова и снова,
желая успех поскорее испечь,
пихают великое русское Слово
поленом сырым
да в холодную печь.

СЛАВА

Весёлым, мечтавшим о славе паяцем,
кричал он,
что славы не станет бояться.
Что он из того же –
особого –
сплава.
Да только его не услышала слава.

С тех пор постарел он
и сгорбился грустно.
Зато повторяет в печати и устно:
ему наплевать,
с кем шатается слава,
продажная девка, дешёвка, шалава.
Слава...

В МИНОРЕ

Сергею Максимову

Стороною меня обошёл
ясноглазый красавец мажор.
Потому утвердилось во мне
уваженье к минорной струне.

Потому и закатное «ми»
кинул в колокол Спас-на-Томи,
и протяжно минорит в ответ
минарет.

* * *

Опять расстроили Европу
и мы, и наш природный газ.
Опять показывает спину
она, обидевшись на нас.

Я знаю – ненадолго склока,
и впереди у всех зима.
Ведь даже свет идёт с востока
в Европу.
Так же, как и тьма.

ПЕТРОГРАД

*Мы видим город Петроград
В семнадцатом году...*

Сергей Михалков

*В златотканые дни сентября
Мнится папертью бора опушка.*

Николай Клюев

В парике бутафорском и кепке,
под повязкой скрывая лицо,
крошка Цахес*, угрюмый и цепкий,
мимо сонных проходит дворцов.

Разметали октябрьские ветры
златотканые дни сентября.
Беззащитные рифмы и метры
обнимает стальная заря.

Растопырены пальцы орудий
у Авроры, богини зари.
И однажды расстреляны будут
златотканых времён сентябри.

* Злобный карлик из рассказа Э. Т. Гофмана «Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер».

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ»

Владимиру Кострову

И умирая, не молчи.
О чём румяным поколеньям
хрипят седые трубачи,
хрипят почти что на коленях?

Не пожалеют их судьба
и новый век. Близка расправа.
И, в губы вбитая, труба
торчит воронкой для расплава.

Не годы – дни их сочтены.
«Вставай!», – отчаянно зывают.
Расплав свинцовой тишины
тихонько в тигле остывает.

* * *

Не ищу я ни денег, ни славы.
Меж обломков великой державы
я – обломок, любивший её.
Сквозь меня прорастает быльё.

Сдавлен лет навалившимся грузом,
перевит повиликой-травой,
я Россию Советским Союзом
буду помнить, покуда живой.

И свечу за него я поставлю,
и огонь сберегу на ветру.
Но скорее умру, чем восславлю.
Чем унижу – скорее умру.

НЕ УМЕЮ

Не умею я с людьми сближаться,
хоть на свет родился не вчера.
И на дураков не обижаться
не умею. А уметь – пора.

Не умею быть простым и ясным,
отсекать патетику и чушь.
Разучился плакать. А – напрасно.
Но ещё, быть может, научусь.

Не умею на бровях крутиться
ради снисходительного «да».
Я не стану этому учиться
ни сейчас, ни после. Никогда.

НЕ ВЕРЮ

Верить власти немодно,
да ещё и опасно.
И вдвойне несвободны,
кто со властью согласны.

Я поверить и рад бы.
В кошелёк. В пистолет.
Только чую, что правды
в них тем более нет.

Запер окна и двери
и дурею в тоске:
НИ-ЧЕ-МУ я не верю.
Даже этой строке.

ВЕРЮ

Родные россияне, татары и славяне,
не суйте ваши локти в душу мне.
Тем более что вместе
окажемся мы в месте,
где локти наши будут не в цене.

О нём одно известно –
там никому не тесно.
Туда уйдёт однажды без затей,
без свиты и «мигалок» –
был важен я иль жалок –
душа нагая,
в ранах от локтей.

И там мы вместе будем.
И – так себе, и люди.
Знакомые, соседи и друзья.
Родные россияне, татары и славяне.
Светло и горько в это верю я.

ХОЧУ

Не бежать от работы.
Не умея – не врать.
Брать высокие ноты,
а чужого – не брать.

Не в свои города
не соваться на танке.
И уйти навсегда
под «Прощанье славянки».

ЧЕРНОТА

Ситуация зла и проста:
моё небо сожгла чернота.
А без неба –
без неба во мне –
будто в бездне, на дне.

Так: «Распни его!» –
бездную рта.
И распяла Христа чернота.
Но сумела – ей всё нипочём –
даже крест Его сделать мечом.

И не встретиться с нею нельзя.
Вот и этот, из грязи в князья,
превосходством до глаз налитой,
не огнём окатил – чернотой.

Я для них подходящая снедь.
Мне бы сдаться тогда, почернеть.
Не сумеет уже ни черта
черноте чернотой чернота.

Но без неба,
без неба во мне,
будто в бездне, на дне.

* * *

Саше Рубану

Хитрюга-ложь –
служанка ада.
Её объятия мягки.

Гляди-ка –
хлещутся две правды,
врубая в зубы кулаки!

ПРАВДА

А часто ль
весёлою правда бывает?
А ей просто так нахамили в трамвае,
её «прессанули» нелепой «жировкой»
и в универсаме назвали воровкой.
Её обмануть не считают за труд.
Её – чуть чего –
в порошок изотрут.

Дурак, изумлённо разинувший рот,
пылиночку правды
случайно вдохнёт.

НЕВЪЕЗДНОЙ

Только в этой стране –
ни к чему ордена и короны.
А за совесть и честь
до сих пор не придумано кар.
Там и Ленин, измученный славой,
давно похоронен.
А Высоцкий и Леннон
идут на «КАМАЗе» в Дакар.

Там для Мерилин
юный Шекспир эсэмэсит сонеты.
И у Саши
враги не кружат за спиной.
В этой чудной стране,
где живут дураки да поэты.
И в которую я –
за нормальность мою –
не въездной.

ЗДРАВСТВУЙ

И над лучшей строчкой
так не радуюсь я:
здравствуй, дочкина дочка!
Здравствуй, внучка моя.

В час, когда твоя мама
выбывалась из сил,
я Того, Кто над нами,
лишь об этом просил.

Вот и здравствуй, малышка.
Не судьёй, не судьбой –
постаревшим мальчишкой
я склонюсь над тобой.

Ты – иная эпоха,
без вражды и вранья,
долгожданная кроха
и надежда моя.

* * *

Скоро встанет река, а пока
по воде уплывает шуга
и, одеты в снега, берега
смотрят вслед.

И крутило меня, и несло.
Пополам – не везло и везло.
Я гляжу в эту воду не зло –
воду лет.

Над землёю кружит вороньё,
по земле – и ворьё, и враньё.
Но возвысились храмы её
на крови.

Скоро встанет река, а пока
я о жизнь обдираю бока
и горит в моём горле строка
о любви.

* * *

В небе дым и в поле ветер –
вот и всё наперечёт –
жил да был на белом свете
краснобай и рифмоплёт.

Долго по миру шатался,
даже стал совсем седым,
но, как был, так и остался –
в поле ветер – в небе дым.

И, пока носили ноги,
знал его весь белый свет.
Так и умер – на дороге –
голодранец и поэт.

Плакал дождь светло и кротко.
Сиротою ветер выл.
Три страны срывали глотки,
выясняя, чей он был...

ДЕЛО В ТОМ

*Памяти поэта
Владимира Бельчикова*

И дело не в том,
что прилюдно отпели поэта.
И в гроб уложили,
и руки сложили крестом.

А в том, что стихи
разлететься успели по свету.
и даже кнутом
не загнать их в увесистый том.

И дело не в том,
что могила любого догонит.
И даже не в том,
чтоб до встречи дожить, не юля.
Я горстку земли из могилы
согрел на ладони.
И пахла весной,
на ладони оттаяв, земля.

* * *

*Я прожил жизнь,
частично пропил,
наполовину проморгал...*

Олег Афанасьев

А он своих стихов почти не правил,
привычных не придерживался правил,
он знаки препинания пинал,
а главное – заглавных букв не знал!

Он просто был поэтом.
Но за это
эпоха не признала в нём поэта.
А он, не зная этой чепухи,
вдыхал эпоху. Выдыхал стихи.

Потом ушёл. На середине вдоха.
Но и тогда не вздрогнула эпоха.

КОМПЬЮТЕРНОЕ

Пройдёт совсем немного лет.
Мой ник отметив на экране,
Господь скамандует: «Delete».
Меня не станет.

Провалы тьмы и зубья скал
покажет весело забвеньё,
не вздрогнув даже на мгновенье,
когда врублюсь в его оскал.

И не вздохнёт Господь легко,
и не уронит Он слезину,
но всё же папка «Шелудько»
не вся отправится в корзину.

Он тихо молвит: «Поживи...»,
не указав лимит отсрочки,
строке заветной о любви,
о Родине заветной строчке.

* * *

Есть тема вечная одна:
между безлюбьем и любовью –
она и он,
он и она,
и я, и ты,
и мы с тобою –
всегда поющая струна.

* * *

Создавший Свет, создавший Тьму,
любовь оставил посредине.
Меж тьмой и светом и поныне
она живёт.
А потому
к любви пришедшие из тьмы,
к любви пришедшие из света
равновелики в мире этом,
несхожие такие, мы.

И потому же,
вновь и вновь,
за власть воюя меж собою,
кромешный Свет
с кромешной Тьмою
лбы разбивают – о любовь.

* * *

Горевал он, глядя на портретик:
«Полюбил – себе же на беду.
Для неё я буду вечно третьим,
третьим – в восемнадцатом ряду».

А потом,
в кулак зажавший нервы,
приезжал, тихоня и простак.
Для неё он стал однажды первым.
А потом – единственным.
Вот так.

* * *

Маме

С чесночком, листом лавровым
я солю сегодня сальце.
Как солили ты и батя
в доме детства моего.
Сорок лет назад у бати
точно так же пахли пальцы
чесночком.

И что-то в горле,
сам не знаю, отчего...

МИНУС СОРОК

Не романтика, а проза –
рваный холодом металл.
Сорок градусов мороза
даже он терпеть устал.

Я приду сегодня поздно,
но увижу всё равно –
маяком в ночи морозной
наше светится окно.

На стекле рисуют розы,
снежно-белые кусты
минус сорок. Это проза.
Остальное – это ты.

* * *

Без кличей клятвенных
и стонов жертвенных,
слегка подкрашены,
чуть-чуть божественны,
идут любимые путями нашими.
За что-то любят нас.
За что – не спрашивай.

Глядите, главные,
смотрите, сильные –
идут любимые –
ресницы в инее,
улыбки ветрены,
морщинки спрятаны.
Ни стонов жертвенных,
ни кличей клятвенных.

ЛЮБОВЬ

Наташе

Опять буран летит напропалую,
фонарь бессильно пялится во тьму.
Я все твои печали поцелую,
я все твои обиды обниму.

Мы вместе заварили эту кашу
и выкинули битые горшки.
Я щёточкой старательно закрасшу
твоих волос седые корешки.

– На сколько лет она тебя моложе?! –
я снова буду слышать там и тут.
И если это не любовь, то что же
тогда любовью на земле зовут?

Стучит в окно, царапает по крыше
буран, устав по городу кружить.
И молча я прошу Того, Кто выше,
чтоб мне любви моей не пережить.

Наворожит зима погоду злую,
затеют люди злую кутерьму –
я все твои печали поцелую.
Я все твои обиды обниму.

* * *

*Даль стремится к дали.
Тьма стремится к тьме.*

Михаил Зайцев

Слыша не советы,
веря не уму,
тьма стремится к свету,
свет летит во тьму,
бредя сладкой болью:
в ней – на всё ответ!

Бог назвал любовью
этот свой сюжет.

В глубине сюжета –
суть его и ось:
как у тьмы и света
утро родилось.

НА ОБРЫВЕ

Жаль, что в детстве не выпал мне случай
на обрыве на самый карниз
сесть и, ноги босые над кручей
свесив, камешки сбрасывать вниз.

Чтобы ласточка вровень летала,
вровень воздух пронзали стрижи,
чтобы ниже меня хлопотала,
суетилась и ползала жизнь.

Не нашлось высоты во мне, каюсь.
Моя жизнь протекает внизу.
И по ней я иду. Спотыкаюсь.
Хлопочу. Хорошо – не ползу.

Я ещё доверяюсь порывам,
я ещё романтичен слегка,
а какой-то пацан, над обрывом
свесив ноги, глядит свысока.

Надо мной он, похоже, смеётся
и не знает, роняя смешки, –
когда эта строка оборвётся,
сяду я на обрыве строки,

свесив ноги...

НЕПАЛ

Во взлёте всяком есть паденья ген,
до времени взлетевшему покорный.
Всё пало: Троя, Спарта, Карфаген,
один Непал не пал высокогорный.

Не знаю, как сумел он и не пал.
Он к тайне этой лишних не пускает.
Но мне заочно нравится Непал
за то, что ухо русское ласкает.

Любой горе своя присуща стать,
в сединах льдов могучие каменя.
Горой по блату невозможно стать,
высокогорье – не высокомерье.

Один сосед собрался на Пхукет,
другому снится Ялта, третий в Сочи.
Я сдам бутылки и куплю билет.
Хочу в Непал. Мне падать нету мочи.

* * *

Если там, в краях незримых,
и простятся мне грехи –
за любовь людей любимых,
а совсем не за стихи.

Сергей
КУКЛИН

Рассказы



Сергей Александрович КУКЛИН

Сергей Александрович Куклин родился в Томске в 1959 году. После окончания школы работал на ГПЗ-5, служил срочную службу в Советской Армии, учился в Томском политехническом институте. В 1985-м получил диплом инженера-геолога, и всю последующую жизнь топтал сибирскую тайгу, болота, тундру и Алтайские горы в поисках полезных ископаемых.

Выпали из этих весёлых маршрутов 90-е годы, когда по причине наступивших смутных времён был вынужден зарабатывать на хлеб насущный на стройках Томской области и ближайших окрестностей. В начале XXI века повезло вернуться в родимую геологию, последние 15 лет занимается нефтеразведкой. Писал всегда и где придётся, но лишь в 2007 году творчество оценили и стали печатать. Сначала в томских изданиях («Начало века», «Каменный мост»), затем были изданы две книги: «Там реки вместо улиц» и «Время собирать камни». Два рассказа напечатаны в журнале «Сибирские огни». В 2011 году Сергей Куклин принят в Союз российских писателей.

БЫТОВКА

1

Здание аэропорта встретило прохладой. Приятное событие для Юры, навьюченного семейной поклажей и шагнувшего в гигантский портал из уличной жары и духоты. Растерянно оглядывался, выбирая место, куда бы приземлиться, пока выяснится, какие действия нужно предпринять, чтобы отсюда улететь. Увидел, как жена Татьяна, держа за руку семилетнего сына Славика, даёт ему отмашку. Она нашла свободные сиденья в помещении, напоминающем кинозал, только впереди вместо экрана светилось табло расписания вылетов и прилётов. Дошёл до указанного места, опустил на пол сумки, снял рюкзак и уселся на него, утирая пот, затекающий в глаза.

Приехали в Шереметьево с огромным запасом времени. Рейс до Сизтла будет через шесть часов, пристроиться в Москве негде и поэтому, прилетев из Барнаула в Домодедово, решили ехать прямо сюда. Славик кушать попросил, и Татьяна повела его в буфет. Юра, упав в полукресло, возложил ноги на рюкзак и едва не задремал под равномерный гул терминала. Незванный, объявился в памяти другой зал для отъезжающих, в далёком сибирском городе, пятнадцатилетней давности. В те зелёные годы он с друзьями рвался совсем в другую сторону: в Туруханских краях проложить тропы к залежам нефти.

Зал ожидания вокзала является редкостным местом среди прочих сооружений человеческих: успокаивающим и волнующим одновременно, в зависимости от намерений и состояния пассажира в сей момент. Если путник попал в дорожную передрыгу: завис без денег и билета, опоздал на поезд, потерял свои вещи или всё случилось сразу, ему нужно только войти в этот зал. Он оглядит безумным взглядом дремлющих, жующих, читающих людей, услышит громкоговорящий всезнающий голос, и в душе появится надежда, а в мыслях оформится уверенность, что теперь не пропадёт без вести, как в разбомбленном окопе или как заблудившийся в болоте, потому что рядом с ним такая уйма людская, и правильный выход непременно найдётся.

Если человек давно не покидал городских пределов и только намеревается отправиться в путь, войдя в мерно гомонящую палату, он почувствует приятное возбуждение оттого, что здесь последняя точка покоя, что скоро начнётся его движение по неоглядным просторам, где ждут его неведомые доселе ощущения.

Вопреки вышесказанному трёх друзей, зависших над своими рюкзаками, лежащими в углу помещения, терзали совсем другие

мысли. Это было беспокойство по поводу того, как же им сесть в поезд со своим четвёртым другом, который человеком вовсе не был. Он был рослым чёрным псом по имени Туман, породы сибирских лаек. В Новокузнецк они прибыли автобусом из Междуреченска и по причине юношеской самоуверенности и разгильдяйства заранее об этом не подумали. Опытный пассажир с болонкой объяснил им, что они могут взять с собой в вагон собаку, если есть документ, что она цирковая, или справка от ветеринара, и при наличии намордника в обоих случаях. Его болонка была со справкой и в наморднике. У Тумана ничего не было.

Миша говорил о том, что в оставшееся у них время нужно найти ветеринара и купить кожаный предмет. Андрей предлагал договориться с проводницей. Юра, хозяин и первый друг Тумана, почесал свою макушку, погладил пса между ушами и, взявши его за поводок, пошёл к кассе. Там было безлюдно, и он торжественно обратился к кассирше.

— Сударыня! Будьте любезны, на поезд номер 68, в общий вагон, до Красноярска. Один билет собачий и три человеческих.

Она остолбенело глянула на его невозмутимое лицо и наконец нашла слова:

— Сударь, собачьих билетов не продаём. Вы можете везти цирковую собаку с соответствующим свидетельством, либо обычную при наличии ветеринарной справки и намордника.

Юра засуетился: — Он у меня лучше цирковой и понятливее многих людей, вы только гляньте, какой умница. Туман, лежать! Смотрите — лежит.

Женщина произвольно подтянулась к окошку и выглянула наружу. Посредине зала лежал чёрный красавец с белой грудью и гордо смотрел на неё.

Юра продолжал: — Туман, голос!

Высокие своды отозвались эхом солидного лая.

— Вот видите, какой он умный и здоровый!

Кассирша с трудом преодолела растерянность. — Молодой человек, я вам всё сказала. Не мешайте работать. Следующий!

Юра не отступал. — Тогда просто три человеческих билета на поезд 68, до Красноярска, в общий вагон. Вот деньги.

Получив билеты и обсудив ситуацию, друзья решили договориться с проводницей. Решающим аргументом, конечно, будет их неотразимое мужское обаяние. Заботы и сомнения оказались пустыми. Молоденькая хозяйка вагона посмотрела их билеты и, улыбувшись заметила:

— Пёс у вас серьёзный и пригожий. Как его зовут?

Андрей закрепил успех: — Туманом его величают, а хозяина, вот он, кстати, Юркой кличут. Он тоже неплохо выглядит, только в осно-

вательности не дотягивает до своего кобеля. Легкомысленный он у нас. Вот Миша, он посolidнее будет, а я Андрей, гарантирую дисциплину во время следования по маршруту МПС, а также необходимую помощь с моей стороны по наведению порядка в помещении.

Проводница уже смеялась, кокетливо заправив за ушко прядку волос, выбившуюся из-под беретки: — Весёлые вы, однако, ребята, давайте занимайте места, через пять минут отправление.

Так, похохатывая, воодушевлённые внезапной удачей, окунулись в казарменный дух вагона и добрались до своих деревянных полок. Тумана устроили под столом. Андрей сказал: «Поехали» и взмахнул рукой. Общий вагон отличался от плацкартного и купейного отсутствием откидывающихся верхних полок и распределением пассажирских мест по четыре места на каждую нижнюю широкую скамейку.

При полной загруженности вагона спать можно только сидя, либо не спать вовсе, посвящая ночь разным увлекательным, приятным занятиям в соответствии с душевными наклонностями и умственным уровнем своим и ближайших спутников. Карточные игры, вопреки сложившимся мифам, никогда не были на вершине популярности. Значительная часть пассажиров открывает книги и журналы, подтверждая мнение о самом читающем народе на планете. Остальные общаются. На обсуждение выносятся любая тема: выращивание помидоров в приполярных условиях вечной мерзлоты, проблема перевоспитания граждан с уголовными наклонностями в системе ИТК, можно ли доверять западным политикам, а конкретно Рейгану, при подписании в Рейкьявике договора об ограничении стратегических вооружений.

Если ночные собеседники сочтут необходимым объявить о своих алкогольных припасах, с последующим разливом в подходящую тару, то запросто можно потом услышать секретную историю, рассказанную доверительным полужёпотом, о том, как один из них сбивал американские «Б-52» в небе над братским Ханоем ракетами комплекса «С-130». Другой поведаёт героическую эпопею проходки Северо-Муйского тоннеля на восточном участке БАМа силами своей бригады в рекордные сроки и с минимальными людскими потерями.

Ребята не имели заботы, чем занять в дороге свои мозги, но была одна общая потребность — отоспаться после бессонной ночи, проведённой в компании дерзких междуреченских девчонок. Раскатали спальные мешки на багажных полках, где их точно никто не потревожит, и скоро засопели под потолком. Дремал и Туман, положив тяжёлую голову на лапы, чутко приоткрывая глаза, когда чужие появлялись в проходе. Это люди могут безответственно дрыхнуть, когда им вздумается. Ему сейчас нужно охранять их покой и рюкзаки, кучей сваленные под окном.

Ехали общим вагоном по скудности средств, а их надобно экономить: впереди был ещё путь до Туруханска, а туда от Красноярска только самолётом можно долететь. Либо теплоходом по Енисею. Это много дешевле, но долго. Мелькнул в памяти ещё эпизод, как ловко отделались от контролёров, предупреждённые смешливой проводницей.

Юра тогда сбегал в плацкартный вагон, где ехал уже знакомый товарищ с болонкой, и выпросил у него намордник на несколько минут. Туману эта непривычная, противная вещь налезла только на нос. Он недоуменно посмотрел на хозяина, попытался содрать этукую неприятность лапой, но получив строгое внушение, смирился. Появились контролёры, проверили человечьи билеты, заметив собаку, потребовали предъявить намордник. Туман лежал под столом, обиженно свернувшись клубком. На Юрин призыв поднял морду, с торчащей на носу пипеткой, словно клоунским предметом. В глазах оскорблённое достоинство, даже брови мученически сведены вместе над переносицей. Ребята смех с трудом сдерживали, контролёры хохотали от души. Хорошими людьми оказались. Посмеялись и ушли, так и не спросив собачьей справки. Даже выдающиеся умственные способности пса не понадобилось демонстрировать.

2

Все эти картины резво промелькнули в голове и исчезли, потому что услышал строгий Танин голос.

— Юрий, ты спишь, что ли?!

Открыл глаза и увидел маячивший перед лицом огромный пирог в бумажном пакете.

— Какой тут сон, я же вещи стерегу. Так, на миг глаза прикрыл.

— Тогда ладно, вот тебе хот-дог, привыкай к американской пище.

Они летели в Америку не на экскурсию, даже не в гости, а с намерением построить там свою дальнейшую жизнь. Юра, последние восемь лет отлучённый государством от своего геологоразведочного дела, месил бетон на стройках и ждал, что правители одумаются и признают, что поиск полезных ископаемых стране нужен. Не дождался. Тут Татьянин брат объявился в Штатах. Собственно, он нигде не пропал, просто вести от него редко прилетали. Последние три года, получив гражданство и укрепившись, стал активно писать письма сестре, в которых вещал о сказочных преимуществах своей новой жизни. На осторожный вопрос Татьяны, а нельзя ли ей тоже попробовать, ответил шквалом корреспонденции, всё настойчивее объясняя, что другого пути для её семьи просто нет.

Женщина, видя прохладное отношение своего мужа к такой идее, предприняла широкомасштабный комплекс обработки его мозга, и вот они сидят перед терминалом F и ожидают объявления

о прохождении паспортного и специального контроля. «Юра, Юра, что ищешь ты в стране далёкой, что кинул ты в краю родном?» Почти лермонтовская фраза долбила в голове. В Новоалтайске он продал дом и «жигулёнок», чтобы хватило денег на дорогу. Так вот сейчас всплывают образы прошлого. Но ведь он не кидал никого, это просто воспоминания о путях-дорогах давно пройденных, о людях, которых он никогда не увидит, даже если не улетит сейчас за океан.

Зачем они маячат сейчас, мешают в настоящем получать скромное утешение от поедания пирога, состряпанного по американскому рецепту? За едой ему вспомнилось продолжение той дорожной эпопеи 87 года на пароходе «Академик Азизян», несущем их вниз по Енисею. Вспомнил, наверное, от обратного, потому что голодное плавание получилось. Даже застыл с надкушенным пирогом, забыв, что надо жевать. А пароход красавец был: трёхпалубный, колёсный, построенный явно до войны. Жена озабоченно дотронулась до плеча: — Юра, что случилось? Несъедобное попалось?

Он потряс головой и сглотнул. Всё нормально. Тогда они тоже приятно пообедали в салоне-ресторане, откушав стерляжьей ухи, поманившей водочки заказать. Потом салат появился с неизвестной речной рыбой и ещё графин. Ещё что-то ели и пили, но этого он не помнил. Итогом барского гурманства стало отсутствие денег на пропитание в оставшиеся двое суток до Туруханска. Вообще весь путь занимал три дня и три ночи, но первые сутки не в счёт. Валялись на шконках в каюте, изводимые похмельной тошнотой, и было не до еды. Туман лежал на полу и терпеливо поглядывал на спутников в ожидании, когда же его накормят. Радостно вскакивал, когда кто-нибудь поднимался, но это была обманка. Товарищ цеплял поводок и вёл его по сходням на землю. Просто на очередной пристани выводили «до ветру», хотя особой нужды у пса и не было. Пожрать бы оно в самый раз, а без этих выгулов мог пока обойтись.

Человечья голодуха началась на второй день плавания, когда организмы, оправившись от алкогольного отравления, потребовали пищи. Лёжа слушали утешительные рассказы Миши, отслужившего на флоте. Он поведал, как трое суток не мог есть, когда впервые попал в штормовую качку на своём крейсере где-то между Японией и Гавайями.

Андрей раздражённо заметил:

— Ты не мог тогда есть, но мы-то можем, да нечего.

Встал, натянул полевую куртку с капюшоном и вышел вон. Вернулся через полчаса со странно оттопыренными боковыми карманами, осторожно передвигаясь, словно он сам сосуд из тонкого, хрупкого стекла. Вытащил из кармана куриное яйцо и вложил в

непроизвольно протянутую Мишину ладонь с торжественным словом:

— Это тебе, отважный моряк, от нас, простых речников.

Следующее яйцо досталось Юре. Остальные восемь штук бережно разместил на своём матрасе. На прогулке голодный инстинкт заставил его заглянуть под брезент, прикрывающий штабель ящиков на верхней палубе. Попутный груз, который иногда берут на пассажирский транспорт. В ящиках оказались яйца в картонных ячейках. Моросил дождик, людей близко не было, он отодрал планку и деликатными движениями сложил еду в карманы, сколько сумел. Совесть комсомольца даже не ущипнула. Яйца разболтали в кружках и выпили. Лица товарищей стали умнее и симпатичнее. Ядовито-зелёный цвет стен каюты превратился в приятный глазу салатový. Пока не кончился дождь, всей командой прогулялись до проведанного места и, вернувшись, сделали Туману в железной миске яичную болтушку. Он понюхал, лизнул и не отрываясь всё вылакал, словно привычную похлёбку.

В полдень судно вышло из дождевой полосы, и солнце сияло без тучевых помех. На верхней палубе, под чистым небом, происходили народные гуляния. Некоторые пассажиры молчаливо наблюдали неспешно меняющиеся пейзажи, другие вели меж собой приватные беседы, начатые в каютах, не собираясь вовлекать в этот интимный жанр лиц посторонних. Дети малые под присмотром маменек вели себя смирно, не бузили.

Добродушное внимание публики обращала на себя компания из трёх загулявших бабушек и дедушки с гармошкой. Он, собственно, уже отгулял, однако ещё пытался сыграть что-нибудь душевно-веселящее, но после нескольких аккордов ронял голову на грудь, показывая всей округе форму и размер своей лысины в венце седых волос. Компания сидела на двух скамейках, вплотную пододвинутых к единственному столику на палубе, накрытому с домашней простотой и щедростью. Жёлтые, блестящие от масла клубни варёной картошки, солидные куски варёного мяса, острые стерляжки спины, прошедшие местные коптильни, и вино неизвестного происхождения в трёхлитровой банке. Совсем угасшего деда заботливые подруги освободили от гармонии и пристроили на временное лежбище — пустовавшую скамейку. Выпили снова, и души их не удержались в стойле, запели без музыки, видимо, свою любимую:

Ночь светла, над рекой

Тихо светит луна

И блестит серебром

Голубая волна.

Юра, с детства овладевший гармошкой под руководством своего деда, тоже не смог остаться на безразличной обочине и, взявши

скачающий инструмент, осторожно стал подыгрывать. Голоса окрепли, глаза засияли, и заключительные слова песни с наказом нежному другу «на чужой стороне вспоминать обо мне», прозвучали с вплетённым мужским голосом, раскатисто и уверенно, как и положено маленькому хору. Новому гармонисту тут же была предложена кружка с вином и обильная закуска.

Женщины, впрочем, вовсе не были старушками, едва миновав мифическую возрастную грань, утешительно именуемую в народе «45 — баба ягодка опять», но для 25-летнего возраста наших путников они явно тянули на столь серьёзное определение. Одна из них, представившаяся Ниной Павловной, оглядев своё лицо в карманном зеркальце и оставшись довольной, обратилась к новому музыканту:

— Кто ты, добрый молодец, и куда путь держишь?

Проглотив чего успел прожевать, чинно ответил:

— Юра меня зовут. Мы в Туруханск добираемся, работать в нефтеразведочной экспедиции, — он протянул ладонь, указывая на своих товарищей, — а это Андрей и Миша, они тоже шибко охочи песни петь в приличной компании, если, конечно, пригласят.

Приглашение состоялось, и скоро мощный хор сделал невозможными мирные беседы близко гуляющих пассажиров. Зато из недр парохода донёсся собачий вой. Туман, услышав, как хорошо его друзьям, напоминал о себе — голодном и запертом в каюте. Юра слетал вниз, и вот уже забытый, обиженный друг сидел в общем кругу со строгой выправкой, не докучая, ждал, когда и ему что-то перепадёт. Ему, конечно, перепадало. «Странные существа эти люди. Перед ними жратва, а они вместо поедания хором издают какие-то протяжные звуки и смеются». Так он оценивал поведение своих спутников.

Когда всё было съедено, дамы выскочили на очередной пристани, накупили всякой снеди, вынесенной местными тётками к прибытию парохода, и повторно накрыли стол перед своими прожорливыми кавалерами-песенниками. Безусловно, они почувствовали себя «ягодками опять», волнующими умы и плоть молодых геологов. Вообще-то, их волновала только еда, заглываемая уже впрок. До Туруханска потом сутки плыть без песен и мяса. Возможно, и ящички с яйцами скоро где-нибудь выгрузят.

Добрые веселухи плыли до села Верхнеимбатск. Впервые в жизни им выдался случай по профсоюзным путёвкам, втроём, сугубо дамским обществом, выбраться из родного леспромхоза и провести три недели в праздничном безделье на солёном хакасском озере Шира, в доме отдыха. Теперь, подплывая к своим домам, семьям и огородам, они чувствовали некоторую незавершённость отдыха, случившегося на их сероватом жизненном пути.

Навстречу пароходу свежий речной ветер гнал лето. За новыми

поворотами Енисея людям открывались иные и одновременно похожие берега. На высоких синих скалах их встречали угрюмые пожилые ели, а на пологих песчаных отмелях легкомысленные стайки тальника и молодых берёз, не ведающих, что долгой жизни им не видать, а вот смыва в очередное нешуточное половодье не миновать. Человеческие зрачки наблюдали природу без умиления и восторгов, как свою обычную среду, в которой им довелось родиться и прожить. Словно в собственном огороде человек забрёл в дальний угол, в котором редко бывал, и сдержанно подивился: «Вона, как здесь, оказывается, пригоже».

Юра и сейчас, перед полётом на чужие берега, был далёк от слюнявого, терзающего грудь сожаления по поводу оставляемых таёжных закатов брусничного цвета. Там другие закаты будут, куда им деваться. Только ощущение противоестественности его шага не отпускало. Да, конечно, семья, одно целое. В нынешней родной стране невозможно жить с достоинством и самоуважением. Народ на карачках ползает за прилавками, установленными в бывших цехах, где раньше станки стояли. Но всё же... Друзья и тётки, горланившие за тем столом на енисейском пароходе, сейчас, здесь, много дороже и ближе всей разумной и благодатной Америки. Шальная думка появилась: «Откажусь от полёта. Пусть Таня со Славиком летят, устраиваются, а я потом буду их навещать, а они меня. Сейчас скажу». Ожелезнённый голос прервал мысль, словно подзатыльником. Среди звенящего потока слов он различил слово «Сиэтл» и понял, что команда относится к нему. Пора двигаться на паспортный и таможенный контроль, а затем в «отстойник».

Одним из решающих словесных доводов Татьяны в пользу необходимости переменить сибирскую жизнь на американскую, стала фраза: «Третье тысячелетие началось, а ты всё живёшь и мыслишь как твои деды-шахтёры. Штреки, штольни рубить, угольную пыль глотать, а в выходной на берегу Томи или Усы скатёрку расстелить да водки выпить, да про свои подземные подвиги потреться».

Он тогда возражал:

— Таня, я геолог, какие штреки. Я в шахту ни разу в жизни не спускался.

Её резон был несокрушим, словно бур с алмазной коронкой.

— Ты в забое не был, а мозги тебе по наследству забитые достались. Генетика. Одно знаешь: «Где родился, там и сгодился». Чтобы лень свою прикрыть. А то, что люди в других местах на планете неплохо устраиваются, тебе в твоём институте, конечно, не сказали.

Молчаливым житейским аргументом стало отлучение его от супружеской постели. Он ещё пытался Тане объяснить, что языком не обучен, что наверняка не нужен там будет со своими профессиями геолога и бетонщика. Женщина, словно врубовая машина, медлен-

но и неостановимо перерабатывала пласт его сознания. Когда он согласился на переезд, санкции были сняты, но если в муторный период беготни с бумагами Юра начинал задумчиво почёсывать свою молодую лысину и высказывать сомнения, они немедленно возобновлялись. Сей момент, продуктом, готовым к употреблению, он сидел в «санитарной зоне» и объяснял Славику, почему летают самолёты. Рядом Татьяна изучала русско-английский разговорник, шепча запомнившиеся фразы.

Некоторых пассажиров, воодушевлённых наличием «дьюти фри» как первого материального подтвёрждения существования США, охватило игривое возбуждение. Мужик в замшевой куртке, с бантиком из шнурка под воротником белой рубашки и в ковбойской шляпе, лихо сдвинутой на затылок, пропустив пару бокалов виски у стойки бара, взял целую бутылку и присел рядом с Юрой. Не спрашивая согласия, налил и протянул ему полстакана.

— Help yourself, my friend!*

На что получил равнозначный ответ:

— No, thank you. I,m sorry, I can, t help you.**

Проблему своего языкознания Юра явно преувеличивал перед Татьяной. Далее сам спросил по-русски:

— Ты американец, что ли?

Мужик залоснился от удовольствия. — Пока нет, но скоро стану. А виски вернейшее средство для комфортного полёта в 16 часов. Как хочешь. Я права человека уважаю. Толерантность всегда обеспечит консенсус, — выпил налитое виски сам по-молодецки расправив плечи, пошёл по залу, высматривая лица с перспективным имиджем.

Юра с напрягом подумал о нерешённой проблеме: Славику осе-нью нужно идти в первый класс. В ихних школах русские классы существуют, что ли? Или мальчик за оставшиеся три месяца чужой язык освоит наравне с родным? Сейчас Таня с раскрытым разговорником склонилась над сыном, и они вместе что-то многократно повторяют. Процесс пошёл. Юра иногда восхищается целеустремлённостью жены, готовой долбить в глухую стену кулачком с зажатой отвёрткой, пока целый лаз не проделает. Для этого цель достойную нужно иметь. У него нынче нет такой цели. Нынче он в роли ведомого идёт за ней, потому что сам маршрута не знает.

3

Предполётное высиживание привело к вылуплению из яйца памяти диковинного цыплёнка. На сей раз объявился конец полевого сезона всё того же молодого лета 87 года. Гравийный берег нево-

* Угощайтесь, мой друг!

** Нет, спасибо. Жаль, что не могу вам помочь (англ.).

змутимой таёжной реки Вельмо на небольшом участке, заставленный ожидающими полёта ящиками с керном и бутылками с водой. Работа была сделана, сигнал о готовности вылетать передан по радиации диспетчеру аэропорта Бор. Потом неделю шли дожди, в поймах рек гуляли непроглядные туманы, переходящие в низкие облака. Может быть, низкие облака переходили в плотные туманы. Просто: нелётная погода была объявлена даже для неприхотливых тружеников «Ми-8». Буровая лежала в разобранном состоянии, шмотки рассованы по мешкам и рюкзакам. В свободном хождении оставались лишь самые необходимые предметы: кухонная утварь, несколько удочек да истрёпанные книжки. В любой момент народ мог свернуть палатки и загрузиться в вертолёт. Только момент этот не желал объявляться из безнадёжной серой дали, закрытой моросью.

Пришло утро, когда Юра не услышал привычного унылого стука в потолок палатки. В праздничном предчувствии соскочил с раскладушки, выглянул на свет и едва не заплясал от радости. За рекой отчётливо просматривались деревья вплоть до отдельных веток. Голубое небо позволяло видеть далёкие сопки. Предчувствие не оказалось пустым: к полудню послышался долгожданный стрёкот, вскоре над ними завис вертолёт и, недолго помаячив, уселся на выбранную удобную точку. По спущенному трапику на землю чинно сошли три небесных человека в синих форменных фуражках. Первое, что они сделали, это пошли вокруг штабелей, предназначенных для погрузки.

Лётчики всё видят, лётчики всё знают, что можно, что нужно, они всюду достанут нуждающегося. Сейчас искупаются в таёжной речке, а вечером в собственной ванне с шампунем. Тихо говорили меж собой, озабоченно качали головами, оглядывая гору клади, закрытую брезентом, когда к ним подошёл, солидно оглаживая молодую чёрную бороду, начальник партии Вадим. Познакомились, и для него старший лётчик со смуглым лицом и крючковатым носом джигита высказал свои сомнения:

— Явный перегруз. Зараз всё не возьмём, придётся два рейса делать. Так что думай, что сейчас грузить, а что в другой раз.

Слышащие оцепенели. Этот самый «другой раз» может состояться через неделю, если сегодня опять зальёт, затуманит. Вадим увёл летунов в свою командирскую палатку для ответственной беседы. Скоро оттуда раздался возбуждённый разговор и бряцание кружек. Стало понятным, что он открыл спиртовой НЗ. Когда договаривающиеся стороны вышли на берег, старший лётчик, оглядев молодецким взглядом штабеля груза, распорядился:

— Грузите всё. Зараз увезём.

На Мишу и Андрюшу накатила совокупный приступ благоразумия. Они начали вдруг делиться сомнениями насчёт слегка выпимших

вертолётчиков, но их никто не слушал, все дружно таскали полевой скарб, ставший багажом. Им помогал концерт лёгкой оркестровой музыки радиостанции «Маяк». Последние батарейки к приёмнику ВЭФ ещё работали. Андрей махнул рукой, Миша выпустил струю беломорного дыма в небо, и они полезли внутрь машины — раскладывать буровое железо.

Загзузились под потолок, туда же и сами улеглись. Послышался строгий голос из кабины:

— Проверьте, все ли на месте, будем закрываться.

Юра с похолодевшим сердцем обнаружил, что за суетой забыли Тумана. Выполз через раскрытые задние створки и заорал диким голосом, призывая друга. Охотник выскочил из прибрежных зарослей с окровавленной мордой. Не дали напоследок какую-то добычку дожевать. Хозяйские руки подняли пса повыше, кто-то сверху ухватил за лапы, за загривок и с хохотом втянули наверх, в общее лежбище. Так же затащили и Юру. Вадим, кое-как справившись со смехом, крикнул:

— Ильич, все в сборе, закрывай, заводи моторы!

Вертолёт взлетел с разбега по ровному берегу, и когда Юра, извернувшись змеей, смог выглянуть в блюстер, увидел горную тайгу, изрезанную речками и ручьями, уже далеко под собой. Потом, лёжа на спине, он глядел только в дрожащий потолок, пока не приземлились. Всё! Конец сезона!

Мысли от определённых памятных видений вдруг перескочили в смутное незавершённое сегодня. Юра начал осознавать, что ему не нужна возможность бесстрашного выбора, где жить дальше. Такой выбор угнетает его волю устраивать свою жизнь здесь и сейчас. Это вовсе не мужество, это разврат — лететь в обетованную Америку с надеждой на долгожданный рай, немедленно и задарма. У себя дома воздвигнуть светлое будущее не получилось, теперь добрые дяденьки вручат ему благоденствие, как гостинец пацану на новогодней ёлке. Он повернулся к жене, дотошно пересматривающей в сотый раз папку с документами.

Таня, послушай меня, не перебивай, пожалуйста. Я не лечу с вами. Не хочу. Не моё это дело — по чужим хатам болтаться, кабы подкормиться да переночевать на халяву. Твой брат вас встретит, ещё удобнее и проще без меня устройтесь.

На первых словах лицо её, застывшее в ожидании, трогательно напомнило ему девушку Танюшу в тот момент, когда он ей в любви объяснялся. Мгновение казалось долгим. Но вот она, поняв смысл услышанного, насупилась. Угрюмо оценила:

Я всегда знала, что ты дурковатый, только иногда сомневалась в степени дурковатости. Теперь без сомнений, всё точно, ты — полный идиот.

Её голос накрыло зычное объявление о посадке на рейс. Пассажиры зашевелились, потекли к открытому зеву выхода. Юра молча вытащил из общей сумки пакет со своим тряпьем. Денег не спрашивал. В кармане притаились 500 долларов — на обратную плацкартную дорогу хватит. Даже на борщ в вагоне-ресторане и десяток пирожков в привокзальном буфете. Опыт кой-какой имеется. Присел на корточки, прижал к себе Славика, и они потёрлись носами. С Таней не поцеловались. Она его не видела. Мысленно летела в «бонинге», ехала со своим братом в его машине в его город, и ещё где-то была, но не здесь, не со своим остающимся, а значит, уходящим мужем.

4

Глядя в окно электрички, несущей его до Белорусского вокзала, задумался о том, куда же сейчас поехать. Страна представлялась большой квартирой. Если двигаться прямо по коридору Транссиба, никуда не сворачивая, то окажешься во вместительном зале, именуемом Красноярском. Там живёт друг Миша, который велико обрадуется такому гостю, и вместе они придумают, куда дальше плыть. В последнем письме, год назад, он сообщал, что у них вроде собираются возродить геохимическую партию.

Если в проходной комнатухе под названием станция Тайга свернуть налево, то попадешь в уютную, знакомую со студенческих лет комнату. Это Томск, где его когда-то выучили на геолога. Вотчина друга Андрюхи, у которого нынче, оказывается, появилась диковина, доселе невиданная — мобильный телефон. С этой штуки он даже Юре звонил на домашний, и они поговорили — незадолго перед продажей квартиры. Оповестил, что в Томске они восстанавливают разгромленную в ельцынские годы нефтеразведку. Они — это геологи, которым повезло не пропить мозги, не сдохнуть от синтетического спирта и не поддаться массовому психозу, именуемому «частное предпринимательство». Звал к себе, но Юра тогда занимался распродажей имущества и оформлением документов на выезд-въезд. Решено: вначале к Андрюхе, это ближе. Хотя нет. Придётся заглянуть направо, в небольшую комнатуху, где он родился, под названием Междуреченск. Там мать сидит, горюет: куда сына с внуком чёрт понёс, в какие такие хоромы чужие? Тут он и объявится. Жаль, что сейчас ей ничего сообщить невозможно.

В вагоне объявился небольшой кругленький мужичок с гармошкой. Жестяная банка, с заморской надписью «Nescafe classic», на жгутике болтается на груди. Беззубо улыбаясь, стал нажимать на кнопки и ублажать публику «Подмосковными вечерами». Юра нашарил в кармане бумажку, оказавшуюся десятидолларовой. Других денег у него не было, в Москве нужно менять на рубли. Положил в

банку, музыкант с достоинством кивнул, и, закончив с «Вечерами», шепеляво спросил у него:

— Из каких краёв сами будете?

Юра роль понял и принял.

— Да сибирские мы будем. С обских да с енисейских краёв.

Гармонист глянул в потолок, пошевелил губами и рванул «Прощание славянки». Видно, в его умственной фонотеке это как-то увязывалось с сибирским житьём-бытьём. Плакал младенец, встревоженный энергичным маршем, и теребил платьё на материнской груди, требуя свою законную порцию молока. Мама нащёптывала ему что-то в ушко, уговаривая потерпеть немного до конца поездки. Два типа с сиреневыми щеками втихаря разливали бутылку в одноразовые стаканчики. За окнами плыли непаханные, несеяные, бурьянные поля Подмосковья.

Молодая, крутобёдрая женщина, проскользнув перед Юрой, села рядом на свободное место у окна. Глянув на него шалым взглядом, по-свойски промурлыкала:

— Жарко сегодня, а я, как дура, куртку с утра натянула.

Изящно выскользнула из цветастой курточки, быстро положила её в сумку. Извлекла оттуда соломенную шляпку, накрыла свою головку, закрутив и упрятав россыпь белых волос.

В вагон вошёл милиционер с озабоченно-служебным лицом, встал на то место, где недавно играл музыкант, и сделал своё выступление:

— Товарищи пассажиры, минуту внимания! Если кто из вас увидит, или уже видел женщину-блондинку, возраст 25-30 лет, одетую в куртку, разрисованную попугаями и цветами, просьба сообщить мне или наряду милиции, находящемуся в пятом вагоне. Я буду находиться в вагоне номер один.

Юра правильно понял, что милиционеру нужно зачем-то схватить барышню, только что севшую рядом с ним. Понятно, что её видели и сейчас видят многие товарищи пассажиры. Никто, однако, не встал с указующим перстом и не крикнул: «Вот она! Держите её!».

Милиционер ушёл. Преследуемая красotka увлечённо рассматривала за окном развалины зернотока. «Раскатавшие» бутылку типы, не вставая с мест, валтузили друг друга слабенькими кулаками, без обоюдного причинения вреда здоровью. Младенец, добившись своего, сосал мамкину титьку, накрытую вместе с его головкой полупрозрачным платочком. Кто-то ел, кто-то спал, а может, и мечтал с закрытыми глазами.

Юра сидел в своей бытовке, в окружении своих людей. Здесь не очень уютно, не всегда чисто и тепло, но не нужно заморачиваться куда приткнуться и как говорить с человеком, оказавшимся поблизости. Не все в бытовке нравятся друг другу, не все умные, порядоч-

ные, и не всяк о себе правду скажет, но это их общее место, здесь они отдыхают, чтобы дальше таскать свои носилки с бетоном. В бытовке народ без подвоха, своих не выдаёт, но гадости не терпит. Если сам выйдешь вон, никто не спросит: «Куда пошёл?», и даже убыли не заметят. Но что-то присутствует здесь, пребывающее за пределами логики и слов, несказанно отрадное для него, позволяющее оценивать своё местоположение надёжным и верным, сейчас и впредь. Пришла вдруг мысль — сходить сегодня в Третьяковку, если позволит время до отхода поезда. Нехорошо как-то получается: Ледовитый океан видел, в Байкале купался, а о Третьяковке только слышал. Люди добрые подскажут, как найти это заветное местечко, где «Алёнушка» печалится на берегу и «Витязь на распутье» задумался. А может, и не заметят его прохожие, знающие дорогу, или пошлют подале, чтобы не отвлекал от неотложных хлопот. Он обижаться не станет, всё равно дойдёт куда захотелось.

ВОЛЯ

1

Заканчивался самый нескладный день нынешней полевой зимы. Поначалу сломался «Урал», он же буровая установка, следом утонул в болоте трактор. Хотя до полудня всё шло, как следует: добурили начатую вчера скважину, добыли интересный керн. В процессе переезда на новую точку машина встала памятником на зимнике. Водитель-бурмастер Гена Кравченко ковырялся под капотом, показав уходящему в болото солнцу свою задницу. Когда подоспел идущий следом трактор с прицепленным жилым вагончиком, он выдал соратникам свой вердикт: «Форсунка накрылась, топливный насос не фурычит. Запасной у меня нет, надо в Панычево ехать и там искать».

Деревня находилась в десяти километрах от места их стояния, и добраться туда теперь было возможно только если удачно подвернётся попутка на грунтовке, а до неё совсем рукой подать, с километр по зимнику прогуляться. В Панычево находилась полевая база их разведочной партии. Там вездеходы, там рация, там запчасти, там еда. Там лица иные...

Внушительное Генкино тело тянуло на центнер с гаком, ходить по тайге ему было трудно, да он и не занимался таким суетливым делом. Сопел за рычагами буровой, важно крутил руль «Урала». Характер имел соответствующий телосложению: говорил мало, терпел неприятности до какого-то своего потаённого предела, потом исправлял ситуацию, как сам разумел и, в общем-то, получалось как следует. Прозвище за ним закрепилось соответствующее внеш-

ности и содержанию — Слоник. Люди партии твёрдо запомнили случай, когда в избе, где они жили прошлой зимой, любители раслабухи учудили пьянку по поводу созревшей браги.

Слоник, не реагируя на галдёж, лежал на нарах и читал книжку, держа её на вытянутой руке. Раскладушки под ним разваливались, поэтому он сооружал себе лежаки из досок. Когда в полночь заблажили песни, он читал. Когда выясняли, кто умней, кто главней, кто сильней и ловчей, он читал. Когда два придурка начали друг друга колошматить, он отложил книжку, встал и, тяжело вздохнув, взял обоих за шкирки, по одному в руку, вывел на улицу и засунул мордами в жёлтый от мочи сугроб. Удальцы взбрыкнули и затихли. Приволок обратно и швырнул каждого на его раскладушку. Наступила благодатная тишина. Выключил свет и лёг спать. Это впечатлило.

Точка новой скважины, намеченная геологом Андреем Земцовым, удачно совпала с выходом зимника на грунтовую дорогу, до неё оставался километр. Решили добраться туда на тракторе, чтобы иметь возможность словить попутку до Панычево. Кружили вокруг «Урала», примеряя, прикидывая: реально ли объехать его, не свалившись с зимника в незамёрзшую топь. Она, конечно, промёрзла на полметра и человека держит, но трактор явно булькнет. Коля Коровин раздухарился:

— Не бойсь, прорвёмся, щас увидите мой ювелирный вираж.

Виртуоз тракторного манёвра имел мощный, грузный торс и короткие, кривоватые ноги, словно Создатель, имея заготовки для разных людей, вдруг решил пошутковать и соединил их в одном теле.

Стояли поодаль, наблюдая, как Коровин на тракторе с прицепленным вагончиком объезжает машину. Вот он пошёл влево, причём стало заметно, что ширина вагончика не позволяет пройти мимо, не оперевшись в буровую. Вот он взял ещё левее, и одна гусеница соскользнула с бровки в болото. Трактор начал заваливаться набок, левая гусеница крутилась вхолостую, не имея опоры. Ещё немного — и он сам ляжет и вагончик за собой утянет. Коля остановил ход и в раскрытую дверцу крикнул: «Форкоп!». Выкинул из кабины кувалду, и Гена, мигом подобрав её, подскочил к сцепке и двумя остервенелыми ударами выбил соединительный палец. Коровин включил правую гусеницу, работая на разворот, и трактор, повернувшись задом к дороге, начал погружаться в торфяную жижу.

Виртуоз манёвра удачно выскочил на снег, упав на четвереньки, и, не оглядываясь, вскарабкался на дорогу. Там распрямился и, глядя на торчавшую из чёрной промоины кабину, спокойно сказал: «Это ещё ничего, мог бы и совсем уйти». Дышал тяжело, словно бегун на финише. Достал из кармана телогрейки мокрую пачку «Примы».

— Надо же, где-то черпанул карманом, сигареты испортил. Есть

у кого? — Закурил чего дали и продолжил уже возбуждённо: — Слушайте, а ласточка вроде дальше не тонет, значит здесь не глубоко, с метр всего до дна. Зараза, унты теперь чистить и сушить надо.

Никто в разговор не вступал, все переваривали событие. Спасённый вагончик стоял на дороге в трёх метрах от буровой, а в нём всё-таки печка, нары и котелок со вчерашним супом. Это хорошо. Затопили печку, разогрели похлёбку, сели тесным кругом за откидной столик. Сосредоточенное молчание прервал Сашка Шамов своими молодыми рассуждениями.

— Я всё думаю: почему у нас если что происходит, то обязательно хреновое, хоть бы одно событие зашибательским было...

Всегда добродушный, улыбчивый по природе, он хотел хоть как-то разогнать общее угнетённое настроение. Не получилось. Никто не откликнулся. Чуть позже, укладываясь на своё ночное лежбище, Гена вдруг вспомнил слова помбура.

— Ты, Сашка, говорил, что у нас только хреновые события происходят. Так вот: ты сытый, спать будешь в тепле, трактор целиком не булькнул и вообще все живы-здоровы и носы в табаке, а завтра новую форсунку достанем и машину сделаем. Не видишь ты зашибательского в жизни.

Закряхтел, укладываясь набок, чтобы дотянуться до радиоприёмника. Он, родимый, расскажет, как там остальное человечество поживает, пока они тут по болотам елозят. Темнело рано, но сегодня явилась полная луна в чистом небе и всякий, выходящий наружу по малой нужде, мог видеть в её серебряном свете красную кабину «ласточки» с утонувшим в пучине передком и удостовериться, что процесс погружения прекратился. Это даже очень хорошо.

Бурильщики возлежали на общих нарах, курили, стряхивая пепел в консервные банки, слушали из приёмника «Альпинист» речь Горбачёва о реформировании социалистической экономики в направлении рыночной модели хозяйствования. Сашка потянулся к кругляшу, чтобы найти весёлую музыку, на него забурчал Гена:

— Ручонки убери, дай дослушать. Вам всё пляски да хохоталки, а тут, однако, серьёзные дела намечаются.

За столом, бок о бок, всё ещё сидели геолог и тракторист, заканчивая ужин. Андрей, опустошив свою миску, задумчиво смотрел на печку и свисающие над ней с верёвки носки и портянки. Коровин повернул к нему тяжёлое лицо.

— Ну и чо ты, геолог, рамсы разводишь? Вытащим трактор, не впервой такое дело. Земцов, не поворачивая головы, ответил:

— Да пошёл ты на... вытаскиватель долбаный, со своим ювелирным виражом.

Тут же завалился навзничь на лежанку от бокового удара по носу. Ударил пяткой Коровина в поясницу, и тот упал на неприбранный

стол. Зазвенели на полу кружки, тарелки и другие предметы домашнего обихода. Разбрызгивая вокруг себя кровь из разбитого носа, вскочил, чтобы продолжить бой, но, увидев в руке Коровина нож, отступил назад, к печке. Тот, держа нож на отлёте, выставил перед собой левую руку.

— Прижми задницу, не дёргайся, не то будет не по мусалу, а в пузо.

Мужики, не меняя поз, смотрели на вечернее представление. Наконец подал голос Кравченко, подняв туловище до сидячего положения.

— Э, бойцы, чо, совсем одурели?! Э-э-э, Колян, ну-ка угомонись.

Колян угомонился, положив нож на нары и усевшись на него, свесил руки между колен. Андрей сорвал с верёвки серую тряпку, оказавшуюся чьим-то полотенцем, прилёг навзничь на свой спальник, приложив тряпку к носу. Он всё осознавал. В расстройстве чувств мозги заклинило, и он забыл правило: нельзя эков, пусть и бывших, посылать туда, куда он сейчас Коровина послал. Забыл, вот и получил... Инженер хренов. По радио выступление генсека закончилось, и заверещала певица про айсберг в океане. Слышал, как хлопала входная дверь, бряцала дужка ведра. Когда кровь унялась, приподнялся на локте и оглядел помещение. У его ног стоял вечно румяный Сашка Шамов и протягивал чистое вафельное полотенце. Пряча глаза, объявил:

— В ведре вода чистая и тёплая — снег натопил. Ты бы лицо умыл, что ли. Вся борода в крови, как у вампира.

Коровин лежал на своём месте, упрятавшись в спальник с головой. Андрей умылся, выйдя из вагончика, поливая сам себе из кружки. Потом, засыпая, подумал о том, как удачно не уронили керосиновую лампу в драке. Ещё мелькнула тяжкая мысль об утопленном тракторе, но додумать не стала, и он заснул. Спал, как ни странно, долго и, пробудившись, слушал необычную тишину. Ни храпа, ни сопения, ни разговоров. Серый утренний свет из оконца позволил увидеть, что в бытовке никого, кроме него, нет. Поднявшись, увидел на столе клоч бумаги. Записка: «Мы уехали в Панычево на леспромхозовской вахтовке. Пригоним трактор или вездеход, чтобы нашу ласточку вытащить. Взяли деньги из твоего планшета». Матерился вслух, для самого себя. Потом молчал, но мысль ворочалась: «Ладно, если вездеход удастся добыть, а если трактор, вы как, балбесы, втроем в кабину влезете?! На запятках кому-то придётся уместаться. Да и хрен с вами, а я чай свежий заварю». Подумалось, с усмешкой, о том, что паразиты специально утром шёпотом переговаривались и неслышно собирались, чтобы его не разбудить. Дескать, мы виноваты, мы и выправим. Значит, пешком до грунтовки подались в расчёте сесть на вахтовку. Ладно, валяйте, я ещё и керном займусь,

добытым из двух последних скважин. Там объявились очень интересные включения минералов, которые намекали на вероятное содержание железа в породе.

Затопил печку, благо дров заготовили вчера достаточно. Кожей чувствуя милую теплоту, разогрел суп и вскипятил воду на чай. Мороз в это утро щадил: без рукавиц почистил снег у вагончика, уничтожив следы товарищей, ушедших на большую дорогу, расстелил пару пустых мешков, положил сверху кусок рельса, служащий ему наковальной, и принялся осторожно дробить округлое тельце керна. Вот они — красноватые, округлые зёрна гётита, похожие на птичий помёт. Значит, чутьё не подвело. А на этом сколе серого песчаника жёлтый окрас — это точно лимонит. Оба минерала молча свидетельствуют, что люди попали своей дыркой на кору выветривания палеогеновых болотных отложений, содержащих железо. Аккуратно, поштучно, сложил кусочки гётита в тряпичный мешочек и залез в вагончик, чтобы заполнять буровой журнал и писать сопроводилки к пробам, чего вчера сделать не удосужился.

Подкинул в печку, ещё не прогоревшую, пару сырых поленьев, облитых соляжкой, налил в кружку нагретый чай и пока всё это исполнял, произвольно, вдруг, стих образовался:

Феррум, феррум, где ты был?

– Под болотом воду пил.

Я тебя определил

И в карман к себе сложил.

Очень даже миленько получилось. Когда-то девушкам стихи посвящал, а нынче горным породам. Эффект похожий: в ответ тишина. Хотя, нет, нечего прибедняться, от девушек иногда ответ был очень даже благоприятный. От породы эффект тоже может получиться весьма результативный. Для статистики не хватает образцов. Нужна сетка скважин, а он тут зависает в одиночку с распухшим носом и с замолкшей радиостанцией по причине севших батарей. Остаток дня употребил на заготовку дров. Не столь в этом была жизненная нужда, сколь потребность тела заняться делом, главным результатом которого будет здоровая усталость, и тогда грядущая ночь не накажет его мучительной бессонницей. Завалил мотопилой ближайшую подходящую берёзу, обсучковал её, распилил на чурбаки. До темноты махал топором, превращая их в поленья, и когда при свете луны прицеливался к последнему сучковатому кругляшу, за спиной услышал хриплый голос Коровина:

— Бог помощь, начальник. Ты, однако, ударник труда. Теперь дров до весны хватит.

Лезвие топора хрястнуло в берёзовую плоть, но чурбан не развалился, и пришлось поднимать его над головой, чтобы с размаху обрушить уже вниз обухом. Две половинки, как положено, упали в

утоптаный снег. Тогда обернулся. Конфузливо улыбающийся Коровин стоял перед ним с усталым и каким-то виноватым лицом. В руке выключенный фонарь, за плечами круглился полный рюкзак.

— Где мужики?

— В город уехали.

По правилам полевого поведения Земцову было положено плюнуться задом на стоящий рядом чурбак, некоторое время с выпученными глазами молча осмысливать услышанное, а потом запустить матерщинный фейерверк. Он как-то без этих красивых правил, попросту спросил:

— На чём поехали? Что за оказия?

— До Бакчара на сельсоветовском уазике, а оттуда рейсовым автобусом. Зато я новую форсунку привёз. Завтра поставлю, и всё будет нормалёк. — Потом, торопясь предупредить чего-то задержавшуюся, но непременно ругань геолога, принялся объяснять происшествие: — Мы с базы в Томск позвонили, и оттуда сказали, что у Генки мать серьёзно заболела, почти при смерти, а мы тут, кстати, два месяца возимся без пересменки, и начальство, видать, этим шибко довольно. На хрен им заботиться смену посылать — падут мужики и ладно, так оно ловчей. Да пойдём в избу, там всё по порядку обскажу.

Пока Андрей при дрожащем свете керосинки выскребал из печки золу в помойное ведро, Коля выкладывал из рюкзака на стол гостинцы от родного предприятия: мёрзлые кирпичи хлеба, жестяные банки с тушёнкой, упаковку «Примы» в 20 пачек, сахар в целлофановом мешке, батарее к рации и напоследок железную палку в промасленной тряпке. Спиртного не приволок — страна четвёртый год находилась в вынужденной, хотя довольно условной завязке, провозглашённой Горбачёвым как норма жизни, но Коле некогда было суетиться, изощряться, где-то чего-то добывать. Да так оно и спокойнее.

— Во, форсунка, новьё. Завтра утром займусь ремонтом. А после обеда Вася Короткий на ГТТ* прилетит, будем «ласточку» из болота вызволять.

Андрей и Коля четыре года ходили вместе в поле, и совместный кров, общий котелок подводили к серьёзному родству душ и мозгов, несмотря на разницу в возрасте, в жизненном опыте и в умственном багаже. Коровин прожил сорок лет, третью часть из которых просидел на зонах. Там же получил специальность тракториста, а когда, решив плотно завязывать, пошёл в геологоразведку, ему это

* ГТТ — гусеничный тягач тяжёлый. Самый мощный вездеход эпохи 60–90 годов, работавший на геологов, топографов, изыскателей. Является незаменимым — в своих последних модификациях — и по сей день.

удачно пригодилось. Земцов топтался по земле на 10 лет помнее, и его путь не был расцвечен эдакими сказочными цветами. Как-то всё проще выходило, обыденнее что ли. Без преодоления невероятных горных хребтов перед спуском в райские долины. После армии окончил институт, работает геологом. Да, между этими будничными делами женился и сына народил. Тоже довольно прозаично. Бродит, кусочки камней собирает и в мешочки складывает, а когда дома находится, так вообще всяким пустякам рад: то сын заговорил, то в квартиру новую заселился и Маше теперь не нужно кухню с соседками делить. Качается его лодочка на волнах унылого благополучия, и никаких феерических воспоминаний об удачно умятой в одиночку посылке или разрешённой свиданке со своей бабой раз в три года, аж на 12 часов. Может, после нынешней тусклой жизни его тоже впереди ожидают невероятно живописные, удалые повороты и стремнины, каковые преодолел Коровин?

Андрей сел на чурбак. — Ну как у тебя всё ловко. Дух захватывает от эдакой сноровки. А вот я занудой сейчас стану. Во-первых: ты уверен, что сможешь запчасть грамотно поставить, чтобы двигатель заработал? Специалист, язви её в душу, широкого профиля. Во-вторых: даже если всё получится и заведёшь, кто бурить будет? В третьих: Шамов какого чёрта в город подался, у него кто там заболел? Со Слоником за компанию? Поддержать огорчённого товарища в дороге?

Коля ответил обстоятельно, по всем пунктам, начав с последнего.

— Сашка, конечно, случаем воспользовался и примкнул к Слонику. На самом деле, конечно, по живой бабе соскучился, да и ревность свою надо унять. Ты же знаешь, он полгода назад женился, и только девку приохотил к сладкому лежбищу, как сам на два месяца в тайге скрылся. Не шибко, видать, уверен в надёжности своей половины. Тут-то и нагрянет неожиданно, как летний снег. Или зимний дождь, хе-хе. Ладно, не наше дело. Теперь главное: я бурил на УРБ, полгода за рычагами стоял, так что будь спок, управлюсь. Главное, гусей не гнать, потихоньку, с расстановкой, пройдем сколь надо. Тебе, правда, за помбура встать придётся, коли бурить невтерпёж. Это дело нехитрое, ты парень ушлый, справишься, на то и есть горный инженер. Я в тебя верю, — Коровин смеялся.

Оба фигуранта внешне вели себя так, словно и не было вчера у одного разбитого носа, у другого ушибленной почки. Ёрничали, как обычно, как у них устоялось в разговорной манере до позавчера, но у обоих внутри сидела какая-то затаившаяся неловкость, и каждому думалось, что она засела только в его голове, а у другого всё спокойно и безмятежно, потому, что именно он неправ больше. У Андрея

эта самая неловкость царапала мозги вдобавок потому, как ему казалось, что он недооценил надёжность Коровина, который тоже мог свалить в город, не дожидаясь смены, а он здесь. Массивную Колину голову донимала мысль, что он, как debil, размахался кулаками, будто находился в своей бывшей блатной, уголовной куче.

За вечерним чаем Коля, глядя куда-то под ноги, вдруг неуклюже пробубнил: — Это, Андрюха, ты прости меня, что ли... я не хотел. Кулак сам сработал, на автомате, — больше говорить на такие темы он не умел.

Земцов всего ожидал, но только не извинений.

— Да ладно, я тоже виноват, за базаром не следил, поделом, чего уж... Ты вот поглянь, чего я сегодня из керна наковырял.

Вытащив из нагрудного кармана энцефалитки мешочек, выложил на стол несколько красновато-коричневых катышков.

— Это гётит с глубины 180 метров. Минерал, содержащий железо. Если другие скважины подтвердят его наличие в породе, значит, мы не напрасно здесь сопли морозим и портянками воняем. Завтра машину сделаем, здесь и забуримся, прямо где стоим, так сказать, не отходя от кассы. Если ходовую не сделаем, всё равно забуримся — станок-то рабочий. Сложность в том, что вода болотная с нуля попрёт, придётся обсаживаться.

Коровин перебирал заскорузлыми, почти чёрными от мазута пальцами зёрна, разглядывая их с интересом пацана, впервые увидавшего мандаринку. Только что грызть не попробовал. Может, и придурялся, чтобы геологу приятное сделать.

— Надо же, а на вид такие неприглядные, как помёт куриный. Не, тот другого цвета — зелёного, а эти почти красные.

2

С рассветом стали последовательно заполнять мешок нового дня делами, которые запланировали их дерзкие умы прошлым вечером. Коровин ковырялся под капотом, Земцов маячил рядом, подавая ему требуемые ключи или другие приспособы из Генкиного ящика. Мастер иногда спрыгивал с бампера и, засунув пальцы себе подмышки, ходил без слов туда-сюда перед кабиной. В рукавицах крутить болты и гайки невозможно, вот и отогревал он свои рабочие конечности. Наконец захлопнул крышку и с нездешним взглядом полез в кабину, не откликаясь на Андрюхины слова типа: «Ну и что? Получилось? Чо молчишь-то?». Двигатель недолго жалобно повизжал, потом нерешительно забухтел, и наконец зарокотал с положенной ему уверенной силой. Не заглушая его, Коровин торжественно сошёл на землю.

— Однако обедать пора, начальник. Есть чего пожрать?

Пообедав, завели буровой станок, и закрутились, заскрипели бу-

ровые трубы, погружаясь в рыхлую толщу осадочных отложений, подбираясь к слою вожделенных палеогеновых песчаников, внутри которых 300 миллионов лет назад спрятались гидрооксиды железа. За обедом геолог не удержался и на неосмотрительный вопрос любознательного работяги развернул обширную речь. Коля сдуру поинтересовался, чего тут было в те давние времена, и получил по полной программе. Андрей вспомнил лекцию по общей геологии Западной Сибири профессора Васильева и несколько фраз, специально им заученные наизусть, чтобы ошеломлять головёнки девушек-однокурсниц. Сейчас, имея вроде внимательного слушателя, его понесло: «В палеогеновый период данная территория представляла собой выположенные эпидименты эстуариев древних рек, заросших древовидными хвощами и плаунами, по которым быстро передвигались многобугорчатые млекопитающие: индрокотерии и диноцерасы».

Коровин забыл жевать и сидел с отвисшей челюстью. Земцов, обеспокоенный состоянием товарища, замолк, а тот, всё же проглотив застрявшую во рту пищу, почесал бороду и задумчиво спросил:

- А они большие были, эти... индрокотерии?
- Метра четыре в длину и два в высоту.
- Почти как мой трактор. Вот черти, едрёна мать.

Земцова не нужно было учить управляться с трубным ключом, цеплять тросом лебёдки буровые трубы, шнеки, встраивать их в устье скважины, наращивая рабочую колонну. Приходилось самому вставать к буровому станку, когда неожиданная хворь в виде тяжкого похмелья выводила из строя помбура. Болел ли с похмелья Слоник, никто не знал, не видел. В такие проблемные дни он вообще не разговаривал, команды отдавал одним громким словом, либо мрачным кивком. Работал всегда, когда нужно.

Сейчас всё двигалось, как положено: обсадили водоносный горизонт, вычерпали желонкой воду и двинулись ниже, уже посуху. Сквозь размеренный гул буровой установки расслышался мощный рык близкого вездехода. Коровин поставил буровой снаряд на холостые обороты. Да, вот и он, гость долгожданный. Кивая плоской бронированной мордой по снежным ухабам зимника, к ним лихо подскочил ГТТ, из распахнутой дверцы выскочил Вася Короткий со своей дурацкой улыбкой, должной изображать беспредельное дружелюбие. Короткий — это не прозвище, а настоящая фамилия, никак не подходившая рослому, длиннорукому мужику. Моторы заглошили, и он, телогрейка нараспашку, заорал:

— Здорово, потерпевшие! Да у вас тут почти полный порядок, процесс идёт! Вижу, вижу вашего утопленника. Щас обмозгуем, как его правильно достать. Главное — правильно позицию выбрать, как с бабой бывает...

Коровин его угрюмо оборвал:

— Кончай базар. Скоро стемнеет, а до завтра валяться и думать, получится или нет, мне совсем не в жилу.

Топтались на пяточке, заставленном техникой, чесали затылки. Под прямым углом к дороге вытаскивать не получится, потому что с противоположной стороны явно такое же заснеженное, не промёрзшее болото с редким сухостоем. Тягачу опоры не будет, и он заплухается в торфяной жиже. Решили тянуть наискосок, опираясь на утоптаный зимник, хотя существовала опасность, что трактор может лечь набок при подъёме на довольно крутой взгорок. Форкоп был под водой, поэтому Коле пришлось раздеться по пояс и в болотных сапогах, на карачках, на ощупь цеплять конец троса и закреплять его стальным пальцем. Андрей подал ему вафельное полотенце с ржавыми пятнами своей позавчерашней крови. Другого не нашлось. На ходу обтирая с себя чёрные ошмётки, Коля потрусил в тёплый вагончик, там оделся, и с мотопилой, по колено в снегу, полез к недалёкой сосне пригодной толщины. Никто ничего не спрашивал — значит, нужно. Приготовленные трёхметровые брёвна вместе перетаскали на дорогу.

Церемонно напутствовал Васю: — Ну, спасатель, давай, с Богом! — И с Земцовым поделился уже озабоченно: — трос у него совсем изнахраченный, надо было вдвое сложить, да коротковат тогда будет.

Тягач на малом газу потянул утопленника и, развернув его почти боком к дороге, начал потихоньку вытаскивать из топи. Вот и передок вылез, вот и одной гусянкой на твёрдом оказался, и здесь все увидели, что он накренился и может завалиться. Вася сообразил, прекратил тягу, Андрей с Колей без разговоров стали таскать заготовленные бревёшки и пихать их под зависшую в воде гусеницу. Крен прекратился, и рывками Короткий почти вытянул трактор на твердь, когда оборвавшийся трос стеганул Коровина по голове.

Он рухнул навзничь, из-под разодранной ушанки текла кровь, глаза бессмысленно смотрели в небо. Сознания не потерял. Земцов сперва метнулся к нему, потом ускакал в вагончик и объявился с целлофановым мешком — аптечкой. Осторожно снял набухшую кровью шапку, подложив под голову всё то же незаменимое полотенце, промакивал рану рулоном бинта, вытирал кровь с лица, тряс из флакончика йод прямо на волосы, сделал повязку, напоминающую чалму. Вместе с Васей помогли раненому присесть на валявшийся рядом ящик. Короткий выжидательно смотрел на Земцова.

— Чего смотришь, заводи агрегат, в Бакчар поедем, там больница нормальная, а в Панычево только медпункт с фельдшером. Сорок километров, за час доскачем. Хотели Колю взять под руки, он отпихнулся от них, сам поднялся, недолго постоял, у равнове-

шиваясь, осторожным шагом добрёл до кабины и влез на сиденье. Медленно поднял глаза и попросил Андрея принести его личный рюкзак. Пошарив в своих богатствах, вытащил какие-то тряпки. Усмехнулся.

— Трусые чистые беру с собой. В больничке сестрёнки молодые, а я тут наверняка провонял как свинья, хоть сам и не чую. Ты вот что, Андрюха, не езди со мной. Нельзя хозяйство без присмотра оставлять. Две бочки солярки, бензопила и ещё много чего полезного. Любуй мракобес поедет мимо и обязательно пригреет. Будем потом икру метать, да без толку.

Земцов скрёб под шапкой затылок. — Ладно, езжай, покараулю. Заботник нашёлся, едрёна мать. Слава Богу, живой остался, а он ещё за мотопилу переживает. Хоть бы череп не повредило. Тошнит? Нет? Ладно, врачи рентгеном просветят, скажут. Если к сестрёнкам ручки потянутся, значит, всё нормально.

Шутки закончились с захлопнутой дверцей, взревел двигатель, и через минуту корма вездехода исчезла за поворотом. В морозном воздухе растворилось облачко выхлопных газов, перемешанных со взметённой снежной пылью. Ещё недолго, уже издалека, слышался удаляющийся рык, а потом наступила полная тишина. Земцов не сокрушался из-за случившегося несчастья. Он приучил себя укрываться от всяких бед и лихих напастей за оборонительным сооружением, простым на взгляд, но крепко помогающим переживать подобные испытания мозга. «Слава, Богу, что не случилось хуже». Это значит, что не нужно обижаться и роптать на злой случай, а спокойно его принимать, безо всяких «если бы да кабы». Он чётко знал, что Коровину очень повезло. Траектория полёта конца оборвавшегося троса была такова, что удар пришёлся сбоку, выше уха и мимо глаз. Шапка толстая, цигейковая, спасла. Обычно он носил вязаную, да, видать, так её замусолил, что решил сегодня ушанку натянуть.

Стать хладнокровным и бесчувственным наблюдателем, конечно, не получалось, но от излишних нервных напрягов и ненужных рассуждений удачно избавляло, хотя людей жалел всегда, и себя иногда. О стабильности рабочих ситуаций и жизненных положений и не помышлял. Не для того полез в «болотные проходимцы», каковым иногда представлялся перед доверенными лицами.

Глянул на трактор, стоявший на дороге почти горизонтально, и усмехнулся: «Удачно, что трос не лопнул, когда тащить только начинали. Гад я всё-таки. Коляна чуть не убило, а я за железяку радуюсь. Ладно, надо рацию настраивать, с конторой говорить». Сеанс связи состоялся, хотя он вышел в эфир не в положенное ему время. Молодцы, дежурную связистку у радиостанции посадили. Позвали к микрофону директора и после серии важных сообщений Земцова Илья Фёдорович ответил странно и даже несколько обидно: «Помощи

не жди, помогать некем. Одни бурильщики в поле, другие на больничном, третьи в отпуске. Через семь дней появятся люди, и я их тебе доставлю. Сообщай о состоянии травмированного Коровина. Насчёт гётита и лимонита молодец. Будь внимательнее, в этом слое среди порообразующих минералов может и сидерит оказаться. Всё. Конец связи».

Молодец, отбрехался. Спасибо за отеческие наставления. То ли бражку поставить? Да когда она ещё созреет... А мне теперь некуда спешить.

3

Бездеятельно и бесстрастно проковыляли мимо три дня. Поздним утром сидел на чурбаке, чистил картошку и слушал из приёмника выступление Сахарова с какого-то съезда народных депутатов. Метель в стенки стучится, окошко снегом залепила, надо выйти, почистить, да ладно, успеется, нечего там разглядывать, а вот слова недавно опального академика хочется дослушать: какие истины он народу откроет. Правильно, умно говорит, но почему-то не вдохновляет Андрея на активную общественную деятельность. В стране ветры перемен разгулялись. Гласность, свобода мысли, свобода слова... здорово. У него тоже вторые сутки пурга, ветер крепкий, северо-восточный, видать, с Арктики циклон добрался. Вчера пришлось целый сугроб вокруг устья недобуренной скважины разгрести и мешками со мхом дырку закрывать, утеплять, чтобы внутрь мороз не пробрался и долото к забою не примёрзло. Коровин наверняка его приподнять не удосужился.

У Андрея лук кончился, а он, слушая спокойный голос доброго лауреата, вдруг глобальными проблемами увлёкся. Хотя, возможно, они и его касаются. Интересный мужик этот Сахаров. Водородную бомбу спроектировал — самый лютый ужас за всю человеческую историю, а потом вдруг озаботился соблюдением прав человека в нашем забавном государстве. Неких правдолюбцев ринулся защищать от КГБ и прочая. Интересно, уберёт ли кого от этого катка или только на обочине причитал: «Ай-я-яй, ну как не стыдно». Впрочем, во времена Леонида Ильича, когда Сахаров в заступу инакомыслящих кинулся, каток по человеческим массам уже не запускали, иногда лишь некоторых очень даже культурно приглашали сесть в легковую машину. Земцову к тридцати годам хватало жизненной школы, чтобы не обольщаться по поводу наличия совести у власть имущих. В психике деятелей, добравшихся до руля государственного управления, происходят необратимые метаморфозы, сродни потере девственности у повзрослевших девочек, попавших под приглянувшегося, многообещающего молодца. Обратного хода нет. Это у вчерашнего уголовника Коровина живут в его дурной голове

такие качества души, как чувство вины, искренность, бескорыстие, хотя он стесняется их людям показывать.

Увлечённый разгромом лиц известных, но им не уважаемых, он не заметил, как последняя очищенная картофелина булькнула в котелок. Вышел на волю снега черпануть, а мысль об ответственности человека за свои поступки продолжала долбиться, как проголодавшийся дятел. Наверное, вредно быть одному и без дела. Сахаров к тому же подтолкнул своей смиренной речью о гуманизме, согласии и миролюбии. Совесть, что ли, у дедушки проснулась, он всё-таки не госслужащий. Земцову думалось так: «Это я ещё могу лоб морщить по поводу: сделают из железной руды, которую мы тут расковыряем, сковородки или пушки. Физик точно знал, какой смертной жутью для всей планеты обернётся его научный интерес к процессу синтезирования из двух атомов дейтерия одного атома гелия, — он ухмыльнулся. — Или, как у Высоцкого: «...чую с гибельным восторгом — пропадаю...». Ну их... Зато Мишка этой зимой в детский сад пошёл. Интересно, как ему там нравится. Лучше не думать, шибко хандру нагоняет».

Носитель нравственности из эфира поблагодарил за внимание, слышались рукоплескания, а сквозь них приближающийся натужный рёв мотора, да всё ближе, да со стороны Панычево. Это кто ко мне добирается? Ещё немного, и он узнал и оценил выдающиеся обертоны двигателя ГТТ, которые невозможно спутать со звуками голосов других солистов местной оперы. Истинным ценителям, конечно. Проникновенные вибрации солидного баса зазвучали совсем рядом, за стенкой бытовки, и смолкли. Заставил себя сидеть на чурбаке и не выскакивать навстречу прибывшим. Так солиднее. Проскрипели шаги, и в распахнутой двери он вначале увидел непривычно серьёзного Васю, а следом бесшабашно улыбающегося Колю. Начал доклад озабоченный Вася:

— Вот, Андрей Иванович, доставил на ваше попечение этого охальника. Ты представляешь, из районной больницы к нам на базу, в Панычево, позвонили и сказали, чтобы забрали нашего раненого развратника из ихнего стационара. Медсёстрам, дескать, проходу нет по лечебному учреждению. То за ягодицу ухватится, то к ихним грудям своей башкой прильнёт, будто ноги его не держат и равновесия нету в теле. Хотя сотрясения мозга у него не обнаружили.

Коровин ткнул пальцами его под ребро, и Короткий, задохнувшись, замолчал. Больной стянул с головы модный красный «петушок» с надписью «Sport» и предъявил аккуратную повязку, обнимающую большой, бритый лоб. — Вот и все дела, Андрюха, ни хрена с моей черепушкой не случилось, три шва наложили, и гуляй, Коля, не чешись. Я твоё напутствие помнил насчёт испытания здоровья, поэтому маленько помял бабёнок. Они довольные были, это тощая

крыса, старшая медсестра, бучу подняла, обидно, наверное, стало, что её ни разу не приласкал своею царскою рукою. А в больничке хорошо, кашу манную с молоком на завтрак дают, как в пионерлагере, в душе мойся, сколько хочешь. Я все свои вонючие трусы и носки перестирал, теперь готов к новым подвигам. Шапочку мне Валька полногрудая подарила, говорит, теперь вся молодёжь такие носит. Сала солёного дала. Васька, где сало? Я тебе пакет вручал.

Земцов смеялся до всхлипа. Ему хотелось приобнять Коровина, да не приняты у них такие сентименты. Одно вымолвил: — Валька ничего больше не дала? Салом и шапочкой отделалась?

Отдышавшийся Короткий сидел на чурбаке и тоже улыбался. Игра в правильного, озабоченного сотрудника закончилась. Похлебали суп, заедая Валькиным салом, и Коровин, задымив смрадной папиросой, вдруг заявил:

— Однако скважину надо добуривать, коли начали. Теперь ещё один помощник имеется. Зря, что ли, пайку жирную схавал?

Земцов ответил одним словом: — Надо.

Удачно утихла пурга, погода сочувствовала залежавшимся, заскучавшим трудящимся. Васины длинные рукигодились на пятидесятом метре проходки, когда нарвались на напорный пływун. Водонасыщенный песок самоизливом попёр из устья скважины, и пришлось накручивать и задавливать дополнительную обсадку, чтобы перекрыть нежданный водоносный горизонт. Когда внутрь загоняли колонковую трубу, вода с песком хлестала фонтаном, и все трое оказались забрызганными серым раствором, скоро замерзающим на телогрейках и мешающим ловко двигаться. Сменили колонок на желонку и за два часа непрерывного шлёпанья, погружения и вытаскивания наполнили парящей на морозе водной мутью углубление на обочине, превратив его в большую лужу или в маленький пруд. Когда долото вышло на Божий свет с глиной и без воды, поняли, что поганый пływун пройден. Повесив мокрые телогрейки на мачту, сели перекурить. Земцов притащил из бытовки охапку запасных бушлатов, хранившихся под нарами.

— Одевайте, а эти, мокрые, надо на ветках распялить на вымораживание.

В результате такой хитрости часть воды превращалась в корку грязного льда, который счищали, отколупывали, а затем телогрейки вешали над горячей печкой. Остаточная влага уже не стекала ручьём, а просто испарялась.

Потные лица почуяли ледяной ветер, вновь задувший с заснеженной топкой равнины. Но это пустяк — у них есть сухие, тёплые бушлаты. Шапки не промокли, потому что догадались каски надеть, когда вода хлестанула. Дыхание жизни высушивало пот на коже и превращало его в застывшие блёстки в бурях, ещё не поседевших

бородах. Они сами были вольной, прихотливой частью этого дыхания. Воле всегда необходим выбор, и они его сейчас имели. Могут остановить проникновение в толщу грунтов, свернуться и уехать в диванный уют, к полузабытой теплоте терпких женских подмышек.

Могут, но не уедут, потому что хочется поставленной цели достигнуть. Вот положит Земцов несколько коричневых крупинок в свой тряпичный мешочек, и тогда можно будет временно поменять прокишие чуни на домашние тапочки.

Коровин докурил и поднялся на свои крепкие, как клещи, ноги.

— Ну чо, Андрей Иванович, попрём?

— Да, Николай Семёныч, попрём.

10.02.2015 г.

ЗУБОТЫЧИНА

1

Размеренный городской день заканчивался, и вместе с ним был близок к финишу пеший путь до дома. Последний год Андрей Иванович Земцов на работу и обратно ходил пешком, решив, что, отказавшись от автобусов, он приобретёт полезную усталость и какие-никакие дополнительные впечатления. Ничего он не приобрёл. Для рабочих ног, приобвыкших скакать по болотным кочкам, три километра утром и вечером по асфальту — просто отрада. Что касается впечатлений... дома знакомы, как мебель в кабинете, лица некоторых прохожих — словно соседей по лестничной площадке.

Вон идёт навстречу стареющая красавица с немыслимым сооружением на голове из чёрных куделек. Таких причёсок уже не носят. Может, и раньше не носили. Сейчас она напоследок выстрелит глазами туда-сюда на уличную публику и зайдёт во второй подъезд девятиэтажки. Унесёт в себе обиду — опять никто не оценил её живучей красоты. Всё так и произошло. Вон мужчина в коричневой куртке, отойдя несколько шагов от входа в магазин, запустил руку в свой пакет. Ему тяжело тащиться до дома со своей неотложной покупкой. Обычно он прямо здесь и поправляется. Так и есть — задрал к небу седой клинышек бородки вместе с бутылкой пива. Он счастлив. Пакет круглится от бутылок — будет чем дома укрепиться в ощущении удачливости сего дня и правильности миропорядка.

Больше никого, достойного внимания, на пути не оказалось. Андрей Иванович чётко знает, что будет делать сегодня вечером в своей квартире и завтра днём на работе. Глаза без участия воли автоматически читают рекламные слоганы, отмечая новое. Вчера

на угловом столбе било по мозгам обещание натянуть потолки без опасности для жизни заказчика, а сегодня нагло улыбается мужик в белом халате, предлагая бросить вызов геморрою, обратившись к нему за чудесным избавлением от этакой злой хвори.

Свернул с магистрального проспекта на меньшую улицу и гуляючи двинулся вдоль трамвайного пути. Когда услышал за спиной настойчивый звонок, обернулся в недоумении. В кабине остановившегося трамвая маячила румяная молодуха и делала ему непонятные знаки. Может, познакомиться хочет? Других прохожих поблизости не наблюдалось. Андрей Иванович развёл руками, дескать: «Я вам не мешаю, езжайте своей дорогой». Она упорно тыкала пальчиком вперёд. Посмотрел туда и увидел тело, лежащее на шпалах. Подбежал к человеку, обнявшему рельс, тронул за плечо и громко спросил:

— Вам плохо? Вы слышите меня?

Мужик в ответ закинул на рельс ещё и ногу. — Нормально. Пошли все в задницу. Дайте поспать.

Из открытой передней двери трамвая выскочила молодуха с вытаращенными глазами и подскочила к месту лежбища. Боязливо поинтересовалась:

— Он жив? Что с ним?

Андрей Иванович был серьёзен. — Просит дать ему отоспаться, опосля сам уйдёт. Они изволили слегка выпить.

Водительница растерялась. — Ну как же так? Не можем мы ждать, у нас график движения, следом другие трамваи идут. Вы бы перетасили его подальше от линии, пускай там спит. Какая ему разница? Будьте уж так любезны. А?

— Не могу отказать приятной даме.

Перевернув пьяного на спину, обнаружил, что тот вполне прилично одет. Синий костюм в блестящую полоску, белая рубашка, жёлтый галстук в красный горошек. Глаза полузакрываются, и непонятно, видит ли он людей и соображает ли, где находится. Андрей Иванович взявши его подмышки, поволок поперёк тротуара в ближайšie кусты, типа газона. Человек не сопротивлялся, милостиво позволяя волочить себя в более уютное местечко. Ему определённо пришлось по душе такое заботливое внимание к своей персоне. Он не абы кто, он личность значащая! Положив увесистое, обмякшее тело под клёном, Земцов увидел, что теперь у личности не хватает одной туфли. Вернулся на пути. Мимо медленно проехал трамвай, получивший, наконец, свободный ход. Из кабины ему послала воздушный поцелуй «приятная дама». Прижав руку к груди, склонился в полупоклоне, что означало: «Для Вас всё, что угодно». Такая вот игра получилась. Нашёл туфлю на шпалах, засунул отдыхающему под голову, чтобы мозги не застудил — с земли холодной осенней

сыростью уже тянет. Оставшиеся пять минут до своего жилища шёл в энергичном настроении, думая о том, что было бы очень здорово, если подобные кунштюки случались почаще, а лучше каждый день.

Полгода упорядоченного городского быта настроили его ценить всякий случай, выскакивающий за границы проторенных дорожек. Он даже свою тропу от дома до работы периодически менял, переходя, насколько возможно, на другие переулки. Не помогало. В голове поселились непрошенными постоянными две сестры-близняшки: скука и хандра. Быстро завладели всем его мыслительным хозяйством и, прикидываясь оригинальными музами, начали вдохновлять на всякие увлекательные поступки, а именно: «Выпей, Андрюша, водочки, и ярким пламенем вознесётся к небесам костёр твоей инженерной фантазии. Люди, замаячившие рядом, станут колоритными личностями и занимательными собеседниками. Улицы превратятся в сказочные места удивительных встреч и потешных приключений».

Дважды он поддавался на такие интересные предложения. Первый раз выпил с молодыми коллегами в конторе, и они обсудили особенности бурения вечномёрзлых грунтов. После, на остановке, угощал портвейном неизвестного человека с лицом, спрятанным в сером капюшоне, из которого только нос торчал и звуки слов иногда доносились. Всё сказанное спонсором уличный собеседник воспринимал с восхищением, разве что не аплодировал. Наконец сам поделился жизненными проблемами. Рассказал о том, что «его щемит и колбасит, когда на входе в боулинг-клуб ему фэйс-контроль устраивают. Будто не видят, что перед ними креативный менеджер». После такого откровения Андрей потерял к нему интерес и уехал на автобусе в сторону своего дома. Нашёл себя бредущим неведомо куда по какой-то явно окраинной ночной улице. Встретиться с занимательными людьми не получалось — вокруг вообще никого не было. В кармане настойчиво блямкал сотовый. Наверняка Маша в смятении давила на кнопки. Фонари не подсказывали правильного направления, он вообще не соображал, где находится. Выручил удачно появившийся ночной таксист, объяснивший путнику, что болтается он по Степановке. За умеренную плату доставил до дома.

Поостерёгшись повторения подобного потешного приключения, второй раз пил, не выходя из квартиры. Весь вечер донимал Машу разговорами о достоинствах и недостатках современных геофизических методов, напоследок спел на кухне сам себе «Сиреневый туман» и заснул в одиночестве на диване. Утром чувствовал себя самым отвратительным мужиком на пространствах Западной Сибири и не только. Возможно, и во всей стране. Да чего уж там — самым мерзким типом на планете. Это при том, что никому ничего дурного по пьяни не сделал. Сёстры-близняшки, музами уже не прикидыва-

ясь, злорадно ехидничали: «Да ты и впрямь негодяй и балбес, и нечего из себя страдающего умника корчить».

Все описанные последствия смелых экспериментов через пару дней сгладились, рассосались, замылились, хотя и не забылись, а сегодняшнее трамвайное происшествие запросто улучшило расположение духа. У себя в прихожей он приложил ухо к груди Маши, выскочившей его встретить. Послушал стук её сердца. Это означало только одно: настроение ходока в норме. Сегодняшним утром она получила от него порцию матерков, когда предложила сменить уже надетую рубашку, несвежую, по её мнению. Теперь понимающе гладила мужнино темечко.

2

Когда окончательно и бесповоротно пришла зима, дворники на тротуарах зашмыгали снегоуборочными лопатами, голуби скучковались возле люков теплотрасс, а на северах утоптали зимники, господин шикарный случай соизволил вывести Андрея Ивановича из кабинетного затвора на большую дорогу. Один молодой задумчивый геолог вдруг приболел, другой, такой же молодой, но дерзкий, застрял где-то на отпускном променаде, и выходило, что кроме пожилого и постоянно готового в Ханты-Мансийские края ехать некому.

Двигались на «уазике», прозванном «таблеткой». Не по внешнему сходству, конечно, а по своему бывшему назначению. В советское время на таких машинах действовала «Скорая помощь». Теперь по центральной оси салона, куда носилки с больными вталкивали, лежит почти аккуратная куча полевого скарба. Серебристые тубусы с таинственными устройствами топографов, опасные остроконечные штативы, чемоданчики с ноутбуками, рюкзаки с запасными рубашками, трусами и носками. Глянув в заднее стекло, можно увидеть уверенную морду «Урала» с выставленной вперёд мачтой буровой в походном положении. Если видишь её, значит, всё нормально.

Останавливались лишь на заправках, совмещая наполнение бака с загрузкой желудков в придорожных столовках, по-нынешнему — кафе. На промежуточных дистанциях изредка тормозили по необходимости сливать на обочину переработанные организмом чай-кофе-минералку. Приближение к конечной цели, Нефтеюганску, не прекращалось и ночью. Водители Максим и Валера менялись незаметно. Иной раз глаза, перед тем как закрыться для недолгого забытья, видели над спинкой шофёрского сиденья белобрый затылок Максима, а когда они открывались на ухабе, там уже маячила тёмная макушка Валеры.

Андрею Ивановичу не нужно было напрягаться, чтобы избавиться от коварных квартиранток, устроившихся в его мозговых изви-

линах. Сёстры-близняшки покинули освоенное жилище мгновенно и, казалось, безвозвратно, как только он получил на руки техзадание на производство изыскательских работ. Начиналось поле. Потом выяснилось, что надолго — это вовсе не безвозвратно.

В дорожной трясучке полушарие, отвечающее за творческие подвиги, приступило к своей скромной рабочей миссии: обдумыванию плана, как решить изыскательские задачи с максимальной честностью и приближением к реальности, при минимальной до idiotизма обеспеченности техникой и рабочей силой.

За Каргаском иссякла постоянная автотрасса, и «уазик» занырял по зимнику, покрытому ровным слоем укатанного снега, без мелких колдобин. Зато плавные нырки вниз и вверх продолжались часами. Это давали о себе знать русла перемерзших ручьёв, выносящих избыток воды из Васюганских болот, чтобы слить её в Обь.

— Как на лодке в море при большой волне, — выложил своё мнение длинноногий топограф Саша, обычно малоречивый. — Кабы кого не стошнило от качки, хотя похмельных у нас вроде нет. А может, есть кто, да терпит? — смеялся парень.

— Самому-то приходилось на лодке по морям да по волнам? — ухватился за разговор Андрей Иванович.

— Пока нет, у меня ещё всё впереди по плану. После командировки женюсь, и в свадебное путешествие туда, где пальмы и морские волны. Это, конечно, если живой буду.

Саша шутил, а никто даже не хихикнул. Такой гробовой юмор народ не принимал. Впрочем, не совсем точно, кто-то реплику поддал: «Жениться всё равно придётся. Не удастся трупом прикинуться». Лёгкие разговоры порхали внутри «таблетки», немного сжимая начинающую притомлять дорогу.

Зачем нужно им поле? Поле — это пространство некоей другой жизни, где и время иначе проявляется, не позволяя возникать думке о том, чем заполнить остаток дня до момента влезания в спальник. Здесь время не сливается в беспроглядную прорву трудноотличимых дней. Не катится оно колесом и рекой не течёт, как учили нас классики отечественной литературы. В поле время — это воздух, и ты не заботишься, как правильно распределять его при дыхании. Через лёгкие пройдёт ровно столько, сколько нужно для жизни организма.

Поле даёт возможность думать о себе как о незаменимом работнике в нужном деле, которое сейчас никто кроме тебя не сделает. Здесь ты не только наблюдаешь за проделками природы, ты становишься её соучастником. Бурили нефтепоисковую скважину, и на глубине 900 метров вскрыли горизонт напорных подземных вод. С тех пор уже несколько лет из дырки в земле самоизливом течёт горячая вода, образуя в тайге новый ручей, зимой не замерзающий,

дающий возможность зверям, птицам, бродячим людям нормально воды попить, а не снег глотать.

В поле ничего не может случиться врасплох, внутренне ты ко всему готов. Никогда нет уверенности, что сегодняшней спектакль получится по вчерашнему сценарию, и шибко убиваться никто не станет из-за такого срыва, или провала — как угодно. Мужики по матерятся, кто от души, кто неуклюже, и по новой отыграют. Шанс у них всегда есть. Они сами себе и режиссёры, и актёры, и зрители.

В Нефтеюганск прибыли поздним вечером, без проблем вселились в простецкую гостиницу «Маяк» общежитского типа, с номерами на четыре кровати, общим душем, туалетом и кухней в закуске посередине коридора. Планировали к полудню получить в управлении «Юганнефтегаз» координаты будущих площадок разведочного бурения.

Поутру Андрей Иванович в бодром настроении, после душа, войдя в свою комнату, оказался слегка прибитым флегматичным Сашиным объявлением:

— Облом, Иваныч. Никто сегодня не откроет перед нами своих секретных закровов, и координат мы не получим. Сёдни День конституции — выходной по всей стране. А завтра суббота, значит, на три с половиной дня мы здесь зависли.

Лицо геолога сморщилось, как от настигнувшей изжоги. — Ну язви её! Ну когда же мы в ногу со страной зашагаем. Ну как же я забыл, что нынче другие праздники взамен бывших. А, ничего. Сейчас где-нибудь пожрём, а потом найдём чем занять этукую пропасть времени.

Так и сделали. После завтрака в ближайшей кафешке он отправился гулять по городу, в котором до сих пор не бывал. К нему примкнули Саша и Максим, тоже проявившие интерес к местным достопримечательностям. Остальные завалились на койки перед телевизорами. Через дорогу, напротив их сборнощитового постоянного двора, монументально высилась огромная мечеть с золочёным куполом. С минарета доносился голос муэдзина, через усилитель наполняя окрестности непонятными распевами.

Максим заметил: — Как будто мы в эмираты какие-нибудь заехали, а не в Ханты-Манси.

Здрав головы, оценили солидность сооружения, но внутрь войти не решились. Кто их знает, эти мусульманские обычаи, может, шагнут неправильно, будут потом непредсказуемые последствия. Пошли по улице, застроенной типовыми панельными домами, такими же, как у них в Томске. Андрей Иванович, озаботившись тем, что не захватил с собой никакой книги, спрашивал у местных насчёт книжного магазина. Никто о таком не знал, не слышал.

Увидали скромную вывеску над крыльцом жилой пятиэтажки:

«Краеведческий музей». Подёргали на себя ручку железной двери — закрыто. Малоречивый озорник Саша подолбил в дверь пяткой, и она вдруг открылась. В проёме стояла худенькая седая старушка с внимательным взглядом.

— Что хотели, молодые люди?

Земцова понесло. — Сударыня, мы люди нездешние, проездом, и у нас возникло непреодолимое желание ознакомиться с историей и культурой вашего славного края.

Лицо женщины сморщилось от сострадания.

— Вы уж извините, я очень сожалею, но сегодня никак невозможно. Нерабочий день у нас, приходите, пожалуйста, в понедельник.

Дурная волна несла Иваныча дальше. — Мы уйдём, конечно, коли так. Но вы не понимаете, на что нас обрекаете. Мы же сейчас от такой безнадёги водки выпьем, а потом на улицах начнём куражиться и бедокурить. Будем громко сквернословить, мужчин пинать, к женщинам приставать и хватать их за мягкие места. Нас, конечно, в милицию заберут, и вот там-то мы и скажем, что эдакого непотребства не случилось, если бы нас пустили ваш музей посмотреть. Не вкусив целебной воды познания, заменим её огненной водой.

В течение всей дурацкой речи испуганные синие глаза музейной бабушки смотрели на него не мигая.

— Мужчины, я очень прошу вас, не делайте этого, я же вижу, вы хорошие. Не надо таких крайностей, — увидев, что они разворачиваются, чтобы уйти, отчаянно крикнула: — Подождите, не уходите, я сейчас позвоню директору, всё ему объясню. — Потом, уже тише: — Думаю, что он разрешит провести вас по нашим экспозициям. Я быстро.

Дверь закрылась, она явно засемила к телефону. Максим и Саша, давась хохотом, уходили с крыльца. Следом спустился Иваныч.

— Ну вы чего, куда побежали? Сейчас бабуля договорится и устроит нам экскурсию.

— Не, Иваныч, не надо ничо больше, ну её, эту экспозицию.

Так и не вкусили они волшебной воды познания, но и на водку в этот раз не запали. Не захотелось. Ребята отправились на койки, Земцов продолжил свои книжные поиски. Нашёл библиотеку, но записаться не удалось по причине отсутствия тутошней прописки. Зато показали на книжный шкаф в вестибюле, куда местные люди сносили свои ненужные книги. Вышел оттуда нагруженный шестью томами Бунина. Теперь можно валяться сколько угодно.

Получив в этом городе нужную бумажку с координатами и ненужную авансовую отлёжку, по качественным местным зимникам за световой день добрались до первой точки. Ещё с собой две нужные штуки притащили: вагончик на колёсах для жилья и снегоход

для скачек по целине. Старые добрые знакомые удружили, как бы взаимно. Уже проще.

Замелькали трудовые дни. Бурильщики дырявили землю, чтобы определить глубину болота, на котором потом должны встать вышка и станок для глубокой скважины. Земцов маячил рядом, отбирая образцы и заполняя буровые журналы скрюченными на морозе пальцами. Топографы занимались углами и границами будущей площадки. Шофера Максим и Валера превратились в вальщиков, бензопилами снося деревья, на которые им указывал Саша, глядя в «хитрый глаз» тахеометра.

По темноте собирались в вагончике, топили печку, на огромную сковороду вываливали с десяток банок какой-нибудь каши с тушёной. Эпоха керосиновых ламп осталась позади. Жильё освещала лампочка, запитанная от бензоэлектрического агрегата. Была даже газовая плита с баллоном, на тот случай, когда выберутся ближе к тундре и с дровами начнутся проблемы. Сие удобное устройство скоро сыграет свою зловещую роль. Время перед отбоем теперь никто не проводил за карточными игрищами, зависали у ноутбуков, пробавляясь заготовленными впрок фильмами. Земцов на своём топчане под руководством Ивана Алексеевича получал уроки по «Грамматике любви» под хруст черепов и победные рыки, доносившиеся от видео из другого угла бытовки.

3

Так прошёл декабрь. В новогоднюю ночь съели глухаря, добытого Максимом, и выпили водку, припасённую для этого события ещё в Томске. Потом перебрались на следующий участок, попутно проведя разведку по трассе будущего автозимника и лэповки. После были и третий, и четвёртый участки. Дни стали немного длиннее, работа пошла быстрее. Земцов почуял приближение хандры в самый неподходящий для этого явления момент, когда полулежал в нартах, прицепленных к снегоходу, возвращаясь с рекогносцировочного обследования района послезавтрашних работ.

Нет повода, чтобы ей объявляться, скуки даже нет, а эта мерзавка подкрадывается. Он плывёт сквозь сосновый стланик в снегах, позолоченных падающим в болото солнцем. И вчера плыл, и завтра поплывёт. Уверенно трещит движок снегохода, управляемого Максимом. Через час Иваныч войдёт в вагончик, снимет тёплый комбинезон, в кальсонах сядет за стол и выхлебает миску супа. После вечерней кружки чая запишет то, что нужно, пока не забыл и, привалившись спиной к стене, раскроет Бунина. Завтра доковыряют последнюю скважину на этом участке, послезавтра прицепят вагончик к «Уралу», загрузятся в «таблетку» и поедут вкругаля на пятую точку. Радоваться надо, а не хандрить, коли всё идёт по плану, всё

получается, как задумано.

Отчего же он смотрит поверх книжки на копошение своих мужиков, как на надоевшее представление, в котором и сам принимает участие, хотя появилось ощущение созерцательной отстранённости. Городской быт поменялся на полевой, который тоже приелся. Подумалось: может, это явление чисто возрастное и наступила пора, когда выясняется, что всякая вроде новая ситуация имеет свой аналог в его изрядном архиве. Значит, удел таков — за жизненный опыт расплачиваться унылой физиономией, отпугивающей людей заговаривать с ним о разных весёлых пустяках? Никто не хлопнет дружески по плечу и не скажет: «Иваныч, ты где сидел? У тебя задница в грязи». Теперь человек обсудит с ним проблему расчётов максимальной плотности супесей, и они разойдутся в разные стороны, причём Земцов так и пойдёт с грязной задницей. От такого скачка мысли улыбнулся и решил, что это уже хорошо: сию и улыбаюсь сам с собой.

Во время утренней канители решили, что пора использовать газовую плиту по назначению. На дворе нынче тепло — до минус десяти не дотягивает, дрова кончаются, и заготавливать нет смысла, потому что завтра в путь. Так что сегодняшний обед разогреют на газе, а вечером сожгут последние поленья. Притащили из прицепа баллон, поставили рядом с ещё горячей печкой и начали расходиться по делам. В вагончике задержался один Саша, снимая с подзарядки свой навигатор GPS. Земцов протопал в сторону буровой с полсотни шагов, когда услышал за спиной мощный хлопок, непохожий ни на какие звуки, ранее здесь слышимые. Обернулся и увидел, как из распахнутой двери, из пламени, рвущегося наружу, вылетела Сашина фигура. Все, кто был поблизости, бежали к месту взрыва. Саша выл, стоя на коленях, и пытался зачерпнуть обожжёнными ладонями утоптаный грязный снег. Глаза его были закрыты. Внутри вагончика горел воздух. Максим догадался захлопнуть дверь, и, как потом выяснилось, это спасло их имущество и само жилище от полного выгорания.

Земцов кричал в обугленное Сашино лицо: — Ничего не делай, не вздумай снегом тереть. Сиди смирно, терпи, дорогой, мы сейчас, мы всё сделаем, терпи, не три снегом.

Только ничего они сделать не могли. Валера материл пасти бездонные, в которых исчезла вся водка без остатка, которая «сейчас Сашке ох как бы пригодилась». Потом завёл «таблетку». Земцов и Максим попытались взять обгоревшего под руки, но он вырвался и пошёл к машине сам. Значит, слава Богу, глаза уцелели. Земцов по спутниковому телефону говорил с диспетчером ближайшей кустовой площадки, где была «вертолётка». Выяснилось, что там какая-то нескладуха с авиапредприятием и срочно вызвать борт они не

смогут. Дали совет связаться с другой кустовой, где сегодня пере-
сменка и борт будет через два часа.

— Едем на Приобскую 103, — сказал Земцов Валере, — это 60
вёрст отсюда, за два часа хоть как успеем.

Явно дикую боль Саша терпел молча, без скулежа. Сидел, от-
кинувшись на спинку сиденья, сложив вспухшие кисти на коле-
ни. Ставшее неузнаваемым лицо с ключьями подпалённой бороды
запрокинул к потолку. За всю дорогу произнёс чётко и отдельно
единственную фразу: «Почему он взорвался?». В головах Иваныча
и Валеры бился без ответа тот же вопрос. Никто из бригады до сих
пор не имел опыта общения с замёрзшими газовыми баллонами и
не знал, что при быстром оттаивании газ резко расширяется, и бал-
лон превращается в зажигательную бомбу. Его рядом с недогорев-
шей печкой оставили.

На Приобской им показали домик медпункта, где худенькая
ангелица в голубом одеянии сделала всё, что нужно сейчас: укол
обезболивающий в ягодницу, целебное снадобье на лицо и руки.
Дальнейшее лечение дадут в больнице. Земцов в это время бегал в
диспетчерскую, связываться со станцией скорой помощи Сургута,
куда шёл борт.

Валера, на правах сопровождающего, сидел в углу и, пользуясь
моментом, спрашивал у врачихи, есть ли у неё мазь от почесухи
между пальцами на ногах. Ещё он сказал, что пришёл в смятение от
её ангельских глаз, и они вечно будут сиять в его бродяжьей душе,
не давая покоя ни днём, ни ночью. Благоклонно улыбаясь, она по-
смотрела его ступни, сморщив носик от тяжкого духа снятых чуней,
и поставила диагноз: «Грибок». Дала склянку с мазью. По поводу ду-
шевного смятения медицинское заключение было таковым: «Лёг-
кое недомогание. Пройдёт, когда приедешь домой и обнимешься со
своей женщиной. Пока терпи».

На вертолётной площадке, рядом с синим телом вертолёта, куч-
ковались отработавшие вахту серьёзные, молчаливые мужики с
сумками. Земцов сообщил Сашке необходимое:

— В Сургутском аэропорту тебя машина скорой помощи встре-
тит. У центрального входа будет стоять. Мимо не пройдёшь, я наде-
юсь. Мы через две недели поедem через Сургут, но тебя, наверняка,
раньше выпишут. Вот деньги, сам до Томска улетишь. Да, паспорт!
Едрёна мать! Без него ведь не улетишь.

Саша разлепил губы, превратившиеся в вареники.

— Всё нормально, паспорт у меня. Вчера рюкзак перебирал и в
нагрудный карман засунул, чтобы под руками не путался. Как знал,
— он даже улыбнулся. Видать, обезболивающий укол подействовал.
— Не зря я в дороге сказанул, что женюсь на Нинке, если живой буду.
Теперь придётся слово держать.

Залез в вертолёт последним, высунул наружу блестевшее от мази сизое лицо, махнул рукой и исчез совсем. Внутри втянули трап и задвинули дверь. Со свистом закрутились винты, машина, приподнявшись, зависла, словно раздумывая, куда податься, и пошла в южном направлении.

Не обратном пути Валера короткими фразами озвучивал свои мысли в традиционном после внезапных жёстких событий направлении: «Если бы да кабы...». Кабы баллон поставили в дальний прохладный угол вагончика, он бы не рванул. Если бы Саша в момент взрыва не стоял рядом с дверью — настал бы ему каюк. Если бы толпа задержалась на несколько минут с выходом из ночлежки, произошёл бы массовый падёж.

Последняя сентенция понравилась Земцову больше других. Представилась куча обожжённых мужиков, и он в том числе, ползающих на пепелище. Какая теперь хандра? Где она сейчас, эта хандра? Взрыв её смёл. Хлёсткая зуботычина, оказывается, нужна для перехода от чахлой походки на уверенный шаг. Но ведь не выбирал он такой неприятный, недостойный даже способ, и случилось всё без участия его воли и разума. Потерявшая было управление мысленная орава строилась в походный порядок для решения нынешней коренной задачи: кто вместо Саши теперь будет жать на хитроумные кнопки GPS и смотреть в окуляр тахеометра. Вот чем оборачивается столь милый сердцу каждого изыскателя факт собственной реальной незаменимости. Ещё очень интересно: что осталось от его буровых журналов и от собрания сочинений Бунина?

СТАРОВЕРЫ

* * *

Сплав затянулся на весь день. Шли караваном из трёх моторок, тянущих плоты, гружённые штабелями оборудования, скарба, снеди, сверху придавленные геологическими телами.

Река заметно расширилась, но берега вознеслись, и хвойное войско теперь наблюдало за плывущими с высоты устремлённых к небу скал. Чтобы увидеть лес с середины реки, приходилось задирать голову.

Пора светлых ночей давно миновала, уже ощутимо вечерело, а до намеченного места ещё не добрались. Всем было уже понятно, что засветло навряд ли поспеют, однако особого беспокойства никто не проявлял, доверяясь направляющей руке отрядного начальника Вадима и предаваясь созерцательной неге в отсутствие гнуса.

Когда по темноте уже зачаливались и ставили палатки, свет полной луны делал ненужными фонари. Управились быстро и снорови-

сто благодаря заготовленным на предыдущей стоянке палаточным кольям и дровам для позднего ужина. Не усталые за день организмы ко сну не просились, и у костра засиделись надолго. В эту ночь солировал бывший моряк торгового флота Вася Головёшкин. Он прошёл сквозь океанские шквалы с высоко поднятым подбородком и непреклонным взором, но внезапный житейский шторм перекинул его тело с матросской койки на тюремные нарты. Однако этот зигзаг судьбы был мужественно преодолён, и теперь он успешно прижился на полевой раскладушке в почётном звании маршрутного рабочего. Вася изрядно чифирнул, его взгляд горел вдохновением рассказчика; мелкокудрявая светлая шевелюра развевалась на ветру, руки молниеносно жестикулировали, ноги носили художавое тело вокруг костра, помогая иллюстрировать былины о героических морских странствиях и приключениях в экзотических портах. Буйствовали шторма, вылетали из воды тела дельфинов, обжигала гортань текила, лоснились от пота животы и ягодички пышногрудых бразильянок, выплясывающих для Васи карнавальную самбу. Любой популярный артист разговорного жанра стал бы сейчас бледной тенью зашедшегося в экстазе наслаждения общим вниманием Васечки. Впрочем, действие чифиря заканчивалось. Уже по инерции, быстро грустнея, рассказчик поведал историю пылкой любви к нему вьетнамской красавицы и вдруг исчез из освещённого костром круга. Недоуменные слушатели ещё немного посидели, а когда до них донёсся храп из Васиной палатки, потихоньку разбрелись, каждый к своим сновидениям.

Утро удивило неожиданной картиной. На противоположном берегу, из-за вершин деревьев, виднелись крыши нескольких домов. Чуть в стороне широким прогалом предъявляла себя небольшая речушка, впадающая в Вельмо. Савелий помнил это место на карте: речка-приток называлась Светлана, по ней даже планируется маршрут, но никакого селения здесь не обозначено. Он уже усилил глаза биноклем, как рядом образовался подрагивающий от утренней прохлады Вадим:

— Чем интересуешься?

— Чего, сам не видишь? Посёлок какой-то, а на карте нашей просто устье Светланы.

— Это кержацкое поселение. Они здесь после эвенков самые коренные жители.

— В гости наведемся?

— Нет, Савелий, не наведемся. Не тот случай. Они не любят незваных и любопытных. Сами у нас объявятся, чтобы узнать, кто мы таковы и чего нам тут надо. А пока буди мужиков — обустраиваться будем, да буровую ставить.

Так оно и случилось: в полдень, когда основные необходимые

труды были почти закончены и девчонки-поварёшки кликнули всех к обеду, увиделось, что от другого берега к их стану движется лодка с тремя мужчинами. Двое размеренно орудовали гребями, один рулил кормовым веслом. Через несколько минут они втащили лодку на отмель и степенно направились к глазевшему на них обществу.

Впереди выступал могучий широколицый мужик с окладистой рыжей бородой. Бритых подбородков на этом берегу было не сыскать, но вид его лицевой растительности приводил в уважительный трепет. Двое других были в кости чуть потоньше, бороды имели поменее, так что без объяснений понималось, что огнебородый здесь за старшего. Прибывшие остановились недалече от основной кучки геологов, внимательно оглядели всех, кто был им виден, и, перекрестившись двуперстием, с достоинством поклонились, но не в пояс, а наклонив головы.

— Здравствуйте, люди добрые. Каким провидением, али за какой нуждой в наших краях объявились? — проговорил приветствие-вопрос рыжий богатырь.

Вадим скромно улыбнулся и на правах старшего со своей стороны ответил:

— Здравствуйте. Геологи мы.

— Давайте знакомиться, коли в соседстве нам теперь жить. Филимон меня зовут.

— Никандр.

— Евсей.

Так внушительно прозвучали имена его спутников. Когда жали прибывшим руки и произносили свои имена, то они звучали как-то несерьёзно: Вовка, Васька, Витька, Петька...

Приглашённые к столу гости степенно расселись, но от угощений и даже чая вежливо отказались, сославшись на недавний домашний обед. В ходе беседы выяснилось, что они родные братья и живут здесь со своими семьями общиной в пять дворов. За Филимоном — старшим из братьев, имеющим девять детей, — шёл средний брат Никандр с семерыми ребятишками. Видом был крепок и кряжист, хотя и не такой могучности, как старший брат, и густая русая борода рыжиной не отливала. Младший брат Евсей был высок и худощав. Взглядом был быстр, в движениях порывист, суховатое лицо удлинялось светлой бородкой. Он и отпрысками изобилен не был — всего четверых пока на свет Божий вывел. В четвёртом доме хозяйствовал старший сын Филимона — Фёдор с молодой женой Евдокией, плодовитость воспринявший от отца и имевший уже трёх потомков. Ещё одно подворье занимала его тётка — вдовица Полина со своим выводком.

Вот такую демографическую справку выдал Филимон в ходе недолгой беседы. Гости активно заинтересовались лодочными мо-

торами пришельцев, и когда посетовали, что единственный имеющийся в их хозяйстве «Вихрь» не работает, быстро нашлись умельцы, вызвавшие это дело поправить. Пока братья прощались, в их лодку забрался геолог Витя Лакомкин и бурильщик Петя Забиякин с ящиком инструментов и запчастей, а когда отчалили, Филимон обернулся и очень серьёзно произнёс:

— Возврутся ваши мужики на отремонтированном моторе. А коли вера наша крепкая им по душе придётся, так окрестим, да и оженим. Невесты у нас имеются, а вот с женихами туго. Тогда уж не взыщите и не ждите! — Широкое лицо его осветилось добродушной и одновременно хитровой улыбкой. С юмором здесь было всё в порядке.

День прошёл в делах привычных и размеренных, а когда солнце уже падало в тайгу, на другом берегу затрещал движок, и вскоре лодка принесла восояси ремонтников в сопровождении уже других людей. Фёдор, старший сын Филимона, с женой Евдокией пожаловали в гости, и хотя сами отказались от застолья, выложили из объёмистых корзин щедрые гостинцы: свежее испечённый хлеб, куски лосиного мороженого мяса из ледника, копчёную рыбу и диво таёжное в кринках — мёд и кедровое масло. Виделось по таким дарам, как основательно и толково обустроили свою жизнь наособицу эти люди.

Над рекой парила вечерняя дымка, у костра сидели любители поздних посиделок, а палатки светились изнутри светом керосиновых ламп. Евдокия находилась в женской опочивальне, откуда временами доносились смех и весёлые голоса. Фёдор принял предложенную ему кружку свежезаваренного чая, и Савелий заметил, что выпил он этот чай чересчур быстро, поглядывая на палатку, где была его жена. Тогда до Савелия дошло, почему все сегодняшние гости вежливо, но твёрдо отказывались от угощений. По древнему старообрядческому закону нельзя принимать пищу и питье из рук и посуды нечистых. А все приплывшие сюда и были нечистыми — людьми даже не иной веры, а вообще безверными. И при всём добросердечном отношении закон этот преступить было нельзя. Фёдор почему-то счёл возможным отойти от правила, однако не хотел, чтобы супружница знала об этом. Хотя чувствовалось, что он голова всему, что касается его семейства.

Непременный костёр, завершающий день, давал домашнее чувство семейного единства всем, кто собирался вокруг него на вечернюю порцию дыма. Однако разговор с гостем особенно не разгорался, хотя интерес к нему был у всех велик. Многие просившиеся наружу вопросы тормозились из мнительного опасения неуместным словом насторожить или возмутить человека верующего. Причём не просто верующего, а из особой людской породы, в своей

таёжной отъединённости неизбежно имеющей и склад мыслей, и способ жизненного устройства иной, нежели у детей города эпохи развитого социализма. Нужный аккорд для начала беседы нашёл Георгий Фёдорович, заговорив на житейско-бытовые темы:

— Я вот, Фёдор Филимонович, интересуюсь, а где вы бензин для лодочного мотора брали, когда он у вас в исправности был?

Фёдор оживился и с охотой отвечал серьёзными словами, но почти непрерывно улыбаясь:

— Так оттуда же, откуда и сам мотор, и одежду, которую носим, да и многое другое. К нам раз в полгода заготовитель на вертолёте прилетает. По весне мы ему пушнину сдаём, по осени бруснику, голубику, гриб сушёный, кедровый орех. Взамен привозит то, что мы ему заказываем — одежду, муку, соль, сахар, охотничьи припасы. Так и горючее, и инструмент, в каком нужда имеется.

Ещё спросил Георгий Фёдорович, не реагируя на подталкивающий его в спину чей-то кулак:

— А не дешевите ли вы с пушниной? Цену-то ей хоть знаете настоящую? Поди, обдирает вас этот заготовитель.

Фёдор спокойно вздохнул:

— Так Бог ему судья, а у нас есть всё, что нужно для жизни, а сверх этого стремиться — это в грехах погрязнуть. Стоит деньги заиметь, и будет суета и томление духа. Тётушка моя Полина через то и овдовела. Муж её покойный, Евлампий, надоумился сам поплыть на моторке в Полигус пушнину продать, и не вернулся. Через месяц уж нам известно стало, что убили его там. Кто и как — неведомо. Похоронили без нас, без отпевания, на местном кладбище. Батюшка мой, тётушка и оба дядюшки на другой лодке всё-таки добрались до этого посёлка, крест на могиле поставили, да молитву поминальную сотворили.

Фёдор говорил ровным бесстрастным голосом, и это тоже было удивительным для слушателей, привыкших к эмоциональным бурям по поводу грязной тарелки или перегоревшей лампочки, а тут смиренно о делах убийственных. Когда он замолчал, слушали тихий лепет речной волны, будимой ветром, и Савелий всё же решил на свой вопрос:

— Фёдор, а где ты жену себе нашёл? Здесь, как я понял, все девушки твои сёстры, родные либо двоюродные.

Лицо молодого мужа осветилось вызванными этим вопросом приятными воспоминаниями:

— Так не одни мы в здешних местах живём. Здесь недалече...

Услышав эти слова, Савелий заулыбался, немного поворотив голову, чтобы не смутить гостя. За этот полевой сезон он не раз слышал фразы, начинающиеся этими словами, и уже знал, как они заканчиваются. Как он угадал, так и прозвучало:

— Здесь недалече, вниз по течению, вёрст двести всего будет, есть большой посёлок. Бурный прозывается. Там наших единоверцев много проживает, семей 20 однако. Дусю свою я оттуда и сосватал. Шесть годов уже вместе живём.

Он посмотрел на светящуюся изнутри женскую палатку, откуда доносился голос его жены, а затем, почему-то голос свой приглушив почти до шёпота, наконец сам спросил:

— А вправду в городах такие аппараты имеются, через которые можно увидеть, чего раньше было или за тыщу километров от тебя происходит? Мне в Бурном люди об этом сказывали, которые в больших посёлках побывали, да вертолётчики подтвердили.

Сборище недоуменно молчало, не сразу распознав, о чём он любопытствует. Быстрее всех врубился Лакомкин: — Ты про телевизор, что ли, спрашиваешь?

— Во-во, так его, однако, и называли.

Из темноты незаметно объявилась Евдокия. Она, вдоволь наговорившись с геологическими барышнями, обеспокоилась обратной дорогой до дома. Плотное одеяло облаков закрыло луну, и в темноте не было видно даже реки, так что к лодке пошли под светом фонарей. Для освещения водного пути один фонарь вручили Евдокии. Супруги отплыли, и провожающие в благодушном довольстве гостями и собой наблюдали, как удаляется от берега луч света, пересекающий насторожившуюся тьму. Хотя не совсем ясно и было, кто тут гости, а кто хозяева.

* * *

Маршрут на Светлану осваивали расширенным коллективом. Привычную уже спарку Виктор — Савелий усилили неунывающим Васей Головёшкиным, да и Фёдор к ним примкнул. У него свои дела были по пути с геологами. Потомственное охотничье зимовьё с лабазом находилось в верховьях речушки, куда и направлялись поисковики.

Польза была взаимной. Фёдор заведёт их в свою избушку на ночёвку, а они, в свою очередь, помогут ему притащить побольше продуктов — запас на зимний охотничий сезон. Чтобы уменьшить вес поклажи, Виктор не взял карабин, ограничившись ракетницей, и сей факт аукнется в самом неожиданном развороте событий. Но это будет потом, а в первый день маршрута поместили запахом своего пота 35 километров тайги вдоль берега Светланы, и ещё засветло без происшествий дошагали до избушки Фёдора. Здесь их ожидал сюрприз, очень неприятный для хозяина, однако весьма любопытный для его спутников: лабаз был порушен медведем. Вокруг развороченного схрона трава была присыпана крупой, солью, мукой. Хозяин уничтоженного добра приговаривал в расстройстве:

— Ах ты бедоносец! Вот напроказил! Ведь повадился, баловник, и уж не впервой, да теперь и не в последний раз...

Савелий с интересом слушал эти сетования и представлял, какие маты сейчас бы потрясали окрестности, будь на месте кержака Фёдора разорённый медведем охотник из обычного советского села. А Фёдор, как бы размышляя вслух, продолжал:

— Не хотел я его стрелять, думал, тайги обоим хватит, уживёмся по-мирному, да, видно, всё же придётся.

Савелий удивился:

— Как же ты узнаешь, какой именно медведь тебе навредил? У него на морде, что ли, написано, или взгляд выдаст?

— Это в городах ваших не дознаться, кто дом обокрал, а я уж не ошибусь, когда его встречу. Угодья у нас с ним общие, и чужие здесь не бродят.

Зимовьё было тесноватым для четверых, низкий потолок гладил волосы на затылках, но всё же лучше, чем в палатке, которую ещё бы и тащить пришлось. Печь, мастерски сложенная из крупного речного булыжника и покрытая листом железа, двое широких нар, застеленные лосиными шкурами, на столе керосиновая лампа и чугунок. Вот и вся обстановка. Окна не было. Нечего здесь разглядывать, да и стеклить нечем. Лакомкина заинтересовала дымовая труба, уходящая через потолок наружу. Он даже зачем-то потрогал её и удивился:

— А ведь это обсадная труба, диаметром 127 миллиметров. Значит, здесь до нас кто-то чего-то выискивал.

Савелий вспомнил шурф, в который упал месяц назад, но смолчал. Ленё было говорить.

Хозяин пошуровал под нарами, извлёк оттуда топор, пилудвухручку, взял своё ружьё и куда-то исчез. Всё понятно — инструмент для заготовки дров выдан.

Виктор с Васей успели отпилить только два чурбака от поваленной сухой лесины, а Савелий только один расколоть на поленья, как громыхнул близкий выстрел. Занятие остановили, не сговариваясь, и насторожённо переглянулись, а Вася спросил непонятно у кого:

— Он чего, уже бандита грохнул?

Неожиданно и бесшумно возник Фёдор, держа за шею убитого глухаря. Обронил на ходу: «Вот и ужин прилетел». Вася вполголоса заметил: «Н-да, как в кладовку сходил за мясом».

Ужин сварили на костре, чтобы не топить печь — иначе в тесной избушке было бы не продохнуть. Несмотря на усталость от дневного перехода, ещё посидели за вечерним чаем.

И опять с заметным стеснением Фёдор неожиданно спросил:

— А в армии служить трудно?

Вопрос восприняли без удивления, так как теперь понимали,

что здешнее мужское население военкоматами не охвачено, и достигшие призывного возраста юноши продолжают упражняться в стрельбе по таёжной дичи, а не по мишеням, изображающим человеческие фигуры. Лакомкин вставал в строй только на праздничных демонстрациях, а Головёшкин без вдохновляющего действия чифирия сегодня помалкивал. Пришлось отвечать Савелию:

— Да как тебе сказать? В меру трудно, без меры нудно.

— Это как так? — недоуменно напрягся Фёдор.

Савелию стало понятно, что ощущение нудности и само такое понятие для его таёжного ровесника неведомо.

— Попробую объяснить, как смогу. Вот призвали меня служить в танковую часть, чтобы научить, как от супостата Родину защищать...

Здесь рассказчик остановился, подумав, что теперь Фёдору нужно ещё растолковать, что такое танк. И объяснил вкратце, простыми и доступными словами, как если бы перед ним был пятилетний пацан. Фёдор слушал его с приоткрытым ртом, поматывая от изумления головой.

— Чего только люди не напридумывали для смертоубийства друг дружки!

Мелькнула мысль рассказать ещё о ядерных ракетах, но Савелий вовремя одумался, пожалев парня. Каково ему будет узнать, что и его жизнью, и жизнями всех родных и близких, и деток его малых, и жены его Дуси может распорядиться кучка каких-то дядек, находящихся в невообразимой дали отсюда.

Тогда, продолжив рассказ об армии, он попытался украсить юмором всю бессмысленность потраты сил и времени не на освоение воинского ремесла, а на выполнение дебильноватых прихотей командиров. Примеров было уйма, но он привёл лишь один, хотя и не очень значительный. О том, как по приказу старшины всем взводом целый день копали траншею, не зная её назначения и лишь предполагая, что это очень нужно для укрепления обороноспособности страны. А через год случайно он увидел эту траншею, заросшую бурьяном. Не было смысла в траншее. Говорить было трудно, приходилось тщательно подбирать доступные пониманию таёжника слова и разъяснять непонятные. Устав от таких лингвистических упражнений, он спросил сам:

— Скажи мне, Фёдор, а ты вообще грамоту знаешь? Читать-писать умеешь? А какой формы Земля, представляешь?

Сказав это, Савелий примолк, испугавшись, что собеседник обидится. Ошибся. Потомственное простодушие и незлобивость были уже природными качествами характера Фёдора, и способности обижаться он просто не имел.

— У нас, друг, неграмотных не бывает. Я учился читанию и писа-

нию от матушки моей, счёту батюшка обучил. Таково и остальные. Потом старшие братьевья и сёстры младших этому учат. Из учебников у нас есть арифметика и география, а другого нам не надобно — бесовство одно. Собрание книг хранится немалое — рукописных и печатных.

Фёдор говорил ласковым и одновременно твёрдым голосом, и это удивительно сочеталось с его кротким взглядом и мощным разворотом отцовых плеч. Тяжёлые руки зависли на коленях. После небольшой паузы он вдруг заговорил с деловитым оживлением:

— А меня вот не весь шар земной, а ваши местные карты интересуют. Шибко они у вас, говорят, подробные — каждый ручеек и болотинка обозначены. Я хоть сызмальства здесь топчусь, но ведь всё по памяти, а иной раз и ошибусь, да блудану маленько.

— Ну, это запросто, проблемы нет, — Виктор поднялся и скоро вынес из избушки планшет, поясняя на ходу: — Только у нас с собой квадрат по этому участку, а остальное у начальника партии хранится под замком, но когда вернёмся, я тебе срисую всё что нужно.

Нужно упомянуть, что все топографические крупномасштабные карты имели гриф «Секретно», выдавались в «1-м отделе» экспедиции под роспись и потеря хотя бы одного листа была бы ЧП серьёзным. Однако трудно представить, что за ними будут охотиться «коварные агенты империализма» и что этим «гнусным наёмникам иностранного капитала» важно знать в подробностях изгибы таёжных речушек. Тем более, что наступили времена, когда космический спутник мог запечатлеть газетный заголовок. Но это так, между прочим и к слову сказать.

Пока Фёдор при свете костра увлечённо водил пальцем по зелёному листу, что-то нашёптывая сам себе, мужики пошли укладываться на покой. Завалились, не раздеваясь, на лосиные шкуры, положив под головы вещмешки, набитые травой, и укрыв ноги бушлатами. И была тишина великая окрест, только в животах вкрадчиво бурчал горох вечерней похлёбки, переходя из органической массы в энергетические калории.

* * *

В следующий день всяк занимался тем, зачем сюда и пришёл. Фёдор восстанавливал разорённый лабаз, геологи отработывали самое верховье Светланы вплоть до её истока, где вода пробивалась еле заметным ручейком из-под скальных глыб. Маршрут был забавен тем, что приходилось не идти, а прыгать по огромным валунам долерита, которые были так обкатаны рекой и временем, что часто представляли собой почти идеальные шары, между которыми вяло сочилась вода.

Узкое русло, стиснутое отвесными скалами, было без всяких при-

знаков растительной и животной жизни. Редкая зелень маячила где-то наверху, на сизом фоне помрачневшего неба. В этом жутковатом каменном мешке рождалась речка Светлана, а казалось, что кончается мир.

Отобранных проб было немного, поэтому на обратном пути так распрыгались по валунам под изрядный уклон, что даже почувствовали удовольствие от этой скачки.

На излёте дня, допрыгав до избушки, обнаружили восстановленный Фёдором лабаз и его самого, требушившего глухаря. Когда кто-то засомневался вслух, а не напрасны ли его строительные труды, он хитровато улыбнулся: «Да управлюсь я с этим вредителем до холодов. В берлоге ему не зимовать».

Чувствовалось, что похвальбы здесь нет, и поэтому верилось сказанному, хотя и не зналось — как так медведя завалить? Это всё же не поросёнок, который в стайке топчется и своего убойного срока дожидается, сам того не зная.

По утреннему холодку двинулись восвояси. Вначале налегке, но по мере сокращения расстояния до дома постепенно нагружались камнями и бутылками, которые оставляли на видных местах, когда шли к истоку.

Комариное войско сильно поредело, уступив воздушное пространство мошкаре-мокрецу. О, это была совсем другая песенка! Комар теперь казался просто милым шалуном по сравнению с мошкой, которая умудрялась забиваться даже под тугие манжеты энцефалиток и стянутые на горле тесёмки накомарников. Комарика можно было хоть прихлопнуть, влепив самому себе пощёчину. С мошкаррой такие жесты были наивны и бесполезны.

Зато изнуряющей жары не было, день был даже холоден, и это значило, что обильный пот не разъедал пожёванную мошкой кожу. Молчаливо и резво скакали по курумникам, перелазили через стволы деревьев, рухнувших на берег в результате недавних обвалов.

Уже мышцы и желудки просили о полуденном передыхе и банке тушёнки, как случилось то, о чём в чрезвычайно тонком культурном слое общества говорят: «Форс-мажор», а в широких народных массах попросту: «Ни хера себе, сказал я себе!».

Река в этом месте изволила сделать крутой поворот вправо, огибая высокую скалу, и когда, следуя её прихоти, парни сделали тот же манёвр, то остолбенели — навстречу им неторопливо и развалисто брёл медведь. Вот и настал тот самый миг, когда Виктор сокрушённо пожалел об оставленном дома карабине, а остальные мысленно отmaterили его за это. К мысленным матерщинникам не примкнул Фёдор — он неуловимым движением снял с плеча двустволку и шагнул навстречу зверю. Медведь остановился, разглядывая прохожих, показал им, какие у него страшные клыки, и с ленивым,

барственным достоинством поворотил в сторону кручи. Люди не входили в его разнообразный рацион, причём в таком количестве. Всем своим видом он показывал, что не убегает, а просто решил поменять направление своего дневного моциона. Почти отвесная крутизна скалы не позволяла ему быстро и энергично взобраться наверх. Камни вываливались из-под лап, с глухим стуком летели вниз, плюхались в воду и наконец он сам кубарем скатился обратно на узкую, пологую часть берега. И вот тогда, с развёрстой клыкастой пастью, он явил себя во всём своём жутком великолепии: поднявшись на задние лапы, разорвал тишину предупреждающим рёвом: «Я здесь хозяин!».

Фёдор, приблизившийся к нему на несколько шагов, поднял ружьё.

Мозги столбняком стоящих поодаль геологов стебанула общая мысль: «Что он делает? У него же патроны с дробью, на птицу!».

Но дробь уже кучно хлестнула по медвежьим глазам, и ослеплённый свинцовыми жалами зверь всё же рванул туда, откуда принеслась боль и тьма. По чутью, на запах, ставший мгновенно вражьи и ненавистным.

Но острый тесак охотника уже вонзился между его рёбер, разрывая мышцы и прокалывая сердце. Тело ещё жило, когти рассекали воздух, но не настигали череп врага, миг лишившего его жизни. А сердце уже не могло гнать кровь к мощным лапам, и они, ослабев, могли теперь только скрести камни, а потом и совсем замерли.

Теперь Фёдор сидел рядом с самым сильным здешним хищником, ставшим просто тушей; под ногами у него валялся окровавленный охотничий нож, из располосанного на предплечье рукава текла кровь. Предсмертным замахом медведь всё же достал его руку.

Спутники его стояли деревьями на том же месте, где их застало действие. Выйдя из одеревенения, они бросились к нему, быстро перевязали рану, длинную и глубокую — будет память о когте. Благо, аптечка с бинтами оказалась в рюкзаке.

Потом трогали уважительно и самые когти убиенного, и тёплый мех, ещё не превращённый в шкуру. Головёшкин, демонстрируя бесстрашие, даже приподнял медвежью губу, чтобы рассмотреть клыки, но тут же отпрянул, поскольку повергнутое тело дёрнулось в последней конвульсии. Раздался едкий смердящий запах — в этой окончательной судороге зверь испражнился, посылая людям своё бессильное проклятие.

Прозвучал голос Лакомкина:

— И что теперь делать будем с такой горой? В нём центнера три веса будет.

Ополаскивавший в реке руки и лицо Фёдор поворотился:

— А ничего делать не будем. Вы перекусите скоренько да ступай-

те с Богом домой, а там моим всё обскажите. Пущай отец али ещё кто на моторке сюда прибудут. Здесь глубина реки уже позволяет нормально добраться, а я пока разделкой займусь.

Филимон молча выслушал, не перебивая вопросами, огладил широкой ладонью бороду, и наконец ответствовал неожиданно обширной фразой:

— Вона как.

Мужики недоуменно переглянулись, глядя на его спину, удаляющуюся к избе. У двери он обернулся: — Спускайтесь вниз, я вас сейчас на лодке к своим доставлю.

День оставался позади, энергичный и памятный. Прожитый, пройденный, почувствованный, не продуманный. Не привык Савелий продумывать ушедшее, а тут, когда северное солнце готовилось уж попрощаться с ним до завтра, он вдруг думой затомился.

Взяв удочку, отправился рыбачить. Не столько хотелось свежего хариуса, сколь звала необходимость побыть одному и осмыслить, что за чувства местные посетили его.

Здоровенный хариус давно оборвал крючок, леска просто поло- скалась в воде, а он сидел на прибрежной гальке рядом с удочкой, смотрел на багровую тучу, и было в нём теперь не мысленное знание, но необъяснимое словами ощущение, что здесь и сейчас, на каменистом берегу Вельмо, начинается его духовный маршрут. Карты не было, проводников и спутников тоже, но стало ясным, куда и зачем идти. Хотелось поговорить с кем-нибудь из старообрядцев уже не на тему их быта и порядков, но совсем о другом, чего не прочтёшь в книгах столпов соцреализма и не услышишь на лекциях по историческому материализму. К другой пище уже несколько поколений не допускалось — строгие пастухи зорко бдили за своим стадом.

Заглянул в палатку к Вадиму. Начальник что-то писал за небольшим столиком при свете керосиновой лампы. Густо пахло распылённым из баллончика репеллентом.

— Вадим, я моторку возьму, к староверам схожу.

— Чего делать там на ночь глядя?

— Поговорить надо.

Вадим оставил писанину и с улыбкой посмотрел в лицо Савелию.

— А-а-а, зацепило-таки инженера-комсомольца, парня городско- го!

Но увидев, как это лицо, такое благодушное и открытое несколько секунд назад, начало каменеть, замыкаясь отъединённо, быстро поправился-объяснился: — Да ладно, не обижайся, я же без ехидства. Мне и самому они очень интересны.

Его тёмные круглые глаза ещё пуще округлились от недолгой задумчивости, однако, сморгнув это состояние, он озабоченно произнёс:

— Отдохнул бы лучше, не то завтра трудненько придётся.

— Так я думал, что у меня завтра заслуженный роздых будет.

— А это как захочешь, но, я думаю, ты не откажешься. Короче, завтра у нас сенотаскательный и стогометательный день намечается по просьбе Филимона. Вот заодно и поговоришь, сколько тебе надо. Хотя я думаю, что во время этих покосных делов не до разговоров будет. Ну, это как получится.

— Чего-то я не заметил здесь никаких покосов, хотя скотину у них видел. И вправду, а где они сено заготавливают? Тут почти горно-таёжный рельеф.

Вадим объяснил, что траву выкашивают в неширокой пойме Вельмо выше по течению, а зимой по льду да лошадьми таскают до дома. Когда местные увидели геологическую грузовую флотилию, то и надоумились воспользоваться ею.

— Короче, — подытоживал Хлопов, — я назавтра объявил «день солидарности с трудящимися Эвенкийского автономного округа», а тебе сейчас предлагаю обсудить со мной оперативный план работ, — и он забренчал замком сундука, где хранились самые оберегаемые партийные ценности — топографические карты и спирт.

Савелий, сообразив, что сейчас извлекутся отнюдь не секретные бумаги, мягко произнёс:

— Не, Вадим, лучше без предварительного плана, как-нибудь по обстановке. Не то что-нибудь не совпадёт с нашей рекогносцировкой, будем тогда психовать да ругаться. Да и устал я, однако.

Вадим так и замер в наклоне над открытым уже ящиком.

— Однако серьёзно у тебя мозги стряслись. Ну ладно, это не во вред.

На том и расстались до утренних птичек.

* * *

По рассветной туманной дымке флотилия двинулась к покосным лугам. Многолюдная теснота царила на плотках, понтонах и лодках. Поутру всех поголовно вдруг охватило желание испытать себя в крестьянском труде, и Хлопову пришлось даже осадить некоторых. Вил на всех не хватало, и дома остались буровики и женщины. Вся мужская часть общины, включая пацанов-подростков, распределилась по плавсредствам вперемешку с геологами, издали нельзя было понять, кто есть кто. Бороды, капюшоны, вилы в руках острыми вверх. Зрелище внушительное и где-то комическое — словно на битву собрались.

Первой лодкой правил сам Вадим, рядом с ним оранжевым факелом реяла на ветру борода Филимона. Следом вёл посудину Лакомкин и замыкающей сцепкой рулил Савелий. Мерно молотили двигатели, наполняя чужеродным звуком речную долину, и вдруг Савелий

услышал пение. Вначале негромкое и разрозненное, а потом всё более слитное и мощное, пение доносилось с прицепленного к его лодке плота. Это пели старoverы. Радовались души человеческие утренней речной прохладе, небу бездонному, лесу, плывущему мимо глаз, и от этой благоговейной радости лилось по речной долине:

— Да веселятся небесная, да радуются земная, яко сотвори державу силою Своею Господь...

В звучный поток взрослых голосов уверенно втекали, влетались детские ручейки, и плавно неслоь вместе с течением реки:

— Благодарни суще Господи о твоих великих благодеяниях на нас бывших, славящих Тя хвалим, благославим, поём и величаем...

Из-за тарактения моторов не все слова были различимы слухом, а и услышанные не совсем понимались, однако Савелий чувствовал, как духовная мелодия, минуя сознание, вливается в душу, наполняя её радостью бытия собственного и бытия общего. И ещё он точно знал, какую песню от полноты чувств грянули бы его товарищи и он сам. Наверняка о том, как удалой атаман, выплывший на расписном челне из-за острова на стрежень, убивает беззащитную женщину в угоду пьяной ораве. Есть чем восхититься! Но эта мысль была мимолётна и не омрачила взгляда.

За очередным плавным поворотом увиделись небольшие копёшки сена, торчащие тут и там по левому берегу на протяжении целого километра. Во время последнего сплава в сумерках их просто не заметили.

Мускулистые руки, орудующие вилами, быстро разделились на умелые и неумелые. Дело было нехитрое, но требовало сноровки. Присматриваясь, как берут и тащат навильники таёжные крестьяне, помощники-сенотаскатели быстро вошли в ритм, и работа спорилась. Вилы вертикально втыкались в пласт сена, черенок прижимался к земле, правая нога наступала на его конец, руки рывком вздымали над головой косматый груз, а глаза из-под душной нахлобучки выбирали путь на паузок. Главным теперь было не пройти мимо перекинутого на берег трапа.

К воде двигалась огромная копёшка, а несущего её человека не было видно, только внизу её заметны были быстро семенящие ступни. И только когда сено ухнулось на понтон, все увидели Тимошку — 12-летнего сына Евсея. Кто-то из старoverов ободряюще-задорно крикнул:

— Ну Тимоха! Ну силач! Скоро и отцу за ним не угнаться!

Раздался дружный смех. Смеялись только местные. Савелий понял, почему ему и его товарищам не было смешно — в шутке не было ехидства и каверзы. Здесь и юмор был другим.

Солнце не успело добраться до полуденной вершины своего дневного пути, как сено было погружено, работники попадали на

плавучие стога, и водный караван тронулся. Удачным было то обстоятельство, что теперь шли по течению, иначе бы моторы такой груз не вытянули. Когда прибыли к поселению, труды повторились в обратном порядке. Только теперь таскать зимнюю коровью жизнь пришлось дальше от берега, чтобы не смыло весенним паводком.

Когда умелые мужики уже вершили стога, появилась Матрёна — жена Филимона. Маленькая, шустрая бабёнка в чёрном платочке. Трудно было и представить, как такое тщедушное тело дало жизнь девяти детям. Она что-то проговорила мужу и быстро взбежала по тропке, ведущей к домам. Филимон зычно загудел на весь берег:

— Дело доброе сегодня сделали, благодарствуем и просим всех помощников не побрезговать столом нашим! Две баньки истоплены, пара на всех хватит.

Хозяев поблагодарили за приглашение и отплыли на свою сторону, чтобы отогнать на место грузовые посудины и вытряхнуть из трусов травяной колючий мусор. Через полчаса вся ватага с чистым бельём в руках уже поднималась по тропинке навстречу кержацкому хлебосолью. Но вначале была баня. И была баня у Фёдора. Оказалась она большой, жаркой и чистой. Лавки и полки ножом скоблены, на полу даже соринки не заметно. Парились и мылись смачно и увлечённо, потом в благости телесной и душевной утекали в дом Филимона к застолью. Парили чугушки со щами, затомлёнными в русской печи, золотилась жареная рыба, румянилась лосятина. Всё по-простому, но помногу.

Вадим притащил с собой пятилитровую канистру со спиртом. Когда он тихонько сказал об этом Филимону, тот довольно громко произнёс:

— Нет, сие есть зелье бесовское и нам его не можно, а вот настойки нашей отведайте. Она вино нам заменяет, и в разумных пределах и в должное время Господом не возбраняется.

На столе появились два глиняных кувшина с розовой жидкостью. Когда женщины ставили на стол посуду, Савелий понял, почему она не была разложена заранее. Тарелки, ложки и кружки для гостей доставались из отдельного шкапа. Значит, древнее старообрядческое правило о разделении посуды с «нечистыми» всё же соблюдается. Однако это несколько не задевало — что есть, то есть. Филимон сотворил молитву, и приступили к трапезе. В застолье участвовали братья Филимона и несколько взрослых парней. Разговоры кружили вокруг охоты, рыбалки, хозяйства. Никандр поведал, какой умный зверь волк, и что добыть его бывает труднее, чем медведя, а бурмастер Георгий Фёдорович рассказал, какая коварная порода долерит и как часто в нём заклинивает буровое долото. Совсем лёгкое дело, когда глинистые сланцы идут, их бурить — просто удовольствие.

Филимон, подавшись через стол к сидящему напротив Вадиму, тихо спросил:

— Это правда, что в стране опять новый правитель, как мне в Бурном молвили, украинец какой-то?

Хлопов без удивления, спокойно разъяснил:

— Это Черненко, что ли? Да какой он украинец — так, фамилия одна.

— А не слышать, как он к нам, к сибирским сарообрядцам относится?

Пока Вадим всерьёз осиливал недоумение, в разговор встрял Петя Забиякин, имевший склонность насмешничать даже над закатом и плывущими по небу тучками.

— Не беспокойтесь, Филимон Силуанович, очинно он вас даже уважает. Слухи доходят, что и сам на старости лет с удовольствием бы к вам примкнул, но заботы государственные держат.

Филимон мирно улыбнулся:

— Зря, Петя, потешаешься. Наш род от зверонравного грузинца столько претерпел, что я не беспокоюсь, а хочу быть готовым ко всем испытаниям, каковые антихрист нам может приготовить, если Господнее поущение на то будет.

Савелий вдруг обнаружил в себе нежелание быть пьяным. Отхлебнул за компанию полкружки, плотно поел и тихо вышел на воздух. Присел на ступеньку крыльца, находясь в уверенности, что долго ему здесь одному не быть. Так и вышло: через несколько минут рядом уместился Фёдор, и они стали молчать совместно. Наконец Савелий прекратил тишину:

— Фёдор, а как ваш род в здешних краях очутился и с каких времён? Ты знаешь об этом что-нибудь?

— Не только что-нибудь, я всё знаю. У нас в книге особой всё записано. Сейчас покажу.

Он вынес из избы фолиант, обтянутый какой-то кожей.

— Вот. Это наше «Родословие». Здесь предками о себе писалось, здесь и о нас напишется, ежели достойными того будем.

Он осторожно переворачивал страницы, заполненные рукописными строчками. Савелий заглядывал в красиво закруглённые чьей-то неведомой рукой буквы. Фёдор объяснял:

— Вначале идёт «История об отцах и пустынножителях». Это о протопопе Аввакуме и его сподвижниках. Но это очень давние времена.

Он перевернул часть страниц.

— А вот здесь о том, как старообрядческий народ при царе Петре ушёл за Урал. Это началось в 7222 году. Вначале шли пустынножители, за ними потянулись и миряне. Когда началось «великое смятение» в 7425 годе, а по-вашему это «Октябрьская революция

1917 года», прадеды мои жили в Колыванской тайге и на Чулыме, «в томских пределах». Места были освоены, хозяйства имелись прочные, только потом, как здесь написано, «восторжествовали слуги Антихриста власть имея многая». Короче, громить начали обитатели, а мирян сгонять в колхозы. Пришлось и оттуда уходить на север, на Енисей. По вашему счислению лет вышли в 1936 году. Отец мой ещё младенцем был, ничего не запомнил, а вот дед Силуан рассказывал, как одолели почти две тысячи вёрст в два года.

Савелий попробовал увидеть мысленно картину, как шёл через тайгу травимый народ с младенцами, древними старцами и старичками, спасая своё «божество» — иконы, книги, ризы да ещё и скот гнал. Причём пройти нужно было так, чтобы власти не прознали, а это значит, в обход селений. Непредставим был его сознанию этот великий переход, но он был фактом, и меркли перед этой правдой истории легенды об американских покорителях «Дикого Запада», истребляющих по пути индейцев, и ветхозаветный исход евреев из Египта, подкармливаемых в пути милостью Отца манной небесной. Староверов никто не подкормил и чащобы не раздвинул аки воды морские, лютую стужу не унял и комариные полчища не умерил.

И читал дальше Фёдор, старательно выговаривая каждое слово и вода грубым пальцем по строчкам: «...и пожиша по Енисею в тишине и безмолвии пребыша мирно до наступления весны 7459 года (1951 год), когда зверонравные антихристовы власти в бесчеловечии своём сделали опустошение, разорение и сожжение обитателей и поселений многия. Аще и прежде сего с воздуха многое время назираху, а в сие время по земли шаствующе явишеся поселение отряд безбожных варвар со оружием и палицами, аки на разбойников, жаждущево един бы час пожрети и истребити всех».

Савелий понял, что вначале обиталища таёжные были кем-то увидены с самолёта, и скоро туда прибыл отряд карателей от МГБ. От услышанного далее у него закаменели скулы и остановился взгляд. Рушились, рассыпались в прах все и без того уже нестойкие убеждения о самом справедливом государстве в мире, тлетворным смрадом понесло от слов «ум, честь и совесть нашей эпохи».

Фёдор читал: «Сии варвары по указанию своего предводителя во все проходы раступишася и окружиша, но никто же бе сопротивляясь или бежа куда, но вси смиренно пребываху во ужасе от внезапного нашествия дикообразных во множестве варвар. По первому требованию от старших отряда было дать им пищи, накормить всех пришедших 40 человек. Смиранные старцы всех накормиша и напоиша. А место для отдыха они избраша часовню, где по прибытии сразу же сия красоту обнажиша, святятыя книги и иконы попираху и сожигаху. Зде явная мерзость запустения творящеся от них на ме-

сте святе, скверными своими руками всю святыню истребляюще, богохульными словесы насмехающаяся и табачным дымом всюду обдыхающе. Главари безбожного отряда были по фамилии Щербин и Валов и обыскатель народа и вещей лютый тиран Сафронов и словоиспытатель Соколов».

Здесь Фёдор остановился и внимательно посмотрел на сидящего столбняком слушателя.

— Ты всё разумеешь, что я прочитываю?

Тот молча кивнул головой. Далее таёжный просветитель рассказывал своими словами, изредка зачитывая из книги. Арестованных крестьян погнали к реке строить плоты и попутно допытывались, как добраться до селений и скитов, которые остались неразгромленными. Многие знали путь, но молчали, «не хотяще быть предателями».

«Отец Израиль дерзновенно изрече: «Аз вем сих человек, но не я иду предати стадо Христово. Сей зверонравный Софронов в ярости бияше первое толстыми палками, потом тонкими прутьями без милости, потом вервию оцепив за тайные уды влещаще без милости и прочия многа истязания новым исповедникам содела, богохульная наругания и оскверни скверноглаголением».

— Уцелело два селения, где в числе прочих жил и дед мой Силуян Алексеевич и бабушка Пелагея Амвросиевна с детьми малыми. Это отец мой, дядья да тётя Полина. Были ещё ребятишки, но поумирали во время ухода из Енисейских мест. Как пишется здесь: «одержими боязнию убегающе аки елени и ради опасности от воздушных надзирателей ушли на Подкаменную». Это то есть сюда. Родители мои уже здесь поженились, и меня родили в мае 7467 года.

Здесь Савелий, немного ожив, улыбнулся и пожал собеседнику руку: — Спасибо, теперь буду знать, когда я родился по вашему летоисчислению.

Одногодка тоже ответил улыбкой, но глянул в лицо Савелию и озаботился:

— Однако пришиб тебя мой рассказ. Ты чего так расстроился?

— Стыдно, друг, за власть нашу поганую и за себя тоже.

— Да ты-то здесь при чём? Чего стыдишься? Да и прошло всё давно, живём сейчас, слава Богу, с добром и волею.

— А стыдно мне, Федя, что гордился я Советской властью как мамой родной, хвалил её сызмальства, хотя не самочинно, но и не отказываясь.

— Ты что же, думаешь, силён тот, кто на обиде злобу возвращает, а потом её в месть превращает? Нет, сила у того, кто прощает даже гонителей и мучителей. Спаситель сказал: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас».

— И что, ты любишь тех, кто громил и мучил дедов и бабок твоих?

— Нет, любить не сподобился. Для этого, наверное, святость иметь нужно, но жалость к ним в сердце имею — души свои бесценные они испоганили и сгубили, а замученные ими — жизнь вечную имеют. Они умирали смиренно и проклятия не слали.

Савелий тяжело вздохнул. Его разум впервые так тесно соприкоснулся с непривычными, однако влекущими к себе понятиями и пока пассивно сопротивлялся принять их истинами мгновенно и бесповоротно. Наконец выплеснулось:

— Ну вот скажи, если сейчас придут изверги, чтобы истребить тебя и ребятишек твоих, и Евдокию твою, ты что, будешь сидеть и смиренно молиться за убийц?

— Я не знаю такого слова — «если», я знаю только слово «есть».

— Ну а всё-таки ты представь себе! — не унимался Савелий.

— Ладно, для тебя уж представлю. Защищаться я буду, куда патронов хватит и силы нож держать.

Допытливый собеседник невольно посмотрел на руку, которая позавчера точным ударом завалила медведя, а теперь бережно держала на коленях отеческую книгу.

— А коли живым останусь, тогда уж и молиться буду за убиенных мной пособников Сатаны.

Тут староввер приобнял геолога за плечо:

— Да не кручинься ты! Ишь как разобрало. Пойдём в избу, глянем, как там мужики застольничают.

А поглядеть было на что. Филимон Силюянович, испив толику богоданного вина домашняя, глазами засверкала, гласом громкая читал Евангелие Божие. Застольники тихонько разговаривали между собой, разбившись на пары-тройки по интересам, а внимательным слушателем слова Божия был один Вадим. Он сидел напротив чтеца и совиным неморгающим взглядом неотрывно смотрел на водущевлённого таким вниманием проповедника. Савелий с первого взгляда понял, что слушатель вообще ничего не слышит. То есть хоть и слышит, но соображение отсутствует напрочь. То, что Филимон принимает за искренний интерес к Книге Жизни, есть обычный пьяный ступор. Непонятно только — осовел он от одной настойки или всё же втихую догнал себя спиртом. Вон у него и канистра под ногами выглядывает.

Савелий встретился взглядом с Лакомкиным и вопросительно вздёрнул головой вверх: «А не пора ли и честь знать да прибраться?». Виктор пожал плечами и повёл подбородком в сторону бочонка, в котором виднелось ещё изрядно настойки. Тогда Савелий так же молча кивнул на превратившегося в бюст начальника. Беззвучный собеседник ухмыльнулся и развёл руками. Однако че-

рез минуту поднялся, поблагодарил хозяев за радушие, пожелал здоровья хозяйке, послушания ребятишкам, охотницкой удачи всем остальным, и поисковая братия начала потихоньку раскланиваться и покидать горницу. Тем более, что курить всем приспичило, да и стеснённо чувствовали себя за столом, где матюгнуться нельзя. Оставалось выцепить начальника, который, исполненный духовного благоговения, усваивал «Второе послание коринфянам святого апостола Павла». Слабая и деликатная попытка увлечь его с собой успеха не имела. Вадим зыркнул глазами, несильно, но твёрдо пристукнул кулаком по столу: «А ну брысь от меня, блудники и греховодники! И зелье своё бесовское забирайте!» — он с силой двинул от себя ногой спиртовую канистру.

Филимон, отвлёкшись от чтения, выговорил наставительно:

— Человек к благодати Божией приблизился, а вы его силком хотите оттащить. Ступайте себе с миром, а начальник ваш у меня останется, ибо сказано в Писании: «Обративший грешника от ложного пути его спасёт душу от смерти». А коли сами спастись не желаете, то и другим препятствий не чините!

Перемахнув реку на двух моторках, прибыли к палаткам, шумно и возбуждённо гомоня, воодушевлённые неожиданным обладанием заветной канистрой. Полязгали кружками, похохотали, и уже заскучавшие чаровницы в шароварах присели рядышком, слушая рассказы о впечатлительном дне, как вдруг старый матерщинник Петя Забиякин пожаловался:

— А у меня, мужики, то ли с головой, то ли с речью чего-то сегодня не в порядке.

Обеспокоенные Петиным здоровьем, попросили объяснить.

— День побыл с кержаками, и теперь не могу материться. Хочу и не могу! Из всех нормальных слов выговариваю только «блин» и «ёлки-палки!» Как мне теперь с вами разговаривать?

Пухленькая, смешливая Светлана жалеючи погладила его по лысине:

— А что же ты теперь можешь, Петенька?

— Ну, разве только это, — и Петя пропел мармеладным голоском: «Я возвращаю вам портрэт и о любви вас нэ молю...».

И тогда к нему кинулся Головёшкин — грудь вперёд, локти назад, со слезливым криком:

— Не ссы, Петька, я тебе мозги щас вправлю!

Его шаткое тело перехватили и быстро унесли на раскладушку.

Лакомкин воспользовался этой суматохой и, спасая коллектив от завтрашних похмельных мук, прибрал злополучную канистру. На том события дня и закончились. Володя Филиппов заиграл на флейте, уводя всех за собой в моцартовские миры, и, как ни странно, никто не бунтовал против недопития.

* * *

Ближе к полудню Савелий заглянул в палатку Лакомкина:

— Витя, разговор имеется.

— Что ли и тебе налить? Ты же вроде вчера не пил?

Стало понятным, что пока Савелий с утра торчал на буровой, у Виктора действовал пункт скорой похмельной помощи.

— Ой, Витя, ты уж извини меня за беспокойство, у вас тут дела серьёзные, а я всё дурью маюсь. Скважину сегодня закончили, я последний керн взял, а у нас на этом участке ещё два маршрута.

— Ну и попрём!

— Куда попрём? Карты, маршрутные задания в сундуке, сундук под замком, ключ у Вадима, а Вадим у Филимона проповеди слушает.

— Ладно, поехали, посмотрим, что там за проповеди, может, и мы присоединимся.

С собой в помощь взяли Георгия Фёдоровича, завели моторку, и через десять минут входили в дом Филимона.

За столом супротив друг друга совершенно во вчерашнем положении сидели проповедник и вновь обращаемый. Других людей в комнате не было. Перед Филимоном была раскрыта книга, перед Вадимом стоял ковш с оранжевым напитком. Торжествующе и строго звенели слова: «Не придёт к тебе зло, и рана не приблизится телеси твоёму, яко Ангелом своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих».

Неофит, подпёрши голову рукой, плакал, и чёрная молодая борода его, начинающаяся у самых глаз, была мокрой. Филимон, глянув на вошедших, прервал чтение и радушно воскликнул:

— А вот и друзья твои пожаловали! Их души тоже к свету истинному потянулись!

Лакомкин уже явно собрался говорить, но Савелий опередил его, опасаясь, что тот может и нагородить чего-нибудь неуместного в стенах, где только что звучала Библия.

— Филимон Силуянович, вы уж извините нас, неразумных, но торопимся мы очень, и работа у нас остановилась без начальника. А к вам мы ещё придём, если на то дозволение ваше будет да время свободное. Или вы к нам вечером приплывайте, завсегда будем рады.

Пока он всё это произносил, Вадима извлекли из-за стола и с чрезвычайной деликатностью подвели к выходу. Ноги его ступали твёрдо, однако чувствовалось, что ему всё равно, куда идти или где сидеть. Только когда его садили в лодку, словно очнувшись, поглядел каждому из сопровождающих в лицо своим знаменитым неморгающим взглядом и прошептал: «Придут волки в овечьих шкурах...». После этого глаза закрылись, и голова упала на грудь.

Дома тело начальника осторожно возложили на раскладушку, заботливо подоткнув полог. Никто и не пытался насмешничать. К его состоянию относились с уважительным участием, как в случае серьёзной производственной травмы.

Ближе к сумеркам пожаловали Фёдор и его дядя Евсей. Ужин заканчивался, но когда Евсей поставил на стол бочонок, на скамейках опять стало тесно. Савелия общее воодушевление не достало, и он сидел на ящике и зашивал треснувшую мотню штанов, готовясь к завтрашнему маршруту. Фёдор опять был рядом. В мире, где он жил, у него было всё, что потребно человеку. Но было ещё и нормальное молодое любопытство: узнать, как живут там, где пища готовится на электроплитах, тепло идёт от батарей, а передвигаются люди на разных колёсных устройствах с моторами. А кому скучно становится, тому весёлые бабы и мужики из телевизоров песни поют и пляски показывают. Когда Савелий как-то рассказал ему, что некоторые люди в этих весельчаков влюбляются и называют своими кумирами, лицо Фёдора вытянулось от изумления: «Во бесовство-то где!».

Этим вечером Фёдор вдруг спрашивал о том, какие праздники теперь бывают у народа, и Савелий рассказывал, что всем очень нравится праздновать день, когда большевики захватили власть:

— В этот день населению выдаются большие портреты правителей, красные полотнища с прославляющими надписями. Потом все дружно идут на главные улицы городов и посёлков, чтобы хвалить и благодарить этих правителей за то, что в результате их мудрого и заботливого руководства у народа нашего теперь самая счастливая жизнь на всей планете, а скоро вообще наступит вечный коллективный оргазм, именуемый коммунизмом.

Ошарашенный таёжник поинтересовался:

— И что, прям так всем и полюбили хвалить и благодарить?

— Почти всем! В этот день разрешено пить водку и вино сколь угодно и громко кричать «Ура!». Милиция пьяных не излавливает, если только они друг другу морды не бьют и не писают на глазах у других людей, не сильно пьяных.

Пока слегка просвещённый таёжник усваивал услышанное, просветитель закончил шов, откусил нитку и вдруг поинтересовался:

— Ну как, ты бы хотел пожить в таком мире чудес?

— Фёдор медленно и молча помотал головой и озабоченно посмотрел в сторону, где вокруг бочонка образовался плотный уютный кружок. Там о чём-то проникновенно вещал голос Евсея. Подойдя поближе, услышали следующее:

— Я не к тому говорю, чтобы вы обманы какие строили, а к тому, чтобы старания свои малость поумерили. Сами рассудите — ежели в результате трудов своих найдёте то, зачем вас сюда снарядили, то

нам здесь жизни не будет, а это значица, опять придётся уходить куда подале. Да куда уж дале? Осталось только в тундру, к Ледовитому океану.

Георгий Фёдорович успокаивал:

— Ну и чего бегать-то? Не ранешные же гиблые времена. Веру вашу старую никто пресекать не будет, живите да молитесь, как хотите.

— Э-э-э, брат ты мой, не получится как хотим, а получится как другие решат, как позволят. Уж я-то знаю от отца своего и деда...

Подав голос Фёдор:

— Дядя Евсей, однако пора домой двигать. Мы же с тобой сегодня хотели сеть ставить.

— Вот и езжай, племяш, а я здесь ещё с геологами потолкую. Они меня и переправят, когда надо будет.

Фёдор насупился и негромко объяснил Савелию:

— Никуда я без него не поплыву — он у нас слабоват на зелье. Может и загулять, и до спирта вашего дорваться. Не удивляйся, не праведники мы, и в уединении нашем бес искушает. Пойдём, тоже черпанём из логушка, тогда ему мене достанется.

Савелий усмехнулся. Он-то уже знал, что такими наивными способами заведённого алкоголем не остановишь. А Евсей Силюянович, похоже, серьёзно завёлся. Его уже обнимал за плечо Забиякин и кричал ему в ухо:

— Не переживай, братан, никак не допущу, чтобы ваше житьё здесь нарушили! Сам все каменюки потоплю, а бутылки с водой расколочу!

Заметив грозящего кулаком Лакомкина, заорал пуще прежнего:

— И нечего меня пугать! Пусть хоть в тюрягу сажают — не приывать, а людей добрых в обиду не дам!

Савелий вспомнил о предложении Фёдора и, углядев на столе огромную полную литровую кружку, подал её своему новому другу. Когда, отпитая наполовину, она опять перешла в его руки, он услышал позади себя треск мотора. Резко обернувшись, он увидел, как от берега отходит моторка. Это Вадим отправлялся туда, откуда был извлечён несколько часов назад. Зачем он это делал, было известно одному Богу, однако становилось ясным то, что завтрашний маршрут, скорее всего, накрыт медвежьей шкурой. Однако деловитая озабоченность по этому поводу куда-то пропала, и Савелий, глядя на удаляющуюся лодку, тихо говорил сам с собою:

— Ну и ладно, куда нам спешить, зачем жилы рвать? Для кого стараться? Кто оценит?

Настойка уже обволакивала его мозг. Он повернулся к Фёдору:

— Вот ты мне скажи, а профессиональные успехи на Божьем Суде зачтутся?

Вопрошаемый, улыбнувшись, отрицательно покрутил головой. Ответ был ясен.

* * *

В день отплытия река была как-то особенно приветлива и тиха в своей предосенней грустности, как бы извиняясь за своё несносное поведение в последние пять дней. Днём шквальный ветер едва не сносил палатки, превращая нудный дождик в хлёткий косой ливень, а по ночам уже настоящий холод превращал лужи в хрусткий лёд и, вползая в спальники, одевал людей в свитера и шерстяные носки. Пришла пора — конец августа. Последние маршрутные работы пришлось именно на эти лихие деньки. Выводил в «мокрые заходы» молодой азарт, двигала настырность, а возвращались в тупом терпеливом безразличии к собственным телам, отжимая после из одежды литры воды и пота.

Савелию сожалелось о том, что из-за маршрутного напряжения не случилось ему поучаствовать в величественной церемонии прощания со старообрядцами, когда тело Вадима несли домой на подаренной ему медвежьей шкуре, а в качестве ответных даров вкатывали в лодки бочки с бензином и укладывали мешки с мукой, сахаром и солью. Делалось это всё не по хитрым договорённостям, а от размашистой амплитуды изъявления дружеских чувств. Узналось об этом лишь из скромных, скупых рассказов тех, кто своим ненавязчивым присутствием почтил памятное прощальное мероприятие. Вадим и сейчас торчал в своей лодке бурой кучей, с головой укрывшись дарёной шкурой. Видать, мужика знобило.

Медленно удалялся берег, переставший быть домом. О недавнем присутствии людей свидетельствовал лишь чёрный круг костровища да две похожие на доски зелёные портянки, забытые Петькой. Скоро и эти следы исчезнут, но Савелий знал, что именно этот таёжный проулок будет помниться ему пожизненно, не перемешиваясь со множеством других ожидающих его.

Спина надсадно болела после последнего захода, поэтому он, с удовольствием уступив место рулевого Георгию Фёдоровичу, нашёл себе мягкое уютное местечко в гряде спальников и завалился туда навзничь. По небесному полю ветер гнал куда-то небольшое смиренное стадо облаков и, впитывая взглядом голубое беспределье, он вдруг вспомнил читанное или слышанное где-то, что бывали люди, умевшие читать великую Книгу Неба, и перед ними открывались тайны прошлого и будущего. Однако никакие знаки ему не открылись. Молчала Небесная Книга. Зато в подсознании появилось странное необъяснимое предчувствие, что расставание с памятным местом не было окончательным и именно сейчас должно произойти какое-то событие, которое украсит последним

штрихом, казалось бы, уже законченную картину. И событие свершилось.

Он повернулся набок, удобнее уменяя болящую поясницу, и увидел моторную лодку, догоняющую их небыстрый караван. Лодкой управлял Фёдор, на носу сидел Евсей. Заметивший их Вадим заглушил мотор, ему последовали и другие кормчие. Фёдор подвёл свою лодку вплотную к командирскому судну и, притянувшись к нему верёвкой, о чём-то недолго говорил, после чего все находящиеся там начали махать руками и о чём-то громко и много кричать, из чего разобралось только одно: «Подваливай все сюда!».

Недолго маневрируя, к ним пришвартовались и остальные плавсредства. Сбитые в одну кучу, все они теперь представляли собой единый плавучий остров. Река, вобравши в себя множество притоков, была в этих местах довольно полноводна и больше не грозила неожиданными порогами и перекатами.

Евсей Силуанович стыдил начальника за то, что тот увёл отряд, не дав как следует попрощаться. Вадим смущённо объяснял, что ранним утром неудобно было переться к спящим людям со своими прощаниями.

— Ладно, мы народ не обидчивый, однако и вы не обижайтесь, коли от нас чего не так было! — шумел Евсей и вытаскивал из своей лодки бочонок. — Это чтобы всё по русскому чину было! — Ковши и кружки заходили по рукам, Евсея обнимали те, кто был поближе, и словами приветствовали, которые дотянуться не могли, потому как такой обычай русской старины все крепко заужавали. Савелий где на четвереньках, где скоком, морщась от боли в спине, подобрался ко всеобщему толковищу.

Фёдор пожал ему руку и спросил, что со спиной. Тот махнул рукой: дескать, ерунда, поскользнулся на камне, потянул мышцу, пройдёт.

— Ничё, мы пока молодые, это не страшно, а вот дядя мой, кажется, серьёзно приболел. Зараза какая-то странная, уж какой день его мучает. Я бы не повёз его к вам вдогонку, да самому хотелось напоследок слово молвить.

Савелий улыбнулся его речи, где вполне современные слова перемежались с древними.

— Ну, молви, мы внимаем!

— Мужики, если кому вконец обрыднут ваши весёлые удобства или совсем тяжело дышать станет, не забывайте — у нас тому, кто с добрым сердцем и честными мыслями, всегда место найдётся. Найти нас просто: по Енисею допрёшь до Подкаменной, а поворота на неё, никуда не сворачивая, греби до самой Вельмо. По ней, родимой, дойдёшь до перекрёстка со Светланой, тут и адрес окончательный. Не заблудишься!

Река несла шумный рукотворный остров, покачивая на стремни-

нах и совсем неощутимо на плавных местах. Раздался чей-то пьяноватый голос:

— Евсей Силуанович, а похожи мы сейчас на Ноев ковчег?

— Ты шути, да не богохульствуй!

И вдруг поплыла по ветру старинная песня, неизвестно кем затаянная:

То не ветер ветку клонит,

Не дубравушка шумит.

С грустной силой взмыла мелодия, подхваченная почти всеми обитателями острова-ковчеха:

То моё, моё сердечко стонет,

Как осенний лист, дрожит.

Вместе со всеми пели оба кержака — молодой и пожилой. Оказывается, они тоже знали и слова, и мелодию.

ЦИКЛОН

1

Сквозная улица, рассекающая городок пополам, была по-дневному безлюдна. Народ деньги на жизнь зарабатывал, либо огороды обихаживал по весенней надобности. На руках у Ивана уютно устроилась дочка, поэтому привычного размашистого шага не получалось и он шёл неторопливо, получая удовольствие от Катиного щебета, уводящего от злых, мутных мыслей.

Час назад он приехал домой после двухнедельных трудов на вахте и обнаружил жену с двумя подругами за столом с ополовиненной бутылкой сухого вина. На полу под окном скучали ещё две ёмкости, дожидаясь своего момента. Он относился снисходительно к таким дамским шалостям, однако стал велико недоволен в этот раз, потому что Татьяна устроила субботние посиделки накануне его приезда, хотя прекрасно знала, какой сегодня исключительный день. Ругаться не стал, но поступил сурово. Одед Катеньку и, не реагируя на виноватые объяснения Татьяны, хлопнул дверью. Путь имелся только один — в панельную пятиэтажку, к своим родителям. Они второй год осваивали благоустроенное жильё после многолетнего скитания по баракам, где прошло и его детство. Самому повезло — нефтедобывающее предприятие наделило однокомнатной квартирой в двухэтажном кирпичном доме почти сразу после женитьбы. И это в новые времена, когда государство самоустранилось от решения жилищных проблем граждан, вручив им странные бумажки — ваучеры, как залог будущего благоденствия.

Он прекрасно знал, какую радость принесёт сейчас бабушке и дедушке, беспокоился лишь о том, что же сказать по поводу своей

молчаливой ссоры с женой. Катенька прогнала эту заботу, жарко нашептав в ухо:

— Папа, а ты купишь мне серёжки, как у мамы? Они такие красивые, они мне очень-очень нравятся.

— Обязательно куплю, доченька, только немного попозже, когда ты подрастёшь немножко. Там ведь дырочки в ушках нужно прокалывать, а тебе сейчас ещё рано это делать, тебе сильно больно будет.

Катенька крепко обхватила его шею.

— Я быстро вырасту, только ты не забудь. Я хорошо буду себя вести, и в садике теперь не буду песенки петь в кровати, когда все спят после обеда.

Иван угадал удачно — родители были на месте. Какие-то городские дела помешали им отправиться на вскапывание дачных грядок. Катенька с его рук, не ступая на пол, попала в бабушкины объятия и исчезла из прихожей. Из комнаты тут же донеслись воркование и щебет, слившиеся в одну мелодию: «Ах ты моя сладкая, а как твой зубик, всё ещё болит? — Ништяк, баба, нету теперь его, ничо у меня не болит. — Вот и славно, так и должно быть, скоро у тебя новый зубик вырастет, лучше прежнего. А у меня для тебя варенье есть из вишни. Мы сейчас с тобой чай будем пить. Или ты кушать хочешь? — Не хочу я кушать, вот смотри, я тебе баунтик принесла, это шоколадка такая вкусная, с чаем».

Отец объявился из кухни, пожал Ивану руку, чуть приобнял, заметно стесняясь такой непривычной формы приветствия сына.

— Молодец, прямо с вахты и к родителям. Чего без Тани? Или позже придёт?

— Да, пап, попозже, шибко занята она сейчас.

Не стал выкладывать свои семейные передраги. Всё утрясётся, всё мелочь житейская. Хотя нет, не мелочь, скребётся в мозгах мышь зловредная, и как-то унять надо это шебуршание. В родительской квартире этого не получится, но есть способ уже испытанный. Не стал раздеваться, проходить и, сказав, что живо вернётся, вскоре шагал по улице к другу Пашке. Никто не поддержит как друг. Отец начнёт советы давать невразумительные, мать станет воспитывать нерешительно, а друг просто выслушает, и ободрит между стопарями. А больше ничего не надо, потом само рассосётся. Они с Пашкой всю предыдущую жизнь бок о бок топали. Вместе футбол гоняли на пустыре за школой, вместе стриженными макушками сверкали в учебке под Хабаровском, теперь сообща шуруют рычагами трубоукладчиков на строительстве нефтепровода. В городке всё близко — прошёл пятьсот метров, вбежал на пятый этаж и, нажав кнопку звонка, увидел дурачки округлённые Пашкины глаза.

— Ну ты даёшь! Вчера только ворчал на меня в вагончике за вонючие носки, а вот уже и соскучился.

Иван молчком сунул ему в руки бутылку водки и пристроил куртку на вешалку. Паша домовничал в одиночку. Родители кудесничали на даче, а подруга жизни холостой занималась организацией выпускного вечера в клубе — сегодня её подопечный класс отправлялся во взрослую жизнь. Она была не просто учительницей, а ещё и классной руководительницей.

Паша не вписался в общество любителей выпивки даже без постоянного женского пригляда, хотя мог по обстоятельствам опрокинуть несколько рюмок, но беспредельного продолжения сторонился. В таком умственном настрое друзья тоже сходились. Выслушал Ивана внимательно, опершись локтем на кухонный стол и поглаживая на темени рано объявившуюся проплешину. Проглотили по второй, и он объявил своё мнение:

— Это всё, что ли? Серьёзная драма. Переночуешь у своих, а завтра как ни в чём не бывало с Танькой поцелуешься. А может, и сегодня она прискачет. И снова будет меж вами любовь и добро. Ты мне лучше скажи, как подъёмник на агрегате сам отрегулировал, без механиков? У меня в последний день он еле тянул, а я так ничего и не исправил. Подумал, ладно, до конца смены доработаю, а там и перерахтовка. Неприятный момент. Сменщик, наверное, сейчас меня материт.

На кухне заскрипела автоматическая трансмиссия, загремели оси и полуоси. Дизельно-гусеничный дуэт закончился в полночь, когда у Паши появилась непреодолимая потребность пойти в клуб и выяснить, когда закончится церемония прощания его педагогической подруги со своими уже бывшими учениками. Немного прогулялись вместе — было по пути, потом, на первом перекрёстке, разошлись в разные стороны. Ванино дурное настроение развеялось, мыши в голове больше не шебуршали, но сегодня он решил дома не появляться, чтобы Татьяна имела урок на всю их дальнейшую совместную жизнь.

На улице властвовала непривычная тишина — даже гула проезжающих машин не слышалось. Лишь изредка доносились едва улавливаемые звуки танцевальной музыки из клуба. Ваня улыбнулся: молодёжь наверняка обрадовалась, когда Паша их классную увёл. Около родительского подъезда выкурил сигарету, полюбовался исключительно чистым звёздным небом и даже нашёл созвездие Большой Медведицы. Полярную звезду обнаружить не удалось — выпитая водка помешала.

Вместо того, чтобы открыть дверь в подъезд, пошёл через дорогу в новоявленный круглосуточный магазинчик с выжидательно свечащимся окном. В тесном помещении, на фоне стеллажей с банками и бутылками обнаружил симпатичную девушку в тесном платице и узнал в ней соседскую девчонку, которая помнилась ему ещё пер-

воклашкой с бантиками, когда он сам школу заканчивал. Удачный повод для игривого разговора слегка выпившего мужика.

— Анечка, да ты ли это? Ах и принцесса стала, ах и красавица. А чего вдруг здесь? Я слышал, ты на материк уезжала, в институте учиться.

Далее вольная речь застряла, девушка смущённо улыбалась, очевидно, решая как строить общение: рассказывать знакомому мужчине о своём неудачном студенческом опыте или безучастно спросить у покупателя, чего он купить желает. Пол вздрогнул, стены с треском качнулись. Последнее, что увидел Иван, это были свалившиеся полки с товаром и исчезнувшая за прилавком Аня. На его голову обрушился потолок и наступил полный мрак и бесчувствие. От первого проблеска сознания запомнилось то, что не мог шевелиться, придавленный неизвестным грузом. За кисть руки кто-то дёргал, и он слышал девичий голос со всхлипами.

— Ваня, ты ползи, ногами толкай, ты помогай мне хоть немного. Я слышу, ты дышишь, ты упрись и ползи. Дурак, у меня сил на тебя не хватает. Скотина, сволочь ты, Ваня.

Далее опять была тишина и полное отсутствие ощущений. Постепенно начал понимать, что лежит на животе, с вывернутой набок головой. Одна рука согнута в локте под грудью, другая откинута в сторону и нестерпимо болит. Что-то давит на поясницу и мокро в паху. Вкус кофе во рту. Мысли о том, откуда такой вкус — он же водку пил. Почуял запах газа. Услышал близко чьи-то разговоры, гул мотора и хриплый крик Ани:

— Мы здесь, живые, мы ещё живые, мы живые!

Когда тяжести на теле не стало, он увидел свет левым глазом. Правый не открывался. Кто-то перевернул его на спину и помог сесть. Не слушалась правая рука, ноги в коленях сгибались. Чья-то рука протёрла ему мокрой тряпкой правый глаз, и он тоже стал видящим. Смотреть мешала засохшая кровь, натёкшая с разбитого затылка. Кругом маячили какие-то люди в камуфляже. На четвереньках к нему подобралась Аня с синюшными пятнами и кровоподтёками на лице, протянула бутылку воды. Пока он жадно глотал, она прохрипела:

— Это землетрясение. Мы с тобой сутки с половиной под магазином провалялись.

Через дорогу, там, где стояла родительская пятиэтажка, расстилось месиво ломаных бетонных плит. Огляделся вокруг, по сторонам, и увидел то же самое. Сумел подняться, уравновесился на слабых ногах, доковылял до бывшего дома и рухнул. Мозг не мог работать. Потом ощутил своё тело на качающихся носилках, его куда-то несли. Рядом шла Татьяна с открытым ртом и безумными глазами. Она что-то говорила. Увидев, что он смотрит на неё, крикнула громко:

— Где Катя?!

Цепеня от ужаса, он выговорил:

— У моих родителей. Была.

Жена на ходу наклонилась и плюнула ему в лицо. Иван пожалел, что ночью не вошёл в подъезд.

2

Спустя год он медленно шагал по бывшей улице несуществующего Нефтетымска и пытался вспомнить или угадать, где какой дом стоял. Вот школа — она кирпичная, в два этажа, почти уцелела, только торец развалился. От подземного толчка рухнули все панельные дома, сохранилось несколько кирпичных, двухэтажных, в одном из которых он жил с Татьяной и Катенькой. Здесь, точно, клуб был, в котором в ту ночь выпускники Пашиной женщины праздновали вступление во взрослую жизнь. Она жива — уведённая Пашей прочь за полчаса до толчка. Ребят почти всех раздавило.

Дошёл до обломков магазина, наличие которого в ту ночь его спасло. Сломанные рёбра и рука не в счёт. Ушибленная голова болела редко. Стены строения тогда разошлись, его придавило потолком, да не до смерти. Анну выручил прилавок, на который упали кровельные конструкции, и она уцелела в создавшемся закутке. Могла даже ползать и пыталась втащить в свою нору Ванино тело.

Вот невредимый Ленин стоит на постаменте, по-свойски распахнув пиджачок и засунув пальцы в кармашек жилетки. Ваня внутренне усмехнулся — вот кому ни хрена не страшно. Самому теперь страшно было постоянно. Не за будущее, не за настоящее. Ужас из прошлого не отпускал. Когда работал, ел, спал, куда-нибудь шёл, с кем-то говорил, он всегда видел уходящую в комнату мать с Катенькой на руках, отца в дверном проёме, смотрящего ему вслед.

Сна давно уже не было, он уходил в странное забытьё, а видения оставались с ним. В этих умственных картинах ему виделось то, чего он не узрел наяву. Как беспощадная тяжесть обрушившегося железобетона давит тела его Катеньки, его отца, его матери. Как родные люди мгновенно стали кровавым прахом, упавшим на землю, смешавшись с пылью и крошевом плит. Если пил водку, видения исчезали ненадолго, пока не наступало отрезвление. Тогда становилось ещё дурнее — похмелье усугубляло чувство вины и присовокупляло ощущение полной безнадёжности. Обратного хода нет, и вперёд идти незачем. Он понял, что алкоголь не поможет выбраться из этой мглы на светлое пространство.

Этот год он жил в райцентре Выргыт, находившемся в 80 километрах от погибшего Нефтетымска, в небольшой квартирке, выделенной по сертификату, работал по-прежнему на трубоукладчике. Татьяна уехала в неведомые дали. Куда конкретно, он не пытался

узнать, а оставшихся в живых её подруг не встречал. В последний раз виделся с ней на опознании тел и на похоронах. Она с ним не разговаривала.

Объявившийся бодрый морской ветер потоком гнал серую пыль с развалин по открытому пространству пропавшего поселения. Полевая тишина была вокруг, лишь посвист синиц напоминал, что жизнь и здесь продолжается. Он побрёл обратно к памятнику Ленину, где его ждал «КАМАЗ»-вахтовка, на котором он с товарищами завернул сюда ненадолго, едуци с работы домой. Пыльные завихрения мешали смотреть и дышать. Раньше этого не наблюдалось, потому что не существовало такой обширной территории, заваленной строительным сором. Сквозь сизую мглу увидел перед собой застывшую женскую фигуру. Девушка стояла спиной к вихрю, закрыв лицо руками, ожидая, когда это испытание закончится и можно будет нормально смотреть и дышать.

Ваня остановился рядом и, не осмысливая причины и нужности своего движения, дотронулся до её локтя. Она опустила ладони, и он увидел девичьи глаза без вопросительного ожидания, без извечного женского желания выглядеть пригожей. Это была Аня. После того убийственного дня они не встречались. Теперь смотрели друг на друга и не находили слов для разговора. Наконец у Ивана сложилась первая фраза:

— Анна, здравствуй. Ты зачем здесь?

Безгласно смотрела в землю и наконец ответила.

— Гуляю я тута. Иногда. Моих родителей и брата так и не нашли. Наверное, бульдозером со щебнем перемешали. Меня сегодня из Выргыта знакомый сюда подвёз, ему было по пути. Обещал обратно увезти, да вот уже час прошёл с договоренного времени, а его всё нет. Видать, дела.

Одета была по дорожной необходимости — мешковатые джинсы, свитер, простецкая болоньевая куртка. Как требует погода. Впрочем, ныне в таком наряде и в театр ходят, и на дачу ездят. В её глазах чувствовалось тревожное напряжение. Он обыденно предложил:

— Поехали с нами, у нас «КАМАЗ» с будкой, место найдётся. Мы до Выргыта едем. Нечего здесь бродить. Никого здесь больше не встретим, а до психушки точно дойдём.

Она молча пошла следом, в кунге села рядом с ним, а когда выскочили на шоссе и в окнах уже не маячили развалины, быстро и тихо заговорила:

— Я сюда иной раз выбираюсь. Не знаю зачем. Легче не становится. На материк нужно уезжать, жизнь как-то устраивать, а ничего не хочется делать. Страшно. Я сейчас нянечкой в детском саде работаю, зарплату получаю, живу в общежитии заводской. Сертификат

свой на квартиру так и не использовала. В куче легче. Знаю, что нельзя так, надо двигаться как-то по-серьёзному, а не могу. Страшно. Знаю, что дурь всё это, а не могу. Может, ты прав, я уже готова для психушки?

Мужики Ваниной бригады поглядывали на красивую девушку с плохо скрываемым пристрастием, но с разговорами никто не лез. Люди в этой местности стали теперь более учтивыми. Он подбирал слова, необходимые, чтобы её ободрить, о себе что-то поведать, но ничего не находилось. Всё давно кем-то сказано и всем известно. Про то, что нужно жить в память о погибших, и даже как бы за них, но чувствовал, что будет всё это криводушно. Мёртвым ничего не надо — никаких энергичных, жизнелюбивых деяний ныне дышащих. Заглянул в её лицо и понял, что говорить действительно нет нужды. Понимая его замешательство, Анна покачала головой.

— Только не надо меня утешать. И про себя ничего не надо. Я всё знаю.

За окном мелькнула бетонная стена с названием города, замельтешили жёлтые и синие пятиэтажки Выргыта. Она озаботилась:

— Скажи шофёру, чтобы на углу Пролетарской остановился — вон моя общага. Если что — заглядывай, я в двадцатой комнате живу. После восьми вечера в будни, а в выходные с утра я обычно дома.

Он усмехнулся в ответ.

— У меня круглосуточно «если что». А иногда и дышать неохота. Может, если рядом с тобой побуду, то оно немного рассосётся? Ладно, завтра, наверное, зайду.

«КАМАЗ» остановился, в услужливо распахнутую кем-то дверь Анна вышла на тротуар и, обернувшись, взмахнула рукой на уровне своего уха. Иван дёрнулся было, чтобы выскочить за ней, но что-то удержало его на месте. Осознание недостойности таких вольных, даже игривых поступков.

Когда шёл к своему жилью, тоскливая мысленная карусель вращалась вокруг привычной оси жизненной безнадёги. На современном языке это состояние называлось импортным модным словом «депрессия». Он для себя обозначил его «хандрой». С маячившей неподалёку колокольни недавно восстановленной церковки доносился неспешный, протяжный звон, возвещающий о скором вечернем богослужении. Ноги завели в церковный двор, мимо старух с неприметными лицами, торчащими у ворот, мимо безногих мужиков, сидящих у стены и непонятно как сюда добравшихся.

Он не знал, чего станет делать в церкви, но войти в неё очень хотелось. Как молиться, тоже не ведал. Раньше, во времена советского детства, про Бога слышал только ехидные выступления своей классной руководительницы. Теперь, иногда, умные, но скучнова-

тые речи московского попа в воскресной телепередаче. На незнакомое духовное пространство вели неуправляемые мысли, крутившиеся бесконечными бессонными ночами, когда темень кромешная вокруг смыкалась в нём с жуткими думами отчаявшегося постигнуть причины и смысл непоправимых событий. Было бы счастьем просто заснуть и не думать об этом, не чувствовать дикой боли в себе сегодняшнем, насаженном на кол в конце прошлогоднего мая.

В бессознательном детстве родители сподобились его крестить. Нынче он осознавал, пусть неясно, свою принадлежность к православию, чувствовал, что право имеет обратиться за поддержкой к христианской силе, хотя до этого в церковь заходил лишь два раза в компании друзей, из дурного юношеского любопытства. Последние два месяца рядом с его кроватью на табуретке лежал Новый Завет. Каждый вечер и в ночные часы терзающей бессонницы он открывал книгу, следовал за Иисусом, слушал его речи, часто ликуя от правильности и мудрости сказанного. Иногда терзался от справедливого упрёка Спасителя, относящегося и к его делам и мыслям, а порой впадал в маетное недоумение от непостижимого выражения, подтверждения которому не мог найти в своём опыте.

Думалось так: всё в этом мире имеет свой смысл и резон. Дерево состарится, рухнет, удобрит почву для других растений. Придёт моё время, я состарюсь, помру, место освобожу для другого человека, чтобы он тоже порадовался жизни и получил свой набор удовольствий. Разумно. В войну трудящиеся люди гибнут от других, дурных людей, которым шибко захотелось воспользоваться их добром, их трудом, самим не работая. Эти дурные люди погибают от умелой, упорной обороны тех, кто не согласен отдавать им своё добро, свою землю, свой труд. Нормально. Но мои родные погибли от мгновенного подземного толчка, и никакого резона я в этом не нахожу. Господь всемогущий, как учит вера христианская, руководит всем, что происходит не только с каждой особью, но и всяким происшествием на планете, и вообще, за её пределами. Зачем это было нужно ему — всевышнему и всеблагому? Может быть, создал всё, организовал, а теперь просто наблюдает за происходящим, что тут творится на его поляне? Как режиссёр следит за своей постановкой, вмешиваясь лишь в крайних случаях?

Люди другого, атеистического полюса объясняли всё много проще, скучнее и мрачнее, без всякой надежды, с тупым лязгом гильотины: стихия, несчастный случай, слепые безжалостные силы природы. Ване нужен был человек, умеющий по-другому проиграть эти диссонансные для него мотивы.

Перед входом в храм правильно перекрестился, углядев, как это делают прихожане, и вошёл вовнутрь. Полумрак умиротворял и настраивал на безмятежное, благодатное состояние мыслей — они

словно цветы непонятные поплыли по поверхности тихого озера. Когда негромко запел церковный хор, он вообще перестал думать, и впервые за последний год исчезло мучительное ощущение своего присутствия рядом с гибнущими родными. Он незаметно оглядывался, осваиваясь в незнакомом пространстве храма, налагая на себя крест, когда крестились окружающие. Фигуры неведомых ему святых мерцали в свете лампад на стенах, но взглядов их он уловить не мог — они смотрели либо на ладони свои, либо в развёрнутые свитки с таинственными письменами. Глаза Иисуса Христа и Богородицы с передней стены у Царских врат были точно обращены к нему, и от этого сделалось в душе ощущение защищённости и исчезло чувство незыблемого одиночества. К аналою подошёл священник, облачённый в золотистую епитрахиль, и стал читать молитву, смысл которой в старославянском произношении Иван не смог постигнуть, но он улавливал завершающие каждый прочитанный нараспев стих слова: «Господи помилуй, Подай Господи, Тебе Господи». Пел их со всеми и неожиданно прослезился, зашмыгав носом. Это не было сопливым умилением — в нём поселилось незнакомое прежде ощущение единства с людьми, верящими в трудную неизбежность добра.

Единство явилось совсем не таким, какое бывало в солдатском строю или при коллективном упоре на прокладке нефтепровода сквозь тайгу, болота и горы. Там каждый оставлял себе малую толику своих интересов, ублажением которых займётся, когда прозвучит команда «разойдись» или придёт смена. Сейчас он полностью растворялся в общей молитве и подлинно верил, что она милостиво принята Отцом Небесным.

Когда вышел из храма, увидел скоро идущего по двору священника в повседневной чёрной одежде, смотрящего только вперёд себя, словно к твёрдо назначенной цели. Иван поспешил наперерез и заговорил, ещё не догнав его, опасаясь, что тот окажется у своей цели и тогда разговор не получится.

— Батюшка, извините за настырность, да дело у меня к вам имеется. Если времени есть хоть немного, то уделите мне, пожалуйста, несколько минут.

Священник остановился и глянул прямо в глаза просящего. Взгляд его был спокоен, без всякого намёка на досаду или раздражение. Человеку тянуло под пятьдесят, седоватая борода аккуратно ухоженная, лицо свежее, без признаков алкогольных испытаний.

Ивану всегда мнилось, что в общении со священниками нужны какие-то особые умные слова, принятые в их среде, как в разговорах с писателями, артистами, политиками, словно это существа иного порядка. Такого опыта у него не было, и он смущался. Человек просто спросил:

— Что у тебя? Давай сюда присядем, чтобы нам не мешали, а времени у меня достаточно. Меня зовут отец Олег.

Иван назвал себя, они сели на оказавшуюся рядом скамейку, и поп выжидательно смотрел в его лицо, пока он не начал:

— Беда на меня навалилась, батюшка, а выбраться из-под неё ни сил, ни ума не хватает, — Иван вздохнул тягуче, собираясь с мыслями, и продолжил. — В прошлом году, во время землетрясения в Нефтетымске у меня дочка маленькая и родители погибли. Потом жена уехала. Далеко. Я её понимаю — здесь свихнуться можно. Теперь у меня нет ничего личного, тёплого, никого родного, любимого, любящего. Надежды, что это появится в будущем, тоже нет. Водку пробовал пить — не помогает, ещё хуже становится. Есть только постоянное недоумение: «Почему?».

Отец Олег спросил:

— Ты утешения ждёшь от меня?

Ваня покачал головой.

— Я всю Библию прочёл, особенно внимательно Новый Завет, и не нахожу себе ни утешения, ни объяснения. Одни вопросы. А объяснить некому. Рассудим вначале так: Господь разрушил Нефтетымск, как когда-то Содом и Гоморру, в наказание за грехи беспробудные, богоотступничество, в назидание и для спасения других душ, ещё не окончательно погрязших и пропавших. Наверное, я не понял степени погружения своих земляков в развратную жизнь и оком праведным не прозорлив, но не заметил, чтобы городок наш превзошёл другие человеческие поселения в этакой скверне. Праведников среди нас точно не нашлось бы, но и блудников выдающихся и богохульников не наблюдалось. Мужики работали на нефтепромыслах и в строительстве, женщины в магазинах, школах, больницах. Кто-то Богу молился, кто-то так обходился, только тихо всё, без показухи и психоза. Обычный рабочий городок со средними показателями добродетели и срама.

Строение его речи нынче весьма отличалось от тех простецких форм, которыми он объяснялся раньше, до того времени, как открыл Священное Писание. Сам этого не замечал. Отец Олег слушал внимательно, почти не моргая, не отрывая глаз от возбуждённого лица выступающего. Когда Ваня замолчал, заговорил вдумчиво и раздельно.

— Я думаю, что напасть эта была не наказанием, но Божьим попущением, по неведомой нам причине, чтобы подземная стихия именно там проявилась, а людям, невинно погибшим, на небесах воздастся. И души невинные твоих родных сейчас в райских пределах познают божественные речи. Отчего сие попущение произошло, мне неведомо, как всякому рабу Божию. Значит, таково мироустройство, и если бы в том месте земное напряжение не разрядилось, то

в другом месте с пушей силой земля бы встряхнулась, и много большая уйма людей погибла.

Ваня потряс головой:

— Ага, Бог пожертвовал малым для сохранения большего. Прямо как маршал Жуков в Отечественной войне. Про смещение фундаментных плит, плавающих в жидком расплаве мантии, я выяснил из умной книжки, в библиотеке специально брал. А мне думается, что Создатель сейчас вообще не участвует в земных делах. Сотворил когда-то всё сущее и запустил процесс по своим законам, которые и действуют по сию пору. Всякому нормальному понятно, что и бактерии, и букашки, и планеты, и галактики живут и развиваются по этим законам, положенным раз и навсегда. И участия его здесь больше не надобно. Разве что за человеком присматривать, как бы не натворил чего губительного для мироздания. Ещё людские души нужно направлять на пути праведные, если они сами того захотят. Чтобы каялись вовремя за грехи свои бесчисленные. А которые не хотят каяться, тех чертям на растерзание после смерти.

Из его мозга сейчас выливалось всё, что бродило там бессонными ночами, когда он общался с Библией. Теперь все эти мысли, разбросанные в сознании, находили друг друга и оформлялись в слова и фразы благодаря тому, что появился собеседник, способный всё это понять.

Отец Олег возразил.

— По твоему разумению, Бог — это как конструктор какой-то: создал сложное изделие и теперь лишь наблюдает за его работой, иногда кое-что подправляя, да ещё удовольствие получает от исполнения задуманного плана.

Иван развивал своё недоумение:

— Господь возглашает в Евангелии от Луки, что ему известно, сколько волос на моей голове. Значит, всё подконтрольно. Только одно дело знать, а другое — руководить. Мы просто выпущены на эту землю и оставлены сами себе на растерзание. Сколько войн и злодеяний натворили и продолжаем творить. Сказано ведь в Книге Бытия: Бог благословил мужа и жену и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ею». Вот мы и обладаем...

— Вместе с этой землёй Господь подарил нам свободу. А вот как мы пользуемся этим даром, это уже вечная проблема выбора каждого: на благие дела или на мерзкие задумки. Как выберешь, таков итог твоей жизни будет: либо вечная светлая жизнь души в Царстве Божиим, либо корчи в дьявольском пекле.

Иван продолжил его тему, озвучивая обрывки своих мыслей:

— Не значит ли это, что даже верующий человек жить будет по заповедям не от искреннего желания творить добро, а из страха

неотвратимого наказания? В помыслах и мечтах многие купаются в грехах. Наяву бы окунулись, да жутковато, а вдруг геенна огненная — это реальный факт. Ладно, хоть так расползание зла на земле сдерживается.

— Господь знает наши мысли и на Божьем суде рассудит справедливо. А по поводу умножения или сокращения зла, так оно всё же находится в прямой зависимости от количества верующих. Атеист вообще не боится возмездия за преступление, если удачно спрячется от статьи Уголовного кодекса.

Подошёл озабоченный человек в рабочей одежде и прервал разговор.

— Батюшка, мы отремонтировали крыльцо, которое вы нам поручали. Просим глянуть, всё ли так, как надо, может ещё чего доделать или переделать.

Одновременно поднялись, и отец Олег на прощание уточнил:

— Видишь, Иван, дела объявились, однако разговор наш не окончен. Если сможешь, приходи завтра к заутреней, а после мы ещё побеседуем. Запомни твёрдо: с Богом, придя к нему, вначале всегда трудно, зато потом становится легко. С дьяволом наоборот — вначале очень легко, затем станет невыносимо.

Он протянул руку, и Ваня пожал её, прощаясь, как с товарищем, хотя несколько секунд назад был в напряжении — может, по церковному уставу руку попу придётся целовать.

3

Сегодняшним утром чайник отказался воду кипятить. Вначале это расстроило Анну, а потом подвигло на мужские дела. Разобрала вилку чайника, выкрутив остриём маленького ножика болтик, и увидела причину — проводок выпал из клеммы. Она в детстве видела, как отец устранял такие неполадки, и решила действовать так же. Нужно зачистить кончик провода, а потом завернуть его колечком, по диаметру крепящего винтика. И всё собрать в обратном порядке. Когда вода в чайнике зашипела, подтверждая, что всё у неё получилось правильно, она даже крутанулась между тумбочкой и столом, неосознанно вспомнив танцевальное движение из прошлой жизни.

В дверь постучали, и когда открыла, увидела сугубо серьёзного Ивана. Воскресный визит случился, и она этому обрадовалась. Людей не чуралась, но утомлялась их неотступным стремлением утешать её либо открыто, разговорами, либо какими-то хитроумными способами, вроде совместной прогулки на природу с шашлыками и с парнями. Иной раз пытались затащить её на концерт добравшихся до их края московских певунов и певуний. Иван этого делать не станет. Они одной доской пришиблены. И в переносном смысле,

и в прямом. Он поставил на стол коробку с тортом, и, не спросив, по-свойски уселся в единственное ветхое кресло образца «модерн шестидесятых». Деловито осведомился:

— Что нового и хорошего в жизни?

Аня поставила на стол закипевший чайник и с умеренной гордостью объявила:

— Вот, я сама его сегодня наладила. А сейчас сяду на пенёк и съем с тобой пирожок. Тоже сама пекла. Тортик твой съедим.

Лицо её, без признаков косметических вмешательств, дышало детской, домашней простотой. Лишь напряжённый прищур голубых глаз сообщал о том, что душа всё бродит по сумрачному лесу с тропинками, заваленными гнилым сухостоем, и не знает, как выйти на залитые солнцем просторные поля, где можно бежать в любую сторону и радоваться лазурному небу над головой.

Кручина по родным не отпускала её на свободную, оживлённую прогулку по аллеям парка юности, где барышни встречаются со своей женской судьбой в образе единственно достойного мужчины. Впрочем, нередко он оказывается вовсе не достойным, а впоследствии по этой причине и далеко не единственным. Таких забот она не знала, потому что не ходила на эти потаённые лужайки, где происходило очарование друг другом обаятельных юношей и завлекательных девушек. Там нужно было подчиняться некоему ритуалу поведения, который сейчас она не могла принять для себя без напряжения. Потупив глазки, изображать воплощение скромности, но представлять для любования мужчинам свои прелести, обтянутые мизерными одеждами, которые в недавние времена вполне признавались нижним бельём. Иногда позволять не просто любоваться, но и оценить на ощупь. Ей чудилось, что она предаст погибших родителей и брата, если пойдёт по этому традиционному для большинства девушек пути.

Ведомая женским инстинктом, юным любопытством и обычным стремлением не отставать от подруг, она уже засматривалась на эти весёлые полянки, где гремела танцевальная музыка и плескалось в бокалах вино. С замиранием сердца ждала удобного момента, чтобы заскочить туда, но подземный толчок повлиял на мозги. То, что тогда казалось заманчивым, таинственным, стало неприятным, стыдным. Подруги, уцелевшие в ту ночь, почти все улетели на материк, здесь были только знакомые по рабочей и бытовой необходимости. Парни, словно чуяли её состояние, с ухаживаниями рядом не маячили.

Сейчас она замечала Ванин взгляд, и он был ей приятен. Ещё ей стало хорошо оттого, что может за чайными разговорами посидеть с человеком, который поймёт её без особых объяснений. Неожиданно для себя она обнаружила, что ей нравится, как он сидит за сто-

лом и, подперев ладонью крупную голову, смотрит на её руки, делящие торт на ломтики, разливающие чай в кружки. Щетина на лице — следствие трёхдневной небритости и короткая, почти под ноль стрижка, тоже нравились. Она испугалась таких неведомых прежде ощущений и заговорила о том, что первое пришло в голову:

— А я сейчас одна в комнате живу, без соседок, хотя подселить могут в любой момент. Красавицы замуж вышли почти одновременно. Одна в прошлую субботу, другая в позапрошлую. Обе на свадьбы приглашали. Я не отказывалась, а не пошла.

Ваня отхлебнул чай, подвинул к себе блюдо с куском торта и заметил:

— Вкусный чай, — и тут же без перерыва, о другом: — Аня, так ещё хуже будет. Я знаю, что всё утихнет со временем, жизнь нагрузит всем необходимым, но всё-таки нужно сейчас жить, а не торчать могильным памятником. Уньиние, кстати, считается одним из смертных грехов в православии, сам читал, — закончил недовольно: — Ну, вот и я взялся тебя учить. Идиот.

Анна задумчиво смотрела в свой стакан.

— Ты, что ли, верующий?

— Я убеждаю себя, что в Бога нужно верить.

Она подняла взгляд на его растерянное лицо.

— Это как так? Сам себя верить заставляешь? И что, получается?

Ваня устало выдохнул.

— Всё очень странно. Иногда чувствую, что верю безоговорочно, а иногда сомневаться начинаю, когда упрусь в какие-нибудь непонятки. На работе легче. Если что-то не получается, мужиков позову или сам механизм отрегулирую, и дальше прём. А здесь только на свои мозги рассчитывать, либо жди, когда Бог тебя надоумит. Я вчера с попом разговаривал, а получилось, с чем пришёл, с тем и ушёл, ни хрена толком он мне не объяснил. Сказал, что наши погубил по Божьему попущению и души их сейчас в райских куцах блаженствуют и нас там дожидаются. Сегодня приглашал на разговор, а я не пошёл. Чего-то не тянет.

Он допил залпом, до дна полкружки остывшего чая, как допивают забытую за разговором водку, и завершил:

— Однако напрасно я залез в эти чащобы и пытаюсь понять: отчего, почему, зачем и что всё это значит. Ещё и тебя с собой потащил, балбес. Надо всё воспринимать как горестный факт, и смирившись, дальше шагать. Предлагаю, мадемуазель, незамедлительно отправиться со мной на воскресную прогулку куда глаза глядят.

Анна улыбнулась совсем празднично.

— Ваня, слава Богу, не то я забоялась, что теперь мы с тобой вдвоём недужить тут будем с пущей силой. Подожди меня за дверью, я быстро и нарядно оденусь.

В коридоре он торчать не стал и мимо обыкновенно строгого лица вахтёрши в застеклённой будке вышел из сумрачного вестибюля на ярко и горячо освещённый тротуар. Успел выкурить сигарету, и рядом объявилась Аня в лёгком голубом платье — цвета собственных глаз и сегодняшнего неба. Иван в замешательстве скрывал свой взгляд, якобы разглядывая вчерашние лужи, но видел лишь поразительную юную красоту и ничего более. На вопрос «Куда пойдём?» сумел только неопределённо махнуть рукой вдоль улицы.

В спины им дул свежий и мягкий ветер, раскачивая ветки черёмух с гроздьями белых цветков, и попутно летели в воздухе белые лепестки, устраивая в городе весеннюю метель. Они медленно шли рядом, не прикасаясь друг к другу. Анне хотелось взять Ивана под руку, но она стеснялась.

Вдоль тротуара тянулся новый рынок, который никто не разрешал, но и не запрещал. Людям, лишённым работы, нужно теперь выживать. На самодельных прилавках лежали импортные колготки в упаковках, солёные огурцы в банках, китайская лапша, строительные гвозди, водопроводные краны, электродрели и новые мастерки. Люди выложили всё, что могли продать, в том числе инструменты и материалы, с которыми вчера трудились на своих умерших предприятиях. Глядя на безучастные лица торговцев, вчерашних рабочих, Иван почувствовал стыдную радость оттого, что строительство ИХ нефтепроводов ещё не прикрыли неведомые силы, ломающие сейчас в стране всю отработанную систему. Зато в голове жило постоянное беспокойство, что это может произойти в любой момент.

Он нашёл тему для разговора, которая точно не приведёт к мыслям о погибших родных. Рассказывал о смешных типах из своей бригады. Анну позабавил сюжет о сварщике Пете, зрелом сорокалетнем мужике, который ставил бражку в жилом вагончике на трассе. Однажды, попробовав своей бражки уже на ночь, он пропал. Мороз лютый, темень непроглядная, вся передвижная техника на месте, а Пети нет. Пять мужиков с фонарями по сугробам всю округу излазили, и безрезультатно. На рассвете он сам объявился. Оказывается, женщину свою проведать ездил на попутной машине. Автозимник проходил в двух километрах от вагончика, и он пешком, по колено в снегу, в темноте, до него прорысил, и повезло попутку остановить. Ранним утром в обратную сторону удалось уехать опять на попутке. Товарищи вначале хотели его побить, но потом сообща решили, что такая трогательная любовь требует снисхождения, тем более Петя обещался брагу вылить, а трезвым он до конца вахты хоть как удержится от визита к своей даме.

Во время своей речи Иван размахивал руками, впрочем, в границах уличной пристойности. Аня смеялась, а он был доволен, что

удалось её развеселить. Он сам в этом вагончике всю ночь не спал, переживая за пропавшего товарища, но тогда было не до смеха.

Потом Анна поведала о своём житье-бытье в студенческом общении в Хабаровске, где она проучилась один семестр в Академии экономики и права, на экономическом факультете. В зимнюю сессию экзамен по математике не сдала и перестала быть студенткой. Ей тоже хотелось говорить о чём-нибудь потешном.

— В нашей общаге парень жил, к стати, тоже по имени Ваня, так он любил по вечерам на гармошке играть. Учился на юридическом, на четвёртом курсе. Всё приговаривал, дескать, желающие с будущим прокурором петь частушки могут присоединяться. Я как-то вечером шла по коридору, а навстречу этот Ваня, юрист-гармонист, играет песню народную, там такие слова: «Я за что люблю Ивана, что головушка кудрявая...». Сам он, естественно, кудрявый был. За ним десяток девчонок паровозиком, друг за дружкой, руки на плечах впереди идущей, все приплясывают и подпевают. Так захотелось к ним присоединиться, а вот постеснялась. Сейчас жалко, всё какой-то солнечный зайчик мелькал бы в памяти.

Перед ними огромным бетонным кубом, застеклённым снизу, появился концертный зал. Афиша объявляла, что сегодня вечером можно насладиться пением какой-то Лолиты. Не захотелось обоюднo. Зато у Ивана вдруг возникла идея:

— Сегодня 1 июня — начало лета. Пора открывать купальный сезон. — Глянув на её испуганное лицо, засмеялся: — Не бойся, я один искупаюсь.

До берега Охотского моря вела асфальтированная дорога длиной с полкилометра, совершенно безлюдная. Желающих поплавать в такую пору не оказалось. Когда вышли на пустынную песчаную косу, увидели серую беспредельность воды и ощутили зябкий напор ветра, желание Ивана скукожилось, но он уже заявил о своём молодецком поступке, и теперь его нужно было совершать. Он превращался в паренька, представляющего перед девочкой своё удалство и двужильную стойкость.

Одежду сложил кучкой у ног Анны и пошёл навстречу малой холодной волне. Она смотрела с неожиданным для себя любопытством на незнакомую ей голую спину, чёрные длинные трусы, медленно скрывающиеся в воде. На влажном песке осталась от него чёткая цепочка следов, уходящая в Тихий океан и породившая в её голове необъяснимый испуг. Иван плывал недолго, борясь с желанием мгновенно выскочить из знобящих объятий, однако обратно выходил неторопливо, якобы продляя удовольствие.

Предстояло решить проблему мокрых трусов. Придумал. Обвязал себя вокруг пояса рубашкой, снял трусы, надел брюки. Выжатые трусы сунул в карман куртки. Аня в этот момент увлечённо наблю-

дала, как неподалёку разворачивалось рыбацкое судно. Иван увидел, что она продрогла пуще него в своём летнем платъице. Быстро дошагали до окраины и в первой попавшейся столовой грелись горячим чаем, ели блинчики со сметаной и потом, не поспешая, пили кофе.

Он рассказывал о своей командировке в Якутию, где работал на вездеходе. Все края, которые ему довелось увидеть в своей жизни, были похожи на его родные места, где они сейчас и находились. Ничего, чтобы её подивить, ему не удалось разыскать в своей памяти. Она внимательно выслушала миниатюры о лютых морозах, бешеных буранах и, опершись локтями на стол, устроив подбородок в раскрытые ладони, доверительно зашептала:

— Ваня, я сейчас раскрою тебе свою страшную тайну, потому что верю, что ты надёжно её сохранишь.

— Я клянусь тебе, Аня, что так и будет.

— Моя главная мечта — побывать в жаркой стране, где можно купаться в море не замерзая, и в купальнике лежать на горячем песке, пока не надоест. Кушать там бананы и эти, как их... — она потёрла пальцами виски, — ага, вспомнила — манго и авокадо. Я с детства мечтаю об этом, и в школьной библиотеке все книжки, какие там были про Индию и Африку, перечитала. Как сказки.

Иван, как мог, обнадёжил:

— Аня, я верю, что твоя сказка непременно станет былью. СССР больше нет, и теперь можно ездить куда хочешь, лишь бы деньги были, а это уже решаемо.

На выходе из столовой он заметил, как девушка умоталась, остановил такси — дряхлые жёлтые «Жигули», и они по-барски двинулись к общежитию. Ехали молча, лишь когда проезжали мимо его пятиэтажки, показал большим пальцем в окно.

— Вот мой дом. Первый подъезд, квартира шесть. Забегай, если что. Шучу.

Аня коротко глянула на него и тихо ответила:

— У меня «если что» постоянно. Тоже шучу.

День перетекал в ранний вечер, вполне годный для продолжения невинной встречи, но они попрощались на крыльце общежития. Когда голубое платье исчезло за дверью, он медленно побрёл к своему дому, где делать было нечего. Недолго гулял и, удачно очутившись на скамейке в церковном дворе, слушал отца Олега. Время, назначенное ему для беседы, он провёл за чаем у Анны, но и в другой час встреча, на которую уже не рассчитывал, получилась и оказалась полезной. Священник разъяснял ему очередные непнятки.

— То, что ты называешь унынием и присоединяешь к грехам, не есть таковое. Уныние беспричинно и не даёт тебе желания менять

свою жизнь и вообще куда-нибудь двигаться. Человек волочится, словно в состоянии вечного похмелья, и ему ничего не интересно. Твоё состояние — это скорбь, и оно нормально для мужчины, потерявшего родных. Скорбь останется с тобой навсегда, хотя со временем будет давить менее. Груз тяжёлый, но посильный.

С этим существенным знанием Иван маялся поздним вечером в своей квартире, пытаясь занять себя полезными делами, однако желания братья за таковые не возникало. Холостяцкий суп из тушёнки варить не стал. Взялся за Библию, и, одолев два стиха Евангелия от Матфея, понял, что прочитанное плывёт мимо мозгов, а заставить себя вникать не получится. Оцепенело стоял у окна, наблюдая, как разгулявшийся ветер гонит по улице лёгкий городской хлам. Утренняя цветочная метель превратилась в вечернюю мусорную.

Пронеслась мысль насчёт визита к Валечке, одинокой женщине, бескорыстно утешающей его своим сдобным телом последние два месяца. Пронеслась такая мысль и не задержалась, потому что облик Анны устойчивым монолитом неожиданно укрепился в его сознании, совершенно не спрашивая: «А можно ли к вам?». Это было диковинное двойственное чувство: нежное влечение к девушке, желание сделать её беззаботно-счастливой, решительно пресекалось пониманием невозможности дальнейшего созревания их отношений в силу некоего нравственного запрета, непонятно кем и зачем воздвигнутого, но очевидно справедливого.

Он курил в открытое окно, не замечая уличной пыли, вдуваемой в его комнату, и сердце его было стиснуто тоской, раньше никогда не испытанной. Очень хотелось жить в уверенности, что он может в любой момент обернуться и увидеть её голубые глаза, знать, что она услышит сказанное им, и самому слышать её грудной голос. Твёрдо знать, что ей нужны его слова. Был ещё один вариант выйти из этого тупика. Традиционный. Он сделал три шага по этой колее, открыв холодильник и посмотрев на бутылку водки, ополовиненную ещё до вахты, дальше не двинулся. Захлопнул холодильник, надел куртку и ушёл из дома.

По-летнему ещё не стемнело, лишь неуютная мгла владела округой. Привычный циклон накрыл город своим крылом, низкие тучи, слившись в единый полог, закапали дождём. Он шёл к общежитию, где живёт Анна, не думая, как будет прорываться к ней через бдительную вахту. Вечером порядки строгие. Рядом с подъездом встал под дерево, где капало меньше, и, оглядывая окна, пытался высчитать, за каким из них живёт Анна.

Потешался сам над собой: влюбленный паренёк под окном своей любезной, а пройти к ней или дать о себе знать невозможно, и побредёт потом по мрачным ночным улицам, продрогший и неутешный.

Подъездная дверь хлопнула, и он увидел, как быстрым шагом, в распахнутом плаще, с размётанными по плечам волосами к нему идёт Анна. Подошла вплотную, и, не поднимая рук, прижалась всем телом. Иван обнял её, и они поцеловались. Всё происходило без слов. Недолго стояли, обнявшись, и он, уткнувшись носом в её макушку, вдыхал запах дождя, ставший запахом волос. Наконец осмелился.

— Ко мне пойдём? Сыро здесь.

— Веди даму. Хоть на берег, всё одно, — донеслось из складок куртки на его груди.

Дождь лил уже нешуточно, но выбирать сухой путь они не пытались, шли по лужам как придётся, и сомнения её ослабевали с каждым шагом. Иван держал Анну за плечо и чувствовал тепло тела сквозь мокрую ткань плаща. Слова находились какие-то совсем дурные. Спросил, зачем она на улицу вышла в такую мокроту. Она смеялась под капюшоном.

— На вечернюю прогулку. Для хорошего сна. — Потом серьёзно: — Тебя увидела в окно. Сама не знаю, зачем глянула вниз, на этот газон.

В своей прихожей Иван рванулся целовать её лицо, не замечая, как с них течёт вода, Анна повисла на его шее, и они не запомнили, как очутились в его сухой постели. Время исчезло, мир потерялся, как после подземного толчка год назад. Только обморочного забытья не случилось — они крепко и трепетно чувствовали друг друга в каждом движении и вздохе. Сна почти не было, но в какую-то минуту Иван почувствовал тихое, тёплое дыхание Анны, скользящее по его груди, и опасался шевельнуться, чтобы его не нарушить. За окном уже исчезла быстрая ночная тьма, и слабый ранний свет июньского утра делал явственными детали комнаты и подробности их положения.

Он так близко видел её макушку с разбегающейся воронкой светлых волос, качавшуюся в такт его дыханию, что перестал ощущать тонкую черепную перегородку, за которой жил Анин мозг, и почувствовал мысли, в нём обитающие. Собственно мыслей не было. Там царствовали долгожданные покой и умиротворение. Чувство было настолько сильным, что он растроганно зашмыгал носом, как недавно в церкви. Она, вдруг переменив позу, уже глядела чуткими глазами в его лицо, словно чего-то ожидая. Услышала:

— Анечка, однако мы с тобой приговорены друг к другу и ничего уже не изменить по своей воле. Мне так показалось вдруг.

Слова он не обдумывал, они рождались сами собой. Аня нахмурилась.

— Как страшно ты говоришь. Какой ещё такой приговор? Кем и за что? Нехорошо так, некрасиво. Лучше так: нас соединил вче-

рашней циклон. Других разлучает, раскидывает в разные стороны, а нас вместе, парой несёт и дальше попутным будет. Мне так думать хочется.

Ваня гладил её плечо.

— Аня, конечно, ты права, так милее. Нам поврозь думать нельзя. Нам врозь гибель будет. Ты помогла мне начать думать о завтра. Ты моё завтра. А как без завтра-то жить?

Она выслушала, затаившись, затем поднялась, и пошла собирать по комнате свою одежду, заметно стесняясь под его взглядом. Пояснила:

— Ваня, мне на работу нужно собираться. Ещё в общагу бежать, я вчера к тебе выскочила в халате под плащом.

Скрылась в ванной и, покуда шумел душ, он тоже оделся и приготовил походный завтрак из чая и бутербродов с последней колбасой. Аня объявилась в своём домашнем фланелевом халате с дикой кочкой мокрых белых волос. Он осторожно прикоснулся к ним и вдруг предложил:

— Не ходи ты больше в этот детсад, моей зарплаты хватит нам на прожитьё. Невелика честь чужие сопли подтирать. Ещё родные сопли будут.

Аня проглотила то, что разжевала и терпеливо ответила:

— Не пойдёт. Мне нужно работать. Пока другого места нет. А вот если ты меня замуж зовёшь, так я согласная.

Она перегнулась через стол и почти по-сестрински поцеловала его в нос. В этом действии чувствовалась некоторая снисходительность, что странным образом ему понравилось.

4

Над городом властвовал розовый рассвет в безмятежно чистом небе, как будто вечерняя дождливая оторопь лишь привиделась. Погода на острове преобразается мгновенно и непредсказуемо, в зависимости от прихоти океанских ветров. Иван провожал Анну до общежития, намереваясь и дальше следовать рядом, но она решительно отказалась от такого эскорта, объяснив, что одной ей будет много проще. Он послушно развернулся, и скоро сидел дома на стуле, который полчаса назад держал её тело.

Комната без Ани стала буднично пуста. Квартирные вещи, Библия на подоконнике не имели никакого значения. Он понял, что всё в его жизни сейчас может иметь замену, кроме неё. Это была не та любовь, о которой нужно изящно и убедительно объявить женщине в уповании получить мандат для доступа к её плоти. В нём жило иное: потребность знать, что с ней сегодня всё хорошо. Если для этого нужно быть рядом, он обязательно будет и делает всё, чтобы это «хорошо» распространилось на завтра, на будущее. Пусть

это иное называется любовью, или по-другому в обществе людей, в психологической науке, не важно. Важно, чтобы Ане было хорошо.

Неожиданно в сознании появилось личико Катеньки, доверчиво жмущееся к его плечу, её ручка, оттопыривающая своё ушко, ждущее серёжку. Лицо жены, искажённое ненавистью, перед плевком. Затылок матери удалялся в дверном проёме. Он слишком обнадёжился, решив, что выбирается из пещерного сумрака на дневной свет. Кто-то категорически пресекал все его намечающиеся удовольствия от жизни. Из горлышка выглотал водку, вчера не понадобившуюся. Находиться в квартире стало неважно.

Шагал до берега моря по пышущим жаром тротуарам, вглядывался как бы невзначай во встречные лица, пытаясь угадать такого же ушибленного, чтобы предложить вместе выпить. Не встретил или не угадал, и, выйдя на то место, где вчера были с Анной, разделся догола и ушёл в воду. Было время прилива и долго брести до полного погружения не пришлось. Плыл на северо-восток, в сторону Камчатки, куда хватило сил. Лёг на спину, чуть шевеля руками, смотрел на редкие облака, совсем чужие, знающие, однако, свой путь, которым, естественно, до него дела нет и не будет. А ему на них наплевать, хотя это и неудобно в такой позе, зато теперь он знает свой последний путь: если перевернуться на живот и плыть до полного изнеможения, то больше не будет никаких душевных пыток, а будет достойное завершение его непутной жизни. Рождению такого плана способствовала выпитая водка.

Грёб, сколько мог, а потом жизненный инстинкт опять положил его на спину. Теперь очень хотелось жить и думалось об Анне, как ей станет плохо без него. Всё попеременно с мыслями, что самоубийство — грех. Верить в Бога себя уже не заставлял, но молитвы путевой не получалось, потому что одновременно материл самого себя. Пытался разглядеть, где же сейчас пологий берег, вылизанный приливами. Когда волна поднимала тело, видел на горизонте тёмную полоску тверди. «Боже, помоги мне, сволочи и психопату, доплыть обратно!»

Анна в это время, уложив подопечную поросль на послеобеденный сон, присела перекусить с другими нянечками. Успела проглотить две ложки каши и больше не смогла — к ней пришла тревога. Сидела, откинувшись на спинку стула, смотрела на двух подруг, азартно обсуждающих тайную жизнь третьей, и пыталась понять причины своего беспокойства. Она стерпелась с ужасом из прошлого, но это гнетущее, ноющее, словно зубная боль, чувство явно было продуктом сего дня. Женщины, привычные к Аниным странностям, всё же заметили оцепенение девушки, прекратили своё балагурство и одна из них осторожно помахала ладонью перед её глазами.

— Аня, ты где, дорогая, обед стынет.

Она тряхнула головой и принялась доедать всё, что было положено. После мыла посуду, кормила детей полдником, выводила ватагу на прогулку и за такой суетой отвлеклась, забылась. Когда к четырём часам пришла её вечерняя сменщица, Анна с застывшим лицом вышла из детсада и вдруг ожила совершенно. Под цветущей черёмухой, в дворовой беседке сидел Иван.

Приблизившись вплотную, Аня провела ладонью по его небритой щеке.

— Только вчера щетина как наждачка была, а сегодня уже как варежка шерстяная.

Он объяснял с удовольствием:

— Ещё недолго, и мягкой станет, как плюшевая подушка. А хочешь, сейчас дома и побреюсь.

Аня лукаво смеялась: — Боюсь, Ванечка, не будет у тебя на это времени. Нам с тобой ребёночка нужно делать. Ой как надо... — В притворном смущении прикрыла рот кулаком.

Впервые взявшись за руки, побрели в ажурной, лёгкой тени городских клёнов, не замечая душной жары, прохожих, машин и других явлений здешней жизни. Неподвижный воздух был насыщен запахом мягкого асфальта и густ от машинных выхлопных газов. А может, это демоны злобились оттого, что не имели теперь доступа к их сомкнувшимся душам.

3.07.2014 г.

Олег
ЛАПШИН

Рассказы



Олег Валентинович ЛАПШИН

Родился 4 ноября 1963 г. в пос. Шпалозавод Томской области. В 1987 году окончил механико-математический факультет Томского госуниверситета. Работает в Томском научном центре ведущим научным сотрудником, доктор физико-математических наук.

Автор поэтической книги «Лировый месяц» (1993 г.) и сборника рассказов «Набор сувениров» (2008). Лауреат городского литературного конкурса «Томская книга» (2008 г.), лауреат юбилейного областного фестиваля «Томская книга» (2009 г.), финалист премии «Нонконформизм – 2015». Печатался в журналах «Юность», «Начало века», «Сибирские огни», «После 12» и др.

С 2000 года член Союза российских писателей.

СЕРГЕЙ СВИРИДОВ И ДРУГИЕ ТОВАРИЩИ

МОРЕ

Море не то чтобы смеялось, но как-то всё равно что показывало Гостину язык, словно говоря: «Ну, вот и я! Что, не ожидал меня таким увидеть? На реку похоже, да, на твою широкую Обь?». Действительно, было раннее утро и на море лежал туман, который вдали очень уплотнялся — и его полоса уже походила на достаточно материальную и осязаемую ленту противоположного берега, из-за которой море суживалось до размеров реки. Но вскоре туман начал понемногу рассеиваться, а вместе с ним принялся исчезать мираж противоположного берега — и Чёрное море, сине-зелёное, как глаза милой девушки, разлилось и превратилось в прекрасные очи, стало бескрайним и одиноким, как и Гостин, так как на берегу в этот ранний час ещё никого не было. Может быть, люди уже и были, но они находились на достаточно большом расстоянии от него, испытывая то же чувство одиночества, что и он.

Берег являлся не песчаным, а состоял из твёрдых галек, которые достаточно больно действовали на голые ступни — и Гостин от этого морщился и вспоминал мягкий песчаный берег на родной Оби. Волны моря, уже ослабленные пирсом, набегали на берег. Пирсы располагались вдоль берега через равные промежутки не времени, а пространства; и неподалёку расположенная вышка для прыгунов в воду напоминала недостроенный дом. Вышка состояла из бетонных свай и перегородок — её рама казалась грандиозной, потому что чувствовалась исходящая от неё некая сила, как от занимающейся аэробикой в этот час стоявшей на пирсе женщины.

Женщина была атлетически сложена, одета в шорты и короткую майку и напоминала дверь в номере пансионата, в котором устроился Гостин. Дверь, как, впрочем, и другая мебель в номере Гости-на, была такой же загорелой, то есть коричневой, и наклеенный на неё выступающий дощечками орнамент напоминал рельефные мышцы пресса у сильного, поджарого пловца, как у той занимающейся аэробикой женщины.

Вскоре женщина-дверь разделась и, оставшись в купальнике, вошла в море и поплыла, незначительной передвигающейся деталью

добавившись в его облик. Чинно прохаживающиеся по пирсу чайки напоминали почки вербы, словно пирс это был и не пирс вовсе, а плодоносящая ветвь. А море в этот момент мерещилось стволем сине-зёленого, покрытого корой волн, бескрайнего дерева — и дерево лежало, так как было до того мощным, что не могло всю свою мощь вынести и в бессилии падало на землю от силы своей, как если бы ту силу представить жиром — и когда очень тучный человек не может даже встать, а всё время лежит. Так и море от своей огромной силы всё подняться не могло и позволяло людям-лилипутам, как по Гулливеру, по нему ползать.

Кора волн набегала на берег то с большей силой, то с меньшей — и Гостин даже решил, что наибольшую силу волны должны достигать на свой девятый приход (по аналогии с девятым валом) и, дождавшись минимального удара волн о плечи, начал считать. Но у него почему-то всё время получалось, что наибольший удар волн наблюдался в седьмой раз.

Гостин вошёл в воду, которая поначалу показалась ему несколько холодной, но затем, скользнув в неё всем телом под кору волн, он, словно толстокожая букашка, быстро притерпелся к ней, почувствовал себя комфортно и поплыл, стараясь держаться неподалёку от пирса.

Между тем женщина-дверь, заплыв, по меркам Гостина, достаточно далеко, вскоре вернулась обратно и вышла на берег. Она легла на нагрешую под солнцем гальку и замерла, словно замёрзла, точно она была шоколадным мороженым.

В это время на берегу то там, то здесь начали появляться отдыхающие, ещё белые и не покрытые шоколадным загаром. Гостин тоже вылез из воды на берег, лёг неподалёку от пирса на большое полотенце и стал наблюдать.

Люди постепенно прибывали и располагались у моря, словно ученики возле своего большого учителя. Наверное, каждый из них хотел окраситься в коричневый цвет, подышать морским воздухом и окунуться в солёную воду.

Гостин увидел, как неподалёку от отдыхающей женщины-двери разложила пляжный коврик и устроилась на нём очень (даже безобразно) полная девушка, совсем некрасивая. Девушка, сняв с себя брюки и футболку, осталась в скупом купальнике и в полной мере выказала своё безобразие, так как складки жира на её туловище и ногах были ужасны и напоминали рябь на воде.

Девушка, не обращая никакого внимания на окружающих, взяла в правую руку небольшую спасательную подушку и вошла в воду, легла на подушку и поплыла, завернув своё тело в одежду моря. Над водой, над гладью моря возвышалось только её значительное, очень полное лицо — и от этого казалось, что будто бы само море

определилось и как бы идентифицировалось в этом лице и показалось в нём, словно море раскрыло своё лицо и как бы сказало: «Вы долго мной пользовались и боготворили меня, и меня любили как учителя и друга. А я теперь прошу вас взять меня замуж и поэтому показало вам своё истинное лицо сильной девушки; а силу я свою отразило в том, что сделало девушку очень толстой. И согласны ли вы на мне такой жениться? Конечно, я не такая стильная, тонкая и фигуристая, как ваши змеевидные реки. Я жирная от силы своей, но разве вы не знаете, что сила всегда красива? Я — море, и обладаю такой глубиной, которая и не снилась вашим прекрасным рекам. Захочет ли кто из вас на мне, борце сумо, жениться? Я же — море, и необъятна, как работающая на валке леса сибирская баба».

Неуклюже поплавав недалеко от берега, толстая девушка, зажав в правой руке подушку, вышла на сушу и, подойдя к пляжному коврику, коленями уселась на него, бросила подушку и начала расчёсывать длинные тёмные волосы. Только сейчас, похолодев несмотря на начинающуюся жару, Гостин увидел, что у девушки по локоть отсутствует левая рука, и оставшаяся короткая культя напоминала приделанную к туловищу белую скалку. Скалка немощно свешивалась с плеча девушки и ещё больше безобразила её, не оставляя никаких шансов на «тесто» для «жениха и невесты».

Девушка ещё некоторое время мужественно позагорала на пляже, стараясь не обращать внимания на то, как люди пытаются не обращать внимания на её уродство — и, одной оставшейся неповреждённой рукой проворно собрав вещи, пошла прочь от моря по направлению к визжавшей музыке автомашин, проезжающих по неподалёку расположенной автостраде.

Гостин смотрел ей вслед, и ему казалось, что в облике этой девушки отразилось само море, когда она, сильная и мужественная, спокойно шла мимо людей и, как и море, в глубине своей смеялась над ними, понимая, что они сторонятся и даже побаиваются её, и предпочитают её силе свои бессильные реки; или, лучше сказать, люди любили хрупкую красоту рек, не догадываясь, что настоящая сила тоже всегда красива. Или догадывались об этом, но всё равно бежали от неё, так как сами были слабы.

Гостин перевёл взгляд на загорающую коричневую женщину-дверь и почему-то вспомнил одну историю, произошедшую очень давно, и даже неловко о ней говорить, но море требовало хоть какой-нибудь исповеди, когда волнами, то надвигаясь, то отступая, оно как бы призывало человека к себе, манило и заставляло трепетать перед страшной и немощной культёй капитана Сильвера. То есть лучше сказать, что море вдруг оттенило в памяти человека то, о чём Гостин уже давно не вспоминал. А здесь, взглянув на женщину-дверь и на других, практически коричневых от загара

людей, Гостин вдруг вспомнил вот такую историю, непосредственным свидетелем которой являлся и он.

Гостин тогда, чуть больше двадцати лет назад, работал инженером в одном научно-исследовательском институте и мелкой рыбёшкой плавал в его недрах среди других рыб, преимущественно покрупнее, некоторые из коих имели даже научные степени, и потому могли глубже других нырять в океане знаний и доставать на стол науки ясные жемчужины Истины, крупной солью посыпающие абракадабровую солянку научных отчётов. Так тогда казалось молодому, только что окончившему томский университет, Гостину. Но новоиспечённого на университетской сковородке специалиста-рыбу отправили не на ловлю жемчужин, а на два месяца определили на стройку второго корпуса института, так как учёных рыб становилось всё больше, к тому же необходимо было где-то размещать дополнительное пламя нового научного оборудования, с помощью которого предполагалось осветить доселе недоступные глубины неисчерпаемой Истины.

В тот раз, когда в обеденный перерыв они (несколько человек) отдыхали в строительном вагончике, к ним зашёл начальник одного из отделов института кореец Цой. Увидев благодушно расположившихся, словно на морском пляже, людей, Цой не менее благодушно заметил, что скоро, ребята, на работу, и отдельно обратился к уже довольно-таки пожилому человеку, институтскому слесарю Майорову, сказав: «А вот мы Майорова в первую очередь и отправим на стройку!».

Возможно, шутка являлась и не совсем удачной, но то, что произошло потом, никто никак не мог предвидеть. Это была не драка. Майоров молча стянул с себя резиновый сапог и кинул его в Цоя, зло прошипев: «Заткнись, черномазый!». Естественно, наступило гробовое молчание. Кореец в этой ситуации повёл себя по-мужски достойно, сказав Майорову: «Ты что, ты хоть сам-то понимаешь, что себе позволил. Что я тебе такое сказал... Как ты мог! А ещё ветеран труда». С этими словами Цой вышел из вагончика.

Почему-то именно сейчас, перед смеющимся лицом моря, Гостин вспомнил эту давнишнюю историю. Море смеялось не над корейцем, а над тем же Майоровым, Гостиным и другими людьми, жаждущими во что бы то ни стало загореть и покрыть свои тела коричневой краской, чтобы на некоторое время превратиться в негров и гордиться своей новой кожей, став чёрными словно в наказание за неосторожные, обидные слова; наказание, которое вынесла им море-девушка — толстая, уродливая и мужественная, со страшной волшебной капитанской культёй вместо левой руки.

ЗОЛОТОЙ ЧУМ

Двери автобуса автоматически открылись на остановке, — и в автобус вошёл прилично одетый горожанин. Чистое зимнее пальто, каракулевая шапка завивалась на голове вошедшего, и его твёрдая поступь в сочетании с белеющей бородкой придавала человеку интеллигентно-патриотический вид.

На вошедшего тут же уставились сидевшие неподалёку два неприглядных мужичка, и один из них, вдруг обращаясь в его адрес, сказал: «О, депутат Балтики!». Все пассажиры сделали вид, что ничего не услышали, а интеллигентный мужичок тоже тихо прошёл по салону и сел на свободное место у окна, неровно заросшего густой морозной трущобой.

«Вот так они меня! — с негодованием думал вошедший. — Для них я — депутат Балтики. Уже прилично одеться нельзя». Сидя теперь в городском автобусе, человек очень досадовал на то обстоятельство, что он так и не может закончить ремонт в собственном доме. Действительно, с ремонтом надо было что-то решать. Недавно пришёл к нему домой приятель с двумя очаровательными женщинами, а у него такой кавардак... Да ещё это неудобство с унитазами на кухне. Было заметно: женщины сразу погасли и вскоре заторопились домой. Нет, с ремонтом надо заканчивать. А то какой толк из того, что он на кухонный стол поставил вазу с цветами, если в то же время над ним свисает облупленный потолок. И понятно, что цветы совершенно не могут найти себя рядом с чёрным окном без штор, в которое, словно шкура неубитого медведя, любила заглядывать с вечера подошедшая по зимней дорожке страшная, неуютная тьма. Короче говоря, всё у него было во что попало побито, и ничего хорошего от такого беспорядка не могло произойти.

Человек поёжился и вспомнил, как этим прошедшим летом ездил в посёлок Тяхтерево, расположенный на севере Томской области. Чего он там искал, какие пласты? Хотя сам он был родом оттуда, но всё равно, чего он своей образованной головой такого вообразил, чего, словно в Москву за песнями, собрался в это богом забытое Тяхтерево?

Местные жители встретили приветливо, и обидным прозвищем его никто там не называл. Лежащие в ограде толстые чурки свежо пахли лесоповалом, а гнилые доски наклонившегося сарая навалили запах свежих плодов, которые до поры до времени дремали, спрятавшись в толще дерева. Дерево со временем тлело и разрушалось, а невидимые вечные плоды начинали проступать и благоухать, навевая мысли про непростое, особенное место, которое было отведено судьбой посёлку Тяхтерево.

Возведённого двумя городскими мужичками в ранг депута-

та Балтики человека звали Виктором, и, отдыхая в Тюхтерево, он пытался написать философскую статью, но у него ничего не получалось. Виктор вышел на улицу. С неба ничего не падало. Только снизу вверх летели потоки воздуха, своими прозрачными столбами кормившие людей живительной прохладой. На улице, чуть поодаль от Виктора, появился одетый в защитного цвета балахон человек, который, заросший и немывтый, тихо к нему подошёл. Это был Сашка, друг детства и одноклассник Виктора, после школы так и оставшийся жить в Тюхтерево. Сашка подошёл к Виктору, они поздоровались и даже обнялись, хотя грязный балахон и костюм депутата Балтики так не подходили друг к другу.

Сашка начал жаловаться, рассказывая про свою жизнь, и просил купить у него ведро брусники за пятьсот рублей. Наполненное красной брусникой ведро стояло рядом и словно сгорало от стыда на такое предложение своего хозяина.

— Суди сам, Витя, — продолжал жаловаться друг детства, — получаю по безработице одну тысячу восемьдесят рублей в месяц. Хлеб не покупаю, а пеку сам. Леспромхоз остался нам должен, а денег так и не выплачивает. Как-то раз мы все собрались и в суд подали. Суд выиграли, а денег леспромхоз так и не выплачивает.

— А вы обращались в районную службу судебных приставов? — деловито поинтересовался Виктор.

— А разве ещё куда-то надо обращаться? — удивлённо спросил Сашка. — Мы же выиграли суд, а в решении суда чётко написано, что леспромхоз должен выплатить нам имеющуюся задолженность.

— Да нет же, вы не совсем понимаете... Суд прошёл, но его решение заставляют исполнить судебные приставы. Езжайте в район и напишите приставу заявление, что так-то и так-то, мой должник отказывается выполнить решение суда, — Виктор посмотрел на ведро с красной брусникой и поморщился оттого, что, по идее, он должен был бы купить это ведро у своего бедного друга детства, но ему так не хотелось этого делать. Да и денег у Виктора, в общем-то, лишних не имелось.

— У нас же (случайно не слышал?) некоторые от такой жизни ушли на поиски Золотого чума, — продолжал Сашка.

— В первый раз слышу. И что это за Золотой чум?

— Говорят, если к северу идти так, чтобы Обь от тебя оставалась в километрах десяти, то в тайге можно наткнуться на Золотой чум. Говорят, что на берегу даже определённая метка есть, от которой нужно в тайгу идти всё время прямо — и прямо к чуму придёшь.

— Интересно, — Виктор почувствовал, что его сердце учащённо забилося, как у охотника, напавшего на след резвого зайца. — И что же, кто-то нашёл этот самый Золотой чум?

— А кто его знает. Многие не нашли и вернулись. А кто не вернулся — может, он и нашёл, если не заблудился или не утонул. Паша Иванов исчез, не вернулся. Мишка Коробкин тоже сначала исчез, но потом его всё же нашли — утонул в кувшинках озера на рыбалке, когда сердце не выдержало от появившегося в воде образа прекрасного человека.

— Прекрасного человека? — переспросил Виктор.

— Да. Смотрит он в воду, а там, среди кувшинок и листьев, образ в костюме и галстукe колышется. Вот страх-то где! В чёрном костюме, за горло хватает, хотя никакой руки из воды не подаёт, а всё равно дивно притягивает к себе, словно самый близкий родственник...

— А ты-то откуда знаешь, что видел перед смертью Коробкин? — удивился Виктор.

— Да они все это видят. То есть я хотел сказать, что мы, конечно же, не знаем, что, умирая, видит человек. Но я так предполагаю: видит он в воде как бы своё отражение, но в то же время, как в зеркале, когда, например, девушка смотрит — а там, на глянце полированном твердыни, её суженый появляется. И разве может сердце выдержать такого страха. Сердце девичье разве сможет перенести трепет от увиденного ею? Как же можно ей без инфаркта не испугаться своего будущего мужа и не умереть от разрыва сердца.

— Так какой же тогда будущий муж, если девушка умерла? — Виктор снова хотел поймать в неувязке хода событий Сашку. — Значит, пророчество зеркала не сбылось?

— Вот то-то я и хочу сказать, что на самом деле это её смерть к ней явилась, а не будущий муж. Так и здесь: когда Пашка в воду глянул, там и увидел свою смерть, словно красна девица суженого. А он, ну, может быть, наоборот, увидел не человека в костюме, а прекрасную незнакомку — и упал от разрыва сердца в озеро. Ведь в районе делали вскрытие Пашки. Там, открыв его, словно ящик, врачи и увидели, как его сердце пополам было разбито. Как будто оно покололось на части от внезапно нахлынувшего чувства, которое не смогло в себе разместить.

Сашка замолк, но через некоторое время продолжил:

— А мы, кстати, сегодня собрались на катере плыть вниз, тоже попробуем найти Золотой чум.

Видя замешательство Виктора, Сашка добавил:

— Не бойся, не обманем. Это ты нам врал, а мы — люди честные.

— И когда же это я вам врал? — откровенно удивился депутат Балтики.

Сашка, хитро прищурившись, воскресил давно прожитое и забытое:

— А ты вспомни, как мы по твоей милости танк искали!

— Ах да, танк, — депутат Балтики, вспомнив далёкое детство, улыбнулся.

А дело было так. Как-то летом, когда ему было лет десять, Виктор рассказал своим друзьям, что в прибрежном, расположенном рядом с их посёлком лесу он видел подбитый танк. Друзья поверили, поверил в свой рассказ и сам Виктор, и вместе с друзьями с воодушевлением начал искать танк. Прибрежный лес был редкий и больше походил на лесной островок, который просматривался практически насквозь. Танк, конечно же, не нашли. В конце похода друзья начали сомневаться в правдивости рассказа Виктора, но тот упрямо искал большую военную машину, чуть ли не заглядывая под маленькие кустики... Танк так и не нашли. Ребята, словно партизаны, прошли весь лесок, съев на привале три пряника. По пути даже успели поиграть в войну, стреляя друг в друга из игрушечных пистолетов. Сейчас же, вспоминая поиски танка, друзья грустно улыбались.

— Да, раньше мы, будучи детьми, искали в нарымском лесу всего лишь простой железный танк, а теперь, став взрослыми, ищем, ни мало ни много, целый Золотой чум. Теперь ответь мне: что реальнее найти? — Виктор опять превратился в философствующего депутата Балтики. — И надолго уплываете?

— На несколько часов, к ночи вернёмся. Хочешь, так поплыли вместе.

Будущий депутат Балтики на мгновение задумался, а затем, не задумываясь, проговорил:

— А что, пожалуй, поеду.

Такой поворот событий являлся хорошим поводом забыть про ведро брусники за пятьсот рублей. Хоть и жалко становилось Сашку, но у небогатого горожанина совершенно не было лишних денег. Нежность растущих в саду цветов будто желала удержать Виктора на берегу — и без иконы цветы росли вокруг автомобильного колеса, из шины выглядывая своими разноцветными пропеллерами...

Катер стоял у берега. Его чёрный киль и возвышавшаяся над ним белая рубка ждали людей. Сашка, Виктор и капитан катера Андрей зашли на палубу. Везде были железные люки, и даже иллюминаторы при необходимости могли быть закрыты возвышающимися над ними, как козырьки, крышками. В кубрике чистота уже давно исчезла, а неприбранный стол в сочетании с грязной постелью создавал не радующую глаз обстановку. Кровати были коричневые и полированные, как в поезде, и упирались в нос судна.

Сашка быстро завалился на одну из кроватей, его примеру последовал и Виктор. Андрей остался наверху в рубке и завёл мотор. Перебиваясь в своём стуке, мотор постепенно начал отдалять ка-

тер от берега. Виктору очень хотелось расспросить Сашку о Золотом чуме, он не удержался и спросил:

— Так что это за Золотой чум? Честно говоря, ничего я здесь не пойму. Поясни.

— Да сами мы не понимаем, — ответил Сашка. — Рассказывают, что где-то, отсюда недалеко, в тайге есть Золотой чум. Тому, кто в него заходит, становится очень хорошо и спокойно, как будто человек ещё при жизни в рай попал. Хотя зря мы тебя взяли.

— Почему? — Виктор удивлённо приподнял брови.

— Городской ты, при деле. Не то что мы, деревенские горемыки. А Золотой чум открывается только бедным и убогим.

— А я тоже бедный и убогий.

— Ты? Ты же, наверное, какой-нибудь профессор, получаешь зарплату. Даже можешь из города к нам в гости приехать. А мы...

Сашка махнул рукой.

— Нет, нет, ты послушай, — депутат Балтики приподнялся на локоть и с языка развернул целую тираду о том, как тяжело в городе жить, а в деревне хотя бы скотина есть.

— Да, коров доим, из них белую кровь выкачиваем. А Золотой чум, он же нас, словно лампу электрический свет, наполнит ясностью и чувством душевного отдохновения. Так привяжет к себе, что невозможно станет от чума уйти, даже на миг лишиться этого чувства будет просто невыносимо.

— Мы же выпивать взяли кое-что горячительное. Выпей — и почувствуешь, как наполняешься луной, и истинная радость тебя охватит, дым эйфории.

— Нет, ты не понимаешь...

Сашка замолк. Его не по годам состарившееся лицо было спокойным, а нос как-то жалко высывался из лица, словно из яйца — ещё не оперившийся цыплёнок. Нос был голым и торчал как кость: будто кто-то нарочно переломал некогда гладкое, лишённое всяческих выступов безвольное лицо, а затем сдвинул его таким образом, чтобы в конечном итоге образовался вот такой уродливый выступ, гордый и независимый, готовый отразить любую атаку горестей и бед. Так жалко стало этот Сашкин нос Виктору. А Сашку в тот момент он жалел только как довесок к носу. И правда, разве нос виноват, что его хозяин так плохо живёт и пытается продать бруснику.

Виктор решил показать Сашке, что у других тоже не так всё хорошо, и, повернувшись в сторону неглубоко дремавшего приятеля, поведал другу детства следующую историю про одну миленькую собачку Джерри, живущую в том же городе, что и депутат Балтики.

Рассказ Виктора

Эту историю рассказали мои друзья, супруги Синицыны. Как-то вышли они вечером на улицу, погулять со своей собачкой Джерри. Стояла осень, и вечерний сумрак, точно густой, без запаха, дым, уже заволакивал всё вокруг, скрывая под собой голые стены городских домов. Собачка бежала впереди хозяев и вскоре скрылась в тумане сумрака, словно она перестала существовать, переселившись в блаженный, фантастический мир.

Но блаженство длилось не долго. Вскоре мои друзья увидели, как, вынырнув из тумана, Джерри, хромая, поковылял им навстречу. Хромал он потому, что его передняя левая лапка была поджата и висела, как переломленный прутик. Каким образом Джерри умудрился сломать лапку, разгадка этого так и осталась скрытой в том вечернем сумраке.

Но делать нечего, собачка страдает, надо было быстро решать проблему. Ведь перелом не залижешь, не заставишь его по щучьему велению срастись, словно лёд в образовавшейся проруби. Но в такое позднее время учреждения ветеринарии уже не работали, из-за чего пришлось хозяевам везти Джерри в человеческую больницу, в травматическое отделение.

Приезжают они в больницу, бросились к врачам, так и так, говорят, у собачки ножка сломалась. Врачи глядят на Джерри, сюсюкают с ним, несут его на рентген, как ребёночка, осматривают, душу в него свою вкладывают. Во всяком случае, не откладывая в долгий ящик, врачи быстро скрепили косточку и снова её в собачку зарыли — лучше прежнего косточка легла, сделав переднюю левую лапку самой прекрасной из всех.

Буквально уже через час, если отсчитывать с того момента, как собачку поднесли к белому, исцеляющему огню больницы, не прошло и часа, а все уже стоят в холле травмпункта, прощаются. Каждый из врачей норовит Джерри за здоровую лапку потрогать, словно с почётным посетителем-иностранцем проститься. Медсёстры посылают собачке воздушные поцелуи: мол, прощай, наш дорогой гость!

И тут, прямо в разгар этой всей отдушины, открывается входная дверь и вбегает человек, мужичок, вида страшного, ладонь левой руки в её близнице, правой руке зажал. Причём ладонь была замотана в белую муфту бинтов, в некоторых местах назревающую розовым пламенем. Это был не ожог, а из русла сосудов выступающая кровь. Человек крикнул: «Скорее, помогите! Палец топором отрубил!».

«Я живу отсюда неподалёку, в частном секторе, — продолжал говорить мужичок. — Начал дрова колоть и палец нечаянно отрубил. Смотрите: он болтается почти что на одной коже. Замотал его

и сюда вот прибежал». И, точно оправдываясь, добавил: «Темнеет уже рано, пока с работы пришёл, пока то да сё... Колоть дрова уже в темноте начал и не заметил, как по пальцу угодил!».

Врачи посмотрели на человека, но никто к нему не подошёл.

— Ваш полис давайте. У вас полис есть? — спросила его одна из врачей, очень симпатичная девушка.

— У меня нет, я не взял полис, — начал оправдываться мужичок.

— Палец отрубил. Болтается, как собака на привязи.

— Если полиса нет, тогда платите, — девушка села за стол и за чем-то открыла лежащий на нём журнал.

— Но я же не взял с собой деньги, — сказал, растерявшись, мужчина. Он посмотрел на собачку Джерри и продолжил: — Я же палец отрубил, топором. Мне помощь нужна.

— Всем помощь нужна. Неизвестно только, кто нам поможет, — сухо сказала пожилая врач и, уже закрывая за собой дверь в рентген-кабинет, добавила, обращаясь к сидевшей за столом невесте (так была хороша девушка в белом халате!): — Без полиса бесплатно не обслуживать.

Человек стоял, прижимая свою ладонь к груди и чуть не плакал от боли и жалости к себе, глядя на собачку Джерри с перебинтованной лапкой. Милая, пушистая собачка тоже смотрела на некрасивого, страшного вида небритого человека и, словно ребёнок, сидя на хозяйских руках, дотрагивалась до него взглядом, как бы сочувствуя ему на расстоянии.

Врачи сновали мимо человека, совершенно его не замечая. Симпатичная медсестра, уткнувшись в больничный журнал, ни о чём не думая, водила по нему шариковой ручкой. Моим друзьям стало неудобно и неловко оставаться в больнице перед лицом такого чёрствого представления. Они, держа собачку на руках, быстро вышли в тёмно-синий вечерний сумрак. Мужичок остался в холле больницы. Мои друзья, когда выходили, видели, как он стоял, и его перебинтованная, по-собачьи сложенная на груди рука коптила больницу своим никому не нужным видом.

Девушка-медсестра продолжала сидеть и чего-то записывать в больничный журнал, а черты её лица, словно у судьи, были спокойны и строги. Возможно, она заочно училась на юридическом факультете.

Конец

Некоторое время Сашка молчал, а потом выдал следующий неожиданный комментарий:

— У вас хоть собак лечат. А у нас ни собак, ни людей — никого не лечат. Загибаемся только так. Одна надежда на Золотой чум и осталась. В чуме все исцеляются от своих болезней, словно болезни

там умирают... С другой стороны, ну как девушка поможет этому отрубившему себе руку мужику? Она же не бог. А для собачки она — бог, вот и помогает собачке. Если бы тот мужик прибежал и начал лепетать что-нибудь про её божественную красоту, может быть, и помогла бы она ему. Не мог, что ли, сказать ей что-нибудь приятное... Конфет бы принёс.

— Сказать что-нибудь приятное в тот момент, когда ты держишь в руке свой отрубленный палец?! Сам жаловался, что вам тоже врачи не желают помогать. Пойди да купи им тоже что-нибудь приятное, — обескураженно возразил другу депутат Балтики.

— Не на что нам покупать конфет врачам. А собаки у нас тоже не ласковые — грубые и злые, на улице живут в холодной будке, — буркнул Сашка и повернулся спиной к Виктору.

Сашка снова замолк. Было слышно, как в днище катера стучит вода, и лёгкая качка стелет приятный отдых. Депутат Балтики попытался немного вздремнуть, но не смог. Он встал и посмотрел в иллюминатор. Свинцовая вода в прицеле его глаз раскачивалась, как маятник, а вдали маячил берег с лесом. Тайга стояла тёмно-зелёная, нервно скрывая красные и чёрные ягоды, словно разноцветные пуговицы, крепко пришитые к френчам своих веток.

С такого расстояния ягод не было видно. Только похожий на халву коричневый берег мужественно сдерживал реку, не давая ей разлиться и стать морем. Вскоре появилась заброшенная деревня, которая называлась Городище. Виктор в детстве часто вместе с отцом посуху проезжал мимо этой деревни на свой покос. От деревни ничего не осталось. Только чёрные брёвна, словно зола, были разбросаны по всей округе. Иногда попадалась часть какой-нибудь стены с притянутой к ней белой штукатуркой. Пол в разрушенных домах давно зарос травой и зелёным эластичным лопухом. Однажды, когда они с отцом уже практически проехали эту разрушенную деревню, Виктор нечаянно оглянулся и увидел (или ему это просто показалось), что из дома, в котором мелькала изношенная и потрескавшаяся мебель с безобразной печкой, выглянула голова уже пожилого мужчины, лысого, с огромным лбом и очками-консервами. Мужчина был худощав и очень высокого роста. Виктор его и увидел, и не увидел одновременно, так как мужчина тут же исчез. Исчез очень стремительно, из-за чего можно было заключить, что он не имеет толщины, и, повернувшись в профиль, стал невидим. Наверное, этим человеком являлся призрак...

Катер медленно брёл по реке, и, вдохновлённый Городищем, Виктор снова спросил Сашку про Золотой чум. Сашка долго отнекивался, но в конце концов рассказал примерно следующее:

Золотой чум

Где-то на севере Томской области стоит Золотой чум. Он стоит в тёмной тайге и сам себя освещает, из своего золота облицовывает тьму. Только изнутри он не из золота, а построен из грубой кожи. И в нём вечно немощный пол, потому что так и хочется на него без спроса лечь. В чуме ничего нет, кроме посредине разведённого очага, в котором зреет рыжий огонь на похожих на кости ветках. Ветки никогда не сгорали.

А рядом с огнём стоит прекрасный кувшин. Он был пуст, только иногда в него запрыгивал огонь из очага — и кувшин оживал, танцуя по мягким шкурам сильные чувства, и даже, словно при полтергейсте, смеялся от радости, отрывался от пола и взмывал вверх под вершину чума. Смеялся кувшин оттого, что он может вертеться и вновь себя лепить, изменяя свою форму так, как захочет.

Кроме огня и кувшина, в чуме ничего не было, если не считать того, что застывшие в покое извилистые палки его всё время поддерживали; из своей грубой силы они составляли всю тяжёлую, неотёсанную мебель. И только кувшин с розовым огнём внутри танцевал своим изваянием.

А когда огонь из кувшина выпрыгивал обратно в состоящее из ветвей деревянное седло, в увитый камнями очаг, — кувшин меркнул и недвижно падал на лежавшие на твёрдом полу мягкие шкуры, и останавливался, как только что умерший человек, замёрзший, словно дивная роза.

И те, кто попадал в этот чум, они становились и не мёртвыми, и не живыми, или же и теми и другими. Они могли лежать и не двигаться, но, выявив в себе прекрасный образ, его словно искорку тронуть и возле очага проявить, поставив его у жизни на глухой камень.

Так и лежали те, кто пришёл в Золотой чум, как мумии, наслаждаясь покоем. И только время от времени люди вместе с кувшином поднимались и начинали быстро ставить столы, соорудив их из чурок и заносимых с улицы досок от сломанных гробов. От стола к столу поднявшиеся люди сидели и радовались, воскресая от сна и трогая подлетавший кувшин. Так и пили они и ели, когда из кувшина к ним на стол, на гробовые доски падали яства и крепкие вина. Роды принимали люди у кувшина, когда он рождал для них свежие фрукты и жирную курицу. И рыбачили люди от кувшина, когда он подавал им из себя рыбу.

Всё давал кувшин попавшим в чум людям. Да и сами они давали друг другу отдохновение, когда друг с другом разговаривали и радостно делились впечатлениями о нюансах своего покоя, который открыл им Золотой чум на все времена.

Конец

— Интересная история, — депутат Балтики к тому времени сно-ва находился на своей лежанке. — Золотой чум — это хорошо!

— Пойду, посмотрю, как там Андрей, — Сашка встал и, пройдя небольшую каюту, по ступенькам вверх поднялся в прямоуголь-ную, вытянутую рубку.

— Скоро приедем? — спросил Сашка.

— Как увижу на берегу какую-нибудь причудливую корягу, бу-дем приставать, — Андрей крепко держал штурвал, не давая ему увильнуть в сторону. — А впрочем, можно и сюда.

Андрей указал на лежащее чуть впереди на коричневом берегу сухое побелевшее дерево. Его корень полностью оголился и пред-ставлял собой замысловатую звезду, восьмиконечным крестом по-вёрнутую в сторону реки.

Вскоре они пристали, и Андрей, Сашка и депутат Балтики сошли на берег. Причём депутат Балтики выглядел так, будто он, словно гость и большой человек, должен был вот-вот взять с родного бе-рега горсть земли и, как халву, попробовать её.

Некоторое время товарищи молчали. Костёр разжигать не ста-ли, но, постелив брезентовый плащ, достали бутылку с закуской и немного выпили. К этому времени Виктор уже достаточно хорошо понимал, что его друзья, по большому счёту, с самого начала не надеясь найти Золотой чум, решили просто отдохнуть на берегу и выпить и, если останется время, побродить по прибрежному лесу и побрать ягоды.

— Может, искупаемся? — Сашка с готовностью стал снимать с себя грязный балахон.

— А не боишься в воде увидеть образ прекрасного человека? — пошутил Виктор.

— Всё равно от этого образа никуда не уйти. Сейчас искупнусь и, уже чистый, отправлюсь искать Золотой чум, — сказал Сашка, но к реке не пошёл.

— А в Золотом чуме сидит чудо-баба, прекрасная Лиза, и кол-дует, расплетая и заплетая косу. А заплетает она в косу уже ново-го, очередного своего постояльца и к себе привязывает, как при-вязывает берег лодку. Только лодкой — прекрасная Лиза, а берег за лодкой всё время тянется. А берегом был путник, зашедший в Золотой чум и оставшийся у лодки навсегда. Потому что та лодка была не простая и не то чтобы золотая, а она всё в себе содержала. И никуда не нужно было идти путнику, никуда не нужно было ему ехать — всё содержалось в той лодке, все блага и сокровища. И но-вые земли в ней лежали, на которых росли множества твёрдых и всяких разных других ветвей. Чащи яблок и персиков невыносимо освещались в лодке розами и слезами чистых рыбок, плавающих в ней, как в озере, хотя лодка была совершенно сухая и совсем не

мокрая, — Андрей замолчал, выпитая стопка явно подействовала на него.

— Примерно то же самое мне и Сашка рассказал, — сказал депутат Балтики. — Однако, друзья мои, какие фрукты и откуда могут взяться в остяцком чуме, пусть даже и в золотом! Здесь явно есть некоторое противоречие.

— Нет, ты не понимаешь, — сказал Виктору теперь уже не Сашка, а Андрей. — В Золотом чуме всё есть. Он как рог изобилия — всё в себе содержит. Хотя, если в него зайти, то особенно-то ничего не увидишь — практически пустой рог. Но какие божественные звуки он мог рождать! То есть из себя он мог черпать всё, что ни пожелаешь. А что же, мы, когда попадём в чум, разве не попросим нам дать да хотя бы и тех же бананов, или вина французского с толстой упаковкой закуски. Чтобы закуска была обязательно в консервных банках фабричного производства, похожих на круглый диск автомата ППШ второй мировой. Или, например, свежий букет роз вдруг сам собой появится в стоявшем посреди чума кувшине. А может быть, эти розы как бы символизируют красоту, сияющую на кувшине девичьего тела, словно татуировка, на которую можно только молиться приставшему к чуму путнику.

Сашка тоже, как и Виктор, заинтересованно слушал сказание о Золотом чуме, но уже в версии Андрея.

— То есть эта девушка с татуировкой и есть чудо-баба? — улыбаясь, спросил Сашка.

Андрей не успел ответить, так как в это время депутат Балтики, выпив вторую стопку, как-то растроганно посмотрел на приятелей и произнёс:

— Здесь мне Сашка: мол, профессор, из-за тебя мы Золотой чум не найдём. А я такой же, как и вы. Дым рассеялся, всё это наносное... Жена ушла. Квартира однокомнатная. Жена заставила перепланировку делать, а сама потом ушла. И остался я с тем, что получилось... Руки не доходят... Получился коридор, одна комната да кухня. Но некрасиво же, когда не могу перепланировку закончить. И получилась большая кухня, где стоят стол, плита, да ещё и умывальник с унитазом. Всё ободрано, стены серые. Вот так и живу, а денег ремонт закончить нет. Так и живу. Цветы засохли, а поставить новые стены так и не могу. Сам не умею, а нанять работников — денег нет. Шкаф ободранный, тараканов — море! Так что мне самый раз в Золотой чум перебраться. Это вы здесь как куркули живёте, — квартиры по сто квадратных метров. А мы-то, горемычные горожане, между камнями совсем растерялись... Хочу к чудо-бабе в Золотой чум!

Сашка и Андрей хохотали, глядя на разбушевавшегося депутата Балтики, такого же бедного, как и они, без окон и дверей стоявшего на берегу в кожаной комиссарской куртке...

Купаться Сашка так и не пошёл. Между тем уровень водки в бутылке постепенно падал, как ртуть в термометре при наступлении холода. Однако приятели постепенно разгорячились, разговелись и совершенно бы не почувствовали холода, если таковой вдруг бы неожиданно объявился на этом тихом берегу у реки Оби, серебрившейся, как ртуть. Сашка, выпив ещё одну стопку, вдруг начал собираться искать Золотой чум.

Товарищи начали уговаривать Сашку остаться в живых и никуда не ходить, и даже проголосовали. Оставшийся в меньшинстве Сашка всё равно упирался и даже подобрал какой-то валявшийся деревянный остов и, треща им, отделял кору от деревяшки до тех пор, пока вся деревяшка не стала гладкой, как клык. Ободрав кору, Сашка выбросил дощечку и ответил, что всё равно идёт в лес. Друзья хотели его схватить, но не смогли. Вырвавшись, Сашка толкнул депутата Балтики в солнечное сплетение и, перед тем как уйти, нашёл несколько слов. Его слова мало что объясняли, только образ прекрасного человека вырисовывался в них, когда Сашка бормотал про костюм и галстук, которые он так и не может позволить себе купить. Бормотал о том, что никогда ему не удастся жениться, так как никогда он не сможет появиться в девичьем зеркале, потому что у него нет этого злосчастного костюма.

После этих слов Сашка ушёл, а Андрей и депутат Балтики обескураженно отправились обратно к катеру. Последний тихо коптился в лучах заходящего солнца. Розовый закат неровно дымился снежирём в западной стороне. Рубка, словно невеста в белом, стояла на чёрной полосе палубы. Она молчала, будто готовилась, не дожидаясь остальных, вот-вот отплыть в далёкое плавание.

Делать было нечего. Андрей и невесёлый депутат Балтики по трапу перешли в катер и начали ждать Сашку, рассказывая друг другу одну за другой небольшие истории...

РЫБАК

Павел Светлов пропал в среду. Поехал утром на рыбалку и к ночи не вернулся. К этому времени на реке разыгрался вал. Сначала родные подумали, что Павел решил не испытывать судьбу и заночевал в лесу рядом с берегом. К следующему утру ветер стих, вал на реке прекратился, но пропавший рыбак так и не появился ни к двенадцати утра, ни к двум часам дня. В шестом часу вечера поехали искать Павла, но ни его, ни лодки не нашли. Если бы лодка перевернулась на реке во время вала, то наверняка она бы где-нибудь плыла днищем вверх или прибилась бы к неровному изгибу берега. Но за ночь неуправляемую лодку могло унести далеко

вниз по реке, и найти её делом становилось нелёгким. Становилось явной необходимостью организовывать целую экспедицию, на небольшом катере прочёсывать все волны и даже прибрежный лес — не на катере, конечно, но можно было выйти и побродить, осматривая всё вокруг.

Ходило множество слухов по поводу пропажи Павла. Ведь лодку так и не обнаружили. Значит, её не переворачивало на реке. Говорили, что где-то на берегу нашли шапку Павла с чёрными головнями от небольшого костра. Значит, он шёл пешком, без лодки. Однако, идя берегом, нельзя заблудиться. Так куда тогда исчез Павел? Говорили об инопланетянах, о загадочном Золотом чуме, который якобы видели в лесу. Поговаривали, что, возможно, Павел сейчас сидит где-нибудь в похожем на золотой остроносый чум инопланетном космическом корабле и пьёт необычный чай с ещё более необычными обитателями корабля, людьми-гуманоидами, по сравнению с которыми местный леший — свой парень.

Инопланетную версию исчезновения Павла косвенно подтвердила и местная гадалка Пелагея, раскинув карты сказавшая, что «Павел жив. Я вижу его живым, но он схвачен и не может вырваться из плена». На вопрос «Кем схвачен?» гадалка не могла ответить, только повторяла «милые мои, что знаю — то и говорю. Его схватили и держат. Может, за долги какие». Племяннице же Павла приснился сон. Будто бы видит она, едет какая-то машина, а в ней Павел сидит. Машина останавливается, и Павел открывает её дверцу. Племянница говорит: «Так тебя мы уже потеряли, два месяца ищем!». А Павел отвечает: «Какие два месяца, я всего три дня как из дома». Племянница проснулась, рассказала сон родным, и они ещё больше утвердились в том, что Павел жив.

С лёгкой руки гадалки милиция начала проверять всех знакомых Павла на предмет всяческих долгов и займов, но ничего существенного не обнаружила. Да и за выкупом к его родственникам ни кто не присылал. Однако вполне казалось возможным, что Павел находился где-нибудь в рабстве и питался сороками, которых ловил неловко и смешно, а хозяева сильно над ним смеялись и выстрелами умирили птиц да свистели за Павлом, когда тот убитую птицу, как охотничья собака, отыскивал.

Прошёл год как Павел исчез, родные продолжали его ждать. Но однажды в их посёлке произошло страшное событие: повесился один человек, рыбак Фёдор. Повесился и записку оставил. А в записке с обратной стороны он нарисовал рыбу, а на лицевой чёрным почерком было написано, что Павла они с Иваном Перемитиным убили, когда, приплыв на своё место рыбачить, увидели, как Павел их сети проверяет, а рыбу и остроносую стерлядь, словно небольшие ракетки, в лодку складывает и убийственно смотрит на

подъезжающих. Затем между ними завязалась перепалка, и очень сильный и большой Павел так напугал непрошенных гостей, что они в страхе на курок нажали и выстрелили в его грудь, чем-то напоминающую горькую плаху для женской головы.

Фёдор в записке утверждал: они с Иваном увидели, что, когда смертельно раненный Павел, покачнувшись, падал на дно своей лодки, то будто бы кто-то прозрачный между ними пролетел и на мгновение искривил просвечивающим туманом образ умирающего так, что Павел казался улыбающимся и нереальным, вслед за женщинами положившим голову себе на грудь, скрючившись, как плод в утробе матери. Немного полежав на дне лодки, Павел умер. Только солнце стало свидетелем преступления, но оно ничего не рассказало. А если и рассказывало, то никто к нему не прислушивался, а только присушивался, когда дева воды набирала да, на солнце глядя, говорила: «Солнышко, солнышко, присуши ко мне милого. А я тебе за это дам воды, чтобы ты могло той водой свои силы пополнить и облачко перебороть лёгкое».

Понятно, что в тот момент, когда убивали Павла, люди где-то влюблялись и совершенно не чувствовали, как Павел умирает. Хотя если верить йогам о том, что весь мир — это сплошная иллюзия и на самом деле всё находится в одной точке, то люди должны были почувствовать и даже увидеть, как меркнет в лодке один человек, а двое других, мерцая, его тушат и обращают в нуль. Однако никто ничего не видел — и убитый Павел вместе с выловленной им рыбой покоился на дне лодки. Иван и Фёдор, чтобы скрыть следы преступления, утопили покойника, повесив на него груз и пробив в лодке Павла большую брешь. Лодка вместе с Павлом ушла вниз под воду на дно реки. Вор был наказан.

Но только помешавшийся на буддизме местный шофёр Севка утверждал — Павел уже переродился и через тридцать лет станет известным нейрохирургом. Но, конечно же, никто не принял серьёзное утверждение чудаковатого шофёра. Действительно, разве может душа человека вновь новое тело обрести, когда её река забрала и устроила ей она вечную кабалу. Когда ни мёртв и ни жив человек, а он в реке слово молвит да начинает страшно и тяжело дышать, как вспомнит о своём житье среди людей на земле солёной. А прекрасные русалки его обхватят, успокаивать начнут да приговаривать: «Успокойся, Паша, всё кончилось. Теперь ты вне опасности. Да не бойся ты — всё хорошо. Отдыхай. Мы же тебя волной укроем и дадим тебе ум новый, незапятнанный, чтобы ты им освещал себе новую область и мог не вспоминать о прошлой своей жизни. Да разве мы тебя неволим? Делай что хочешь. Только возьми свой новый ум и облегчай себе страдания, когда будешь вспоминать злых земных людей, от Христа щипающих его нетленный пластилин.

А мы тебе дадим чёрную икру — и ты её съешь, и с нами поговори о том, о чём через воду чистую».

Так, наверное, говорили русалки душе убитого Павла и держали её на дне реки, как какую-нибудь золотую монетку, которую всевидящая гадалка приняла за попавшего в плен пропавшего на реке человека.

СЛЕДОВАТЕЛЬ ЕЛЕНКО

Петров криво усмехнулся, когда получил повестку из милиции. В повестке жирным шрифтом было написано, что он вызывается в Кировский РОВД. Петров перебирал в памяти, с чем же может быть связан такой вызов, но ничего ему в голову не приходило. Он предполагал, что, возможно, что-то особенное случилось с одним из его знакомых, и теперь его вызывают как свидетеля, объяснить какое-нибудь тёмное дело и пролить на него осветительный круг. Из повестки становилось ясным, что некий следователь Еленко вызывает Петрова к себе на разговор во вторник к десяти часам утра.

Стояла ранняя осень, и земля, слившись в один огромный ком, летела через всю вселенную, и только бескрылый Петров тихо заходил по ступенькам вверх на беседу к следователю. Открыв без окон деревянную дверь, Петров вошёл в кабинет, который имел вытянутый прямоугольный вид, упирающийся прямо в окно с покрашенным в жёлтый цвет подоконником.

От сердца по левую сторону стоял стол, а по правую — шкаф. За столом сидел в гражданской одежде мужчина лет тридцати. Мужчина внимательно посмотрел на Петрова, и тот, достаточно сильно оробев, как бы извиняясь за принесённое неудобство, начал путано и невнятно объяснять, кто он и зачем пришёл.

Следователь внимательно выслушал Петрова и также внимательно, изучающим взглядом на него посмотрел, после чего попросил сесть напротив себя, разделившись с посетителем жёлтым полированным столом. На столе, между ними, лежала большая зелёная и непрозрачная папка.

— Вас зовут Виктор Вениаминович? — прервал затянувшееся молчание Еленко. — Я — Игорь Вениаминович. Так что получается — мы с вами тёзки.

Снаружи окно было прикрыто железной решёткой. Еленко посмотрел на решётку и продолжил:

— Тополь скоро совсем опадёт... Как там у поэта сказано... — Еленко на некоторое время замолчал, но, ничего не вспомнив из высокой поэзии, быстро опустил на грешную землю и неужи-

данно скороговоркой заявил: — До нас дошла информация, что вы, Виктор Вениаминович, уже два года торгуете бессловесной рыбой. Вы же неизвестно куда сбывали рыбий мех. Неизвестно, как саму рыбу реализовывали: если по фактурам, то покажите мне их.

— Конечно же, по фактурам, — испуганно пролепетал Петров. Лежащая на полу его тень произвольно дёрнулась, словно стараясь поскорее убежать, но хозяин усилием воли её остановил и посмотрел на тополь.

Сквозь решётчатое окно тополь походил на тугообразную неприступную башню, ветви которой, словно тонкие и кривые стволы орудий, неисчислимой стаей торчали в разные стороны. Кое-как свив в своей голове мысль, Петров, как мог, переложил её на язык и, запинаясь, произнёс:

— Тополь коричнево-серый. А когда к вам прийти с фактурами, сегодня?

— Зачем сегодня, — следователь Еленко достал календарь и, раздумывая, начал водить по нему шариковой ручкой.

— Через неделю в это же время устроит? — следователь посмотрел на Петрова.

— Хорошо, — сказал Петров и уже через минуту выходил из двери старшего оперуполномоченного Еленко, работающего в Кировском РОВД в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, или, сокращённо, ОБЭП.

Чувствовал себя Петров очень скверно, так как на прощание старший уполномоченный ничего хорошего не сказал, а был очень строг и официален, дав понять, что ты, товарищ, на этот раз «залетел» по-настоящему. Хотя, конечно же, никаких других «разов» у Петрова не имелось, но всё равно Виктор Вениаминович чувствовал, что попался страшно — и липовые фактуры, как фальшивые бриллианты, начали тяготить его душу и шею, словно обрамляя их в каторжный обод.

Петров толпился на улицах города и думал о том, что скоро ему придётся сидеть в тюрьме. Фактуры и в самом деле были фальшивыми. Рыбу в город привозил дядя Виктора. Часть привезённого продукта Виктор сдавал на рынок, а другая часть, если рыба попадалась особенно блестящей, сдавалась как рыбий мех в особые мастерские, где из них приготавливались специальные воротники и шубы. Люди покупали такие шубы охотно из-за их дешевизны, в особенности женщины, так как рыбий мех, от ворота блестя обломками света, придавал слабому полу неподражаемую привлекательность. В то время все выживали как могли и, торгуя, особенно не заботились о том, что их могут арестовать за сокрытие от государства небольших излишков.

Но делать нечего — Петрову надо было отчитываться перед строгим следователем. Он взял, пододвинул к себе несколько бумажных фактур и начал их заполнять, сочиняя отчёт про рыбу, и написал примерно следующее: «Мой дядя, изловив на реке кастрюков и прочую рыбу, кастрюков он отпустил обратно, так как ловля их запрещена. Прочую рыбу дядя отправил мне, а я мило раздал её нищим, когда те романтически попросили меня им помочь».

Чувствуя, что его объяснение не выглядит убедительным, Петров совсем огорчился и упал духом. В своём же дневнике Петров записал следующее: «Я был вызван к следователю Еленко. О чём он хотел со мной говорить, я не знал. Кабинет следователя находился в Кировском отделении милиции на втором этаже. Еленко посмотрел на меня и начал говорить, что я незаконно работал в коммерческой фирме и скрыл от государства много налогов. Да, тогда, чтобы как-то прокормиться, я продал кое-что с рук на руки и уже собирался ту черноту уничтожить. Еленко же кормил меня страшными историями о том, как чёрные торговцы попадали к ним в тюрьму, и там они под суд шли, превращаясь в ветки. Он пугал меня, рассказывая, как они арестовали одну женщину за то, что она торговала прелестной кожей. И сдирала она со своих покупателей большие деньги, и живую кожу без налогов им продавала. Сошла кожа старая и новая выросла. И была кожа новая более старой хороша, и не могла больше женщина кожу ту уже скрывать от страшных глаз налогового инспектора. Увидел налоговый инспектор, что кожа у неё белая и хорошая, и решил, что надо и на кожу налог сделать. Но женщина не желала добровольно отдавать налог за свою кожу и прятала её под широкую одежду. Но не смогла она скрыть того, как её кожа из-под одежды тёмной блестит — и женщину арестовали за утаивание белой кожи. Арестовали, и кожу с неё сняли, жестоко с ней расправившись. И женщина превратилась в ветку, так как без кожи она стала очень ранимой, как душа, или лучше сказать, как ветвь переломленная».

Записав это в дневник, Петров заплакал. Так, если образно выражаться, и просидел он целую неделю, чуть сторбившись и почернев от горя. Только солнце то всходило, то заходило, сменяя день на ночь, точно кто-то невидимый и большой вращал огромную шарманку, заставив солнце крутиться под такт печальной песни. Петров сидел, не замечая круговерти жизни, ждал, когда надо будет идти на страшный суд в Кировское РОВД с липовыми, даже и не пахнувшими рыбой фактурами.

Виктор Вениаминович совсем скис, и неизвестно, как провёл он эти дни в беспросветном самоистязании, словно обнажившаяся от тела душа, в один миг обнаружившая в себе невероятную глубину. Душа страдала и не могла отвлечься от себя самой, словно от нар-

котика, сохла и превращалась в простоквашу, и уже мало толку от неё было: простокваша текла и пролилась, и сама себя за это винила, и совестью простокваша была.

Виктор Вениаминович, словно такая простокваша, провёл все эти дни в мысленном прощании с миром, так как был уверен, что его усостыжат да в тюрьму посадят, в камеру, где вместо окна горит лампочка, и больше ничего.

Конечно же, можно будет на лампочку смотреть и воображать, что это есть какой-то иной мир, состоящий из одного только света. Волей-неволей заключённому придётся раздумывать над тем, как же устроен тот, иной, содержащийся в лампочке, мир. Конечно же, тот мир, наверное, совершенен до такой степени, что просто невозможно до него дотронуться и в него проникнуть простым людям — он сразу же обожжёт и отбросит от себя в чёрную тень заключённой, словно вселенная или круг, на себя саму глухой камеры...

Всю эту неделю Петров двигался как во сне. Он не смотрел на часы и, казалось, время от этого стало каким-то бесконечным, более целостным, не распиленным на рациональные часы, минуты и секунды. В результате, не будучи распиленным, время не теряло свои бесконечно мелкие опилки, без которых бы оно просто рассыпалось на точные куски, которые уже можно было бы считать.

Петрову казалось, что за неделю он прожил очень большую жизнь, что настала пора окунуться в безвременье — туда, где время останавливается и больше никуда не течёт, а только мыслям позволяет обратно в прошлое возвращаться, туда, где так бездумно торговали они рыбой. Сейчас бы Виктор Вениаминович всё переиграл и ни за что рыбой не торговал, а в бессилии плыл бы по течению реки, отсвечивая чистой, незапятнанной совестью. Теперь же Петров страдал. Его простокваша-совесть бурлила в нём и боялась, что придётся ей теперь саму себя кушать и мучиться от такого самоедства.

Но как ни старался Петров не смотреть на часы, время всё же подходило к своему концу, и Виктор Вениаминович вынужден был вновь отправиться к следователю Еленко...

Тополь так и стоял на прежнем месте. Его ещё не срубили, хотя из местной телепередачи следовало, что в городе объявлена война старым тополям. Еленко сидел в кабинете и невозмутимо ждал бедного Петрова. На этот раз на милиционере сидела форма капитана, и погоны двумя аккуратными тартинками лежали на его узких плечах. Чувствуя себя не в своей тарелке, Петров сел на краешек и достал несколько несгоревших бумажных листков.

В принципе, фактуры можно было бы и поджечь, но, конечно

же, делать этого никто не собирался. Еленко долго их рассматривал, вертел у себя перед носом, будто заядлый картёжник, рассматривающий затейливый веер карт. Следователь молчал, молчал и Петров. Наконец, изучив фактуры, Еленко вышел из-за стола и сказал:

— Конечно же, фактуры липовые. Они даже рыбой не пахнут, — Еленко на некоторое время замолчал. Прищурившись, он рассматривал в окне маячивший тополь и вдруг как-то мирно заявил:

— Нет, думаю, что вас, Виктор Вениаминович, не посадят. Дадут условно года два, этим спасут несколько рыбёшек, а на вашей биографии останется пятно на всю жизнь.

Петров молчал. Следователь продолжил:

— Жалко мне вас. Не стану я заводить это уголовное дело.

После таких слов Еленко быстро собрал со стола фактуры и кинул их к рукам Петрова. Продолжая изображать из себя находящегося в душевном разрыве мучащегося трагика, следователь закончил:

— Забирайте ваши липовые фактуры и можете идти. Впрочем, у меня к вам будет одна просьба, Виктор Вениаминович.

Еленко на мгновение задумался. Его погоны чуть опали и начали как-то невесело объединяться со своим хозяином, словно в рывке перед стартом, и, наконец, набравшись сил, следователь проговорил:

— У нас такая к вам просьба, Виктор Вениаминович, — если можете, то помогите чем сможете. Совсем у нас автомобильный парк плохой.

От таких слов у Петрова ещё чаще забилося сердце, а в глазах появилось скопище чёрных мух. Казалось, мухи, словно на окна, садились на глаза Петрову, образуя удивительные видения. Можно даже сказать, что в этот самый момент Петров из нашего обыденного мира вышел в мир иной, в какие-то кусты, в тёмную чащу. Ничего не понимая в жизни, он мысленно продирался сквозь лишённую всякого цвета чащу, мимо тёмных прутьев и листьев, и только впереди маячила красным цветом одна-единственная ягодка. Казалось, именно эта ягодка и правит здесь балом, заправляя всем лесом. Стало темно и страшно, только впереди одна-единственная ягодка трудилась огоньком, и, с одной стороны, хотелось поскорее к ней подойти, а с другой — чудилось, что, прикоснувшись к ягодке, можно тут же обжечься, словно о лампочку, об её ядовитый источник. Петров поосторожничал и к ягодке не пошёл, а вновь вернулся в кабинет следователя Кировского РОВД.

— Я вернулся, но боюсь, что машину вам не смогу купить, — обескураженно пробормотал Виктор Вениаминович.

— Да что вы, что вы! — замахал руками Еленко. — Сколько мо-

жете — столько и дайте. Сейчас на дворе-то тысяча девятьсот девяносто седьмой год. Сами знаете, сегодня денег столько, а завтра обесценятся, как вот эти ваши фальшивые фактуры, и совсем ничего значить не будут.

— Хорошо, я вам позвоню, — Петров выплыл из-за стола и, протрезвев и зашатавшись, обескураженно отворил дверь в коридор...

Выйдя из РОВД, Петров кинулся домой, где начал быстро вертеться и собирать деньги. Собрав миллион (это ещё теми деньгами, до деноминации), Петров слепо выхватил телефон и, набрав номер Еленко, изменившимся голосом попросил его о встрече. «Конечно, приезжайте хоть сейчас», — сказал следователь, выпуская сигаретный дым в телефонную трубку. По какому-то мистическому совпадению чихнув именно в это время, Петров сунул деньги в конверт и примерно через сорок минут вновь заходил к Еленко в кабинет.

Старый, прогнивший тополь за окном находился на том же самом месте, и, похоже, рубить его никто не собирался. Петров почему-то поздоровался с Еленко за руку и протянул бумажный конверт. Следователь бросил конверт в ящик стола и прекрасно сказал:

— Уж очень плохой у нас автопарк. А вы, Виктор Вениаминович, если что — так сразу звоните мне, мы всегда поможем. Если же кто из милиции станет вас совестить и требовать объяснить происхождение рыбы, то смело говорите, что с вами уже работает следователь Еленко.

— Хорошо, — сказал Петров после того, как передал сладкий конверт милиционеру.

НУЛЬ, или МОНОЛОГ ПОДВЫПИВШЕГО ПОРТНОГО

— Да, мы стали осторожны. И не можем дерзко помыслить, как, например, в отрочестве или юности, — с досадой говорил профессор Ветров своим спутникам. — Подумать только, я не смею помыслить даже о самоубийстве, потому как боюсь. Да, боюсь! Боюсь накликасть на себя чёрную тень. Даже просто подумать о смысле жизни — и то страшно, боязно подумать, потому что мелькнёт такая мысль, а затем будто вдруг историю какую-то вспомнишь. Историю про то, как вот так один задумался да руки на себя наложил. Словно кто-то за твоей спиной стоит и подсовывает тебе такие воспоминания. А если им не внемлешь — обязательно с ума сойдёшь! Видите, опять я боюсь в позе лотоса расположиться, да как рельсы-мысли свои скрестить опасаясь — катастрофа прои-

зойдёт!.. И чего мы боимся? — в который раз старался развить свою мысль Ветров. — Вот сейчас зайдём в кафе и начнём кости перемалывать. В который уже раз перемалывать кости, из которых наша жизнь вырастает, как чревоугодническая плоть, своими боками старающаяся нас под себя подмять и в себе похоронить.

Товарищи направлялись в небольшую забегаловку, расположенную рядом, стоило только немного отойти от каменных зданий и, повернувшись через плечо, увидеть тополь. Затем нужно было мимо того тополя протопать, да, ненароком поймав изучающий взгляд женщины, торгующей стоявшими на перевёрнутом вверх дном ящике банками с мёдом, неожиданно увидеть небольшую, напоминающую жёлтую луну, деревянную пристройку. Может быть, это громко сказано про луну, но товарищи слепу, наоборот, могли принять и луну за забегаловку — под романтическое настроение, навеянное уже выпитой бутылочкой красного вина.

Друзья, открыв дверь забегаловки, вошли внутрь жёлтой дощатой стены и словно растворились в плоской доске, как будто вступив в иное измерение и начав там новую жизнь, совершенно необычную с точки зрения нашего нормального трёхмерного мира. Так могло показаться со стороны какому-нибудь прохожему, видевшему трёх человек, исчезающих один за другим в двухмерном мире плоской двери.

Очутившись за дверью, друзья-товарищи наконец-то познали неведомый закрытый мир, когда, пройдя мимо прилавка с женщиной-барменом, ещё раз чуть опустившись на одну ступеньку ниже, вошли в зелёный полуподвал. На каменном полу полуподвала стояли прямоугольные тяжёлые столы с такими же тяжёлыми деревянными лавками. Под потолком полуподвала горел свет, который морщился лучами, как лицо старика, то ли улыбающееся вновь входящим, то ли, наоборот, гримасничающая надругавшимся над несовершеннолетней девочкой самоубийцей Свидригайловым.

Возможно, Достоевский и неправ был, когда приписал такой поступок запутавшемуся в жизни Свидригайлову, сам обвиняемый не желал пролить свет на этот факт, но Кирилл (так звали первого небольшого спутника величественной фигуры Ветрова), посмотрев на светящуюся в лампочке спираль, удивлённо воскликнул:

— Ба, да это же Свидригайлов! Нет-нет, посмотрите, как спираль светится, видите? Она причудливо горит и напоминает человека в пальто и шляпе, а исходящие из его души лучи узнаваемо идентифицируют его именно как Свидригайлова.

Друзья прошли за стоявший в углу у окна стол. Так как помещение являлось полуподвалом, то окно снизу начиналось вровень с асфальтированной дорогой, и из него можно было увидеть только ноги людей, ножки девушек да шины автомобилей. Сняв верхнюю

одежду, Ветров, Кирилл и Александр (второй из малых спутников Ветрова) повесили её на рога рядом стоявшей переносной вешалки. Вешалка напоминала трёхногого, рогатого, с человеческий рост инопланетянина, четвёртого их молчаливого товарища.

Друзья сели за стол, а инопланетянин-вешалка остался стоять, опять же рогами напоминая коронованную царскую особу, словно слуга державшую одежду своих подданных. Ветров пошёл к барменше и купил бутылку сухого красного вина и три треугольные булочки с мясной начинкой внутри. Вскоре вино разлилось по белым одноразовым стаканчикам, и Кирилл с воодушевлением продолжил:

— Нет, действительно, этот свет из лампочки под потолком на самом деле и есть бедный Свидригайлов! Вы только посмотрите: видите, наверняка он от какого-нибудь стряпчего торопится по своим делам и не знает, что нам хорошенечко виден и даже работает на нас, от своей суеты создавая электрическую энергию. Да и так всем понятно, а ребёнку в особенности, что в лампочке дяденька сидит, достаточно прилично одетый, но и несколько грязноватый — словом, ненадёжный человек, оправдатель своих слабостей — Свидригайлов, одним словом.

Посмотрев, прищурившись, на лампочку, все трое выпили, опустошив стаканчики, налили вновь и продолжили посиделки, вырезая замысловатые фигурки разговоров на общем листе беседы. Лист был вкусный, и собеседники быстро его сгрызли, но уже новый лист тут же вырастал. Казалось, что ещё чуть-чуть — и за очередным листом наконец-то появится цветок истины, заставив разговаривающих людей замолчать в немом восхищении. Но цветок всё не появлялся.

Скрашивая обстановку, Александр достал несколько листочков со своими стихотворениями и начал их читать, видимо, пытаясь хотя бы таким образом приблизиться к истине. Началось обсуждение стихотворений друга. Говорилось много чего, но в конце сошлись на мнении, что его стихи — это уже вполне сформировавшиеся синицы, даже иногда претендующие на статус журавля, но до заветной синей птицы им ещё далеко. Конечно, можно выкрасить синицу в синий цвет и некоторое время выдавать её за ту единственную и такую желанную птицу. Но в этом случае всё равно цветок истины обязательно проявит себя, распустится и покажет, что птица ненастоящая, когда тот цветок возле неё раскроется да заплачет, как Шурик из «Кавказской пленницы», пожалев выкрашенную краской птичку.

Белые стихи, то есть листы с выгравированными на них стихами, неожиданно разлетелись по помещению, но Александр не стал их ловить, мечтая о том, как они вдруг по-настоящему пре-

вратятся в птиц и окружают поэта, а он скажет: «Видите! А вы не верили, что это настоящие стихи. Летают! Хотя и невзрачны, а всё равно радостно, потому как настоящие синицы, от цветка истины рождённые!».

Но цветок всё не появлялся. Только Свидригайлов продолжал светить, да в полуподвал зашёл ещё один посетитель, мужчина, совсем не красный и даже не шоколадный от загара, а моложаво выглядевший, если бы ему было лет шестьдесят. Человек повесил пальто на рог вешалки и даже не пытался подсесть к сидевшим товарищам. Но через некоторое время, выйдя на минуту к бару за сладковатой бутылочкой «Степного», он уже сидел вместе с Ветровым и его спутниками как «свежий человек», хранивший в себе чёрный ящик души, который так хотелось расшифровать его новым знакомым.

Разбившегося о жизнь человека звали Григорий. Человек с удовольствием предъявил друзьям чёрный ящик, поведав душещипательную историю о том, как он совершил самоубийство. Пусть, сказал он, его случайные знакомые не пугаются, но разве это уж так невероятно, когда неприкаянные души могут взять да, пройдя сквозь стену, обратно выйти в дверь как обыкновенный человек и даже представиться самой заурядной фамилией, например, назвать себя Полуэктовым и продемонстрировать, что он тоже существует, пододвинув к себе пепельницу и, размашисто закурив, слишком реалистично устремить взгляд в потолок.

— Впрочем, всё это неважно, — сказал, тоже закурив, Григорий, и чёрный ящик его души заговорил беспристрастно и чётко, как переговоры лётчиков, ещё не знающих, что скоро их самолёт разобьётся вдребезги, и только его душа уцелеет и поступит на вечное хранение в какой-нибудь авиационный архив.

Вот какую историю рассказал Григорий:

— Честно говоря, какой я, к котам собачьим, портной... Чувствую, во мне пропал великий математик или, на худой конец, философ. Пропал, как кот, которого забыли вытащить из мешка. А ведь было время — где-то внутри начинал царапаться талант, начинал мяукать внутри ребёнка. Но, видимо, не судьба ему, этому коту учёному, было реализоваться. Не такие пока наши школы, чтобы гениев лелеять и выращивать, среди однообразно скучной человеческой материи суметь разглядеть простую пуговицу пытливого ума. Почему я сказал «пуговицу»? Да потому что пуговица похожа на нуль. Хотя, согласен, неудачное сравнение. Но потому и говорю: не поэт я, а портной, не чувствую слова... Учился я тогда ещё в школе, чуть ли не в первом классе. Хотя, может быть, и во втором или в третьем — точно не помню. Так вот, однажды начал меня мучить вопрос: какое число является самым большим? Быва-

ло, сижу на уроке математики и к единице нули всё приписываю и приписываю. Не могу понять, на каком нуле нужно остановиться? Думаю: сейчас вот этот нуль добавлю, он и будет последним. А потом смотрю — ещё один нулик можно пририсовать. Ни о чём больше думать не могу, как только об этих нулях. И не догадываюсь учительницу спросить. А она тоже, педагог называется — нет чтобы объяснить детям, что не существует самого большого числа... Эх, если бы она мне тогда всё разъяснила. Ведь наверняка бы тогда кот моего таланта выскочил наружу и что-нибудь обязательно выдал этакое на человеческом языке... Но учительница ничего не объяснила, видя перед собой только чёрную школьную доску... Я же мучаюсь — думаю. Уже начали сниться то ли нули, то ли пуговицы. Я же их во сне всё считаю и считаю, и пересчитать не могу. Но всё равно чувствую, что моя мысль в голове, словно светлый зайчик в бесконечно тёмной клетке вселенной, всё бьётся и бьётся. Метается зайчик по ней и готов сойти с ума, но всё же выяснить, где же она, вселенная, заканчивается и сколько шагов нужно сделать, чтобы до её края дойти? Сколько шагов необходимо сделать для того, чтобы найти самое большое число и наконец-то успокоиться, словно окунуться в нуль — и в нём, как в раю, умиротвориться в тени благоухающего сада... Но вернёмся в то розовое детство, когда ещё рано человеку думать о закате его маленькой человеческой вселенной, быстро превращающейся в райский нуль, за которым больше ничего нет, кроме забытья, как после успокоительного укола... Так вот, как-то увидела учительница в тетради моё художество со множеством нулей и решила, что балуюсь. Единицу в журнал поставила и пригрозила в следующий раз родителей вызвать. Этой единицей и закончилась моя большая математика... Учительницу я так и не спросил, побоялся, что рассердится и пожалуется родителям. После этого ещё некоторое время царапался во мне тот вопросик о самом большом числе, а потом постепенно затих, как обессиленная кошка, когда-то с азартом погнавшаяся за похожим на нуль клубком ниток и навсегда застрявшая в узкой водосточной трубе...

Человек замолчал. Чёрный ящик был расшифрован, и душа успокоилась, рассказав правду. Она могла теперь оставить полуподвал и лететь вверх от своих случайных батюшек. Хоть и грешных батюшек, но благодать и через них была передана Григорию, когда они сказали ему, что тоже мучаются и наверняка могли бы стать великими портными, если бы не умерли так же внезапно, как и он, так и не успев ничего сшить...

СТАНЦИЯ ТАЙГА

Стоял зимний, тёмный вечер. Было довольно-таки холодно и ветрено, из-за чего люди старались не ходить по открытому перрону, а сидели в здании вокзала. Те же, кто осмеливался выйти на перрон посягать сигаретой, быстро покурив, спешили зайти обратно, не выдержав страшного холода, неистово лизавшего кожу и нервы. Только одинокие лампы освещали, как могли, перрон, и мели его своим состоящим из лучей-прутиков светом.

«Из лучей-прутиков» — так подумал Иванов, когда смотрел на перрон из окна вокзального ресторана. Сегодня он уезжал восвояси после командировки в город, имевший странное название «Тайга», который до невероятности надоел ему своими твёрдыми стенами, похожими на надгробные плиты, на большие застывшие жернова.

Он сидел и только что пришёл, и, пока к нему пробирался официант, уже успел послушать поющую под негромкую музыку девушку, стоящую на небольшой круглой сцене, вдавленной в угол ресторана.

Хоть сцена была и маленькой, но как стебель тонкая девушка читалась на ней исключительно хорошо в своём таком же тонком платье. Взяв небольшую бутылку, Иванов заказал себе суп, и первым делом выпил стопку, чувствуя, как яркая жидкость растекается по венам, слепя рассудок своим весёлым зайчиком.

Иванов сидел задумавшись. Девушка уже давно закончила петь, а он всё смотрел на неё, вместе с другими музыкантами что-то горячо обсуждающую. На девушке было надето лёгкое платье; и платье, словно медальон, сияло чистотой. Огонь в ресторане заливал светом людей, их разговоры и мелкие их мочки ушей, и праздником украшал блины на тарелках, и темноту выпивал.

Луна своим молитвенным диском светила через окно, хотя нет — это же было отражение люстры; и вольно она, отражаясь, выглядела невесомой и сама по себе парила, словно непознанный летающий объект. За окном крупными молекулами-хлопьями падал снег, и люди ёжились, когда смотрели в окно.

В это время в ресторан вошли двое милиционеров и направились к столику, где корчился от своего бесконечного «я» напившийся паренёк. Они посмотрели его квадратные документы, и один из них у парня о чём-то спросил. Получив ответ, милиционеры окинули взглядом зал, и направились обратно к двери, забрав с собой незадачливого посетителя.

Всё было как всегда. Как и в прошлый приезд Иванова, в зале ресторана станции Тайга в большом, огромном баке росла пальма. её лёгкие листья, зеленея, словно матерчатые ленты спадали вниз

из коричневой сердцевины-оси. Ствол пальмы в твёрдых чешуйках безобразно красовался на свете. Чешуйчатый ствол хотелось потрогать, потому что казалось — он сделан из необыкновенного, неземного материала, способного одарить удивительным блаженством любого, кто к нему прикоснётся. Пальма стояла и никого не трогала. И только около неё дети прыгали и постоянно к ней прикасались, как к какому-то сокровищу, осторожно и нежно, словно к душе, превращённой за грехи в дерево.

Девушка на сцене запела вновь. Её длинное платье по полу стелилось, словно у невесты. Только платье у неё было не белым, а бордовым, как будто девушка выходила замуж за красного командира советских времён, а не за белого офицера. Она спела какую-то старую вещь про гражданский брак, то есть про гражданскую войну, и микрофоном проводила по своему лицу, изображая плачущую красную вдову. Закончив песню, девушка начала новую — и стоящие на почтительном расстоянии слуги-музыканты певицы безропотно последовали за её голосом, таща за собой две гитары и пианино.

Иванову страшно расхотелось уезжать из этого городка. Он желал только одного — сидеть, слушать и смотреть на девушку-певицу. Пусть он не красный командир и даже не белогвардейский офицер, а всего лишь рядовой менеджер. Но ему первый раз в жизни невыносимо захотелось, чтобы его поезд опоздал на эту станцию Тайга, заблудился где-нибудь в лесу и был остановлен ожившими мертвецами-партизанами какого-нибудь сибирского батьки Махно. Или же, наконец, пусть ждущий его поезд сгинул бы неизвестно куда прямо с перрона, внезапно исчез, словно по мановению волшебной палочки американского фокусника Копперфильда.

«КАЭСКА»

С томского автовокзала автобус до Парабели выходил в 8 часов 10 минут утра. Вскоре была объявлена посадка на него, и Пётр, сев на место впереди, быстро двинулся в путь.

Через семь часов автобус находился уже в Парабели, преодолев расстояние более чем в четыреста километров. Это время для Петра пролетело более чем стремительно, так как, встав сегодня рано, по дороге он уснул и, несомненно, разбился бы, если бы уснул на месте шофёра, а не пассажира. Последнее, что запомнил он, прежде чем уснуть, так это небольшое препирательство сидевших позади него людей, по-видимому, мужа и жены. Жена от нечего делать предложила супругу почитать какую-то книжку. Он ей на это резонно заметил: «Зачем читать — там всё неправда».

Выйдя из автобуса в Парабели, не разбившийся Пётр там же, на автовокзале, купил билет до Нарыма на местный катерок под названием «КС», и за это прозванный в народе «каэской». До «каэски» ждать ещё предстояло два часа. Казалось, время сильно и резко замедлило свой бег. Погода стояла хорошая, и Пётр решил подождать катер на берегу.

Сначала он зашёл в стоявший рядом с автовокзалом сортир. Там стоял резкий запах хлорки, а сам туалет качался, так как построен был на грязи, словно жидился на воде, и раскачивался, навевая вполне настоящий страх оттого, что он может, если неосторожно шагнуть, перевернуться и очутиться под землёй, в антимире, где будет всё наоборот, и, уже с той стороны выйдя из сортира, можно было бы увидеть нечто невероятное, чего никак нельзя встретить в мире положительном, нормированном. Сортир раскачивался, и Пётр, потолкавшись в нём и практически потеряв в темноте ориентировку, еле-еле выбрался, как ему казалось, с какой-то другой стороны, а не с той, откуда он заходил.

Идя к берегу, Пётр смотрел на посёлок — районный центр — и рассуждал, бредя по пыльной дороге, то и дело укатываемой в твердь проезжавшими по ней автомобилями. О чём рассуждал человек — трудно было бы установить. Он шёл и думал больше не мыслями, а образами, и когда он, например, рассуждал, хватит ли ему трёхсот рублей доехать до Нарыма, то эти три сотни представлял в виде лихой ватаги бесшабашных людей, с наганами и саблями грабивших кочующие обозы.

Здесь он вспомнил, как лет двадцать назад бесшабашные парни с Нарыма хотели захватить пlyingший в Каргасок катер с водкой. Капитан катера, передав по радиации, что стреляет по нападавшим, выстрелил в единственного трезвого, управлявшего лодкой, сидевшего на моторе парня. Капитан стрелял хорошо и, не желая убивать, специально попал ему в плечо. Парень выпустил мотор, отчего лодка быстро опрокинулась. Остывшие люди, кто как мог, поплыли обратно до берега. В тот раз утонул только этот раненый человек — из-за плеча не смог грести. Что его нет — хватились только на берегу. Лодка же, как заплатка, плавала вверх днищем на середине реки...

Остановившись на берегу, Пётр стал ждать катер. Постепенно начали подходить другие люди, незнакомые ему. Ждать приходилось под открытым небом, так как никакого здания речпорта или даже простого навеса не имелось. Вместо них — одни лишь доски да круглые брёвна лежали на земле, на которые можно было присесть, только осторожно, чтобы не разодрать прилично выглядевшие штаны.

Вскоре подошёл словоохотливый, неряшливо одетый и подвы-

пивший мужичок. Он тут же разговорился с двумя знакомыми ему женщинами. Мужичок интересовался всем и сам с удовольствием отвечал на вопросы, время от времени прикладываясь к алюминиевой банке с пивом. Стоявшая рядом с ним маленькая старушка жаловалась, что на берегу не валяются пустые бутылки или железные банки.

— Семь рублей, — говорила старушка, — если сдать банки.

— Столько много? — удивился мужичок. — Да у меня в сарае их полным-полно лежит. Надо же — семь рублей банка!

— Не одна банка, а килограмм алюминиевых банок. А то разбежался, одна ему банка!

— Килограмм — это уже серьёзно, — по его интонации казалось, что мужичок в задумчивости почесал затылок.

Петру становилось невероятно скучно. Взглядом он начал изучать стоявшие на берегу списанные ржавые катера. Чёрным килем и белой рубкой катера напоминали, как ни банально это звучит, пингинов или чаек, упавших на берег от потери сил. Многие из этих катеров завалились набок, как хотевшие взять неприступный берег расстрелянные, в чёрно-белых тельняшках, матросы. Казалось, оставшиеся в живых матросы сейчас поднимутся, опять побегут вверх по берегу и, напоминая маленькие катера, сиреной своих ртов начнут играть жуткую музыку раненых чаек.

От делать нечего Пётр осторожно вошёл внутрь одного из матросов-катеров, словно душа, решившая во что бы то ни стало ожить собой списанный борт. Через стеклянные глаза катера человек видел поднимающийся вверх берег и лежащую на нём, как на лопате, землю с песком. Покрутив в рубке катера рычаги, Пётр так и не оживил его, катер убитым чёрно-белым матросом мёртво цеплялся за живую, незаметно вращавшуюся землю...

Время тянулось медленно. По реке изредка проплывали лодки с трескучими моторами на корме. Одна из этих лодок пристала к берегу неподалёку от маявшегося Петра. Из лодки вылезли двое парней, один из которых направился к стоявшему на берегу автомобилю «Нива» с прикреплённым сзади небольшим Т-образным прицепом. Сев в машину, парень подогнал прицеп к лодке. Затем, выйдя из машины, он со своим другом погрузил лодку на прицеп и, поколдовав немного, закрепил её на прицепе, как сувенир на подставке. Теперь уже вдвоём, одевшись в машину, парни поехали вверх по берегу и вскоре исчезли вместе с лодкой в тумане парабельского облака...

Пётр спрыгнул с катера на землю и вновь прислушался к разговорам ждущих «каэску» людей. Он услышал рассказ о том, как заболела одна женщина-врач раком и не стала лечиться в больнице, а обратилась за помощью к местному колдуну. Этот колдун от-

личался тем, что мог посмотреть на лампочку на потолке — и та, вспыхнув и перегорев, тут же падала на пол, как спелая груша на землю. Но человек не груша, и колдун не смог умиловить богов — рак уничтожил женщину так же, как тот колдун лампочку, хотя последний и пытался над больной летать и чёрные заклинания выкрикивать. Да только и рак не сдавался, а начал он того колдуна своими клешнями щипать и отгонять от своей любимой жертвы. Бился колдун с раком, да проиграл ему, не смог его поймать — и отлетел колдун в сторону, как никому не нужный башмак.

В это время другая женщина рассказывала стоявшей рядом с ней подруге:

— Представляешь, снится мне сон. И снится не мой муж Василий, который, как ты знаешь, в прошлом году умер, а просто какой-то человек. А рядом с тем человеком будто бы собачка бегаёт. А ведь, ты же помнишь, Василий сильно выпивал, да и угорел по пьянке, когда тернии похмелья перебороть не смог, детей испугал, упал прямо на пороге с десяткой в руках... Так вот, снится мне сон да человек с собакой, а будто бы за тем сном, как в кинофильме за кадром, чей-то голос и говорит: «Эта собачка — Вася твой теперь и есть!». А я ещё вроде как думаю: «Ба, да как же, собачка — и вдруг она мой Вася?». А сейчас-то в Томск ездили, и произошло. Иду я по городу, и смотрю — человек собачку возле дома выгуливает. А та собачка, такая небольшая и беленькая, вдруг в мою сторону побежала и, виляя хвостом, ко мне подошла, мою обувку осторожно лизнула. Посмотрела собачка на прощание мне в глаза, а потом развернулась и вновь к своему хозяину помчалась. И знаешь, во мне сложилось такое впечатление, что этот вот собачий подлиз каким-то образом с образом моего Васи связан. Даже не знаю, как это объяснить, но, может быть, это плоский Васин призрак вот так отдалённо попытался со мною поговорить и, уже похожий на прятку, хочет соткать мне просьбу о помиловании.

— Надо было в церковь зайти, свечку поставить, — сказала её собеседница.

— Заходила, ставила, и даже панихиду заказала...

За разговорами незаметно подошла «каэска». Это небольшой катерок с чёрным килем и белой рубкой, похожий на те отслужившие катера, которыми заполнен был берег. Пётр с остальными людьми зашёл в трюм. Тесный трюм с двумя волдырями матовых ламп под потолком напоминал небольшое, отделанное под старину, бомбоубежище.

Люди расселись и застыли в ожидании, на время став пленниками свинцовой воды. Пётр посмотрел в иллюминатор. Серая река мелко блестела рябью, а похожий на разрезанный слоёный пирог

берег был очень хорош, и его всё время хотелось съесть вместе с явно сделанными из сладкого масла растущими на берегу травой и деревьями.

Время от времени крутой берег сменялся на пологий и наоборот. Пологий представлял собой песчаную отмель с правильными, идущими по всей территории песка, как у шифера, гребнями, из-за чего казалось, что берег всё время куда-то бежит. Казалось, бежит в подводное царство, на дно реки, где лежит какой-нибудь первоначальный кувшин, из которого когда-то всё и разлилось, все реки и моря; реки были без соли вылиты, а моря содержали в себе соль, чтобы их нельзя было выпивать и делать мелкими реками. Реку же люди пьют и насыщаются её душой, и приобретают её силу. Река, как Иисус Христос, мучается, но терпит, жертвуя собой во имя людей, и только бежит-торопится к своему отцу-мору, чтобы там наконец найти успокоение и приют...

Люди в трюме разговаривали о том, что цены за электричество опять поползли вверх, ведь посёлок освещается от дизеля, требующего много солярки. Солярка же, зараза, всё дорожает и дорожает!

От Парабели до Нарыма езды на катере около двух часов, и Пётр думал: интересно, от Томска до Парабели расстояние более четырёхсот километров, и я преодолел его за семь часов, с Парабели до Нарыма расстояние всего в тридцать восемь километров преодолеваю почти что за четыре часа — два часа ожидания «каэски» в Парабели и столько же потом езды до Нарыма. Складывается впечатление, что в этом краю бег времени практически прекращается, всё останавливается, возникает ишемия покоя, хочется прилечь и умереть, словно познав свою природу и успокоившись, как новорожденный Будда...

Наконец впереди замаячили стоявшие напротив друг друга два берега с домами. На одном берегу стоял посёлок Шпалозавод, а на втором — Нарым. Пётр вспомнил историю, которая здесь разыгралась лет десять назад зимой. Дело в том, что многие люди со Шпалозавода работали в Нарыме и летом переезжали на другую сторону на работу на этой же «каэске». А зимой, когда река вставала и превращалась в лёд, «каэски» не требовалось, люди по натопанному снегу сами шли на другую сторону через замёрзшую речку. И работала одна шпалозаводская женщина в нарымской конторе и, как всегда, шла через речку на своё рабочее место. Она была хороша собой, но у неё на левой руке отсутствовал указательный палец, который ей отрубил по пьяной лавочке и в силу своего необузданного характера её злой муж. За это она, за такую боль, посадила своего мужа в тюрьму и развелась с ним, даже забыла о нём, как о страшном сне. Но в тот день, когда она шла по реке на работу, вдруг на мотоцикле подъезжает к ней не кто иной, как её бывший муж.

Оказалось, его за примерное поведение отпустили из тюрьмы досрочно. Подъезжает он к ней и, достав ружьё, с мотоцикла слезает и свою бывшую жену на колени ставит, грозя убить.

Жена же о пощаде молит и просит у него прощения, и рыдает, и рукой без пальца лицо своё от чёрного ствола ружья закрывает. Другие люди увидели это, а подходить боятся. А её бывший муж стоит и издевается над нею, расправой грозит и заставляет её шубу скинуть и чуть ли не догола раздеться, женщину расспрашивая о житье-бытье. А она ему отвечает и плачет, и просит пощадить. А он от этого ещё больше взвизгивает, от её звонкого голоса, который он так любил. Взвизгивает, что голос этот теперь ему не принадлежит, и он не может его в своём доме держать, как какую-нибудь хрустальную вазу. Люди же в Парабель позвонили и вызвали милицию.

Снайпер уже летел на вертолёте, когда разгневанный насильник выстрелил в женщину. Затем он бросил ружьё и рядом с мотоциклом сел. А женщина, помучившись минут пять, умерла, оставив своё не с двадцатью, а с девятнадцатью пальцами тело навсегда...

Сначала «каэска» подъехала к Шпалозаводу. Здесь сошли практически все, в трюме остался один Пётр. Вскоре «каэска» отчалила от Шпалозавода и направилась в Нарым, держась на реке белых бакенов и как можно дальше обходя красные, обозначившие имеющиеся под водой отмели. Находясь один в трюме, Пётр почувствовал себя свободным, встал с места и даже, открыв люк трюма, высунулся наружу. В лицо ударил свежий воздух, запахло речной водой. Яркие брызги внизу, возникавшие от хода катера, словно бриллианты, выскакивали и вновь осыпались на трюмо воды, как на блестящую подставку. Так хорошо было смотреть на воду! Эти блестящие брызги напоминали хрустальный сервиз, в недрах которого скрывалась блестящая рыба и на первый взгляд ничем не примечательная стерлядь. С шершавой тёмной кожицей, стерлядь могла запросто поранить рыбаку ладонь. Но как же она была вкусна, тем более что запретный плод всегда сладок — ведь на ловлю стерляди необходима лицензия. Но лицензия являлась очень дорогой, и никто её в поселке никогда не покупал, а ловил на свой страх и риск, иногда даже убивая рыбнадзоров и отправляя их в остяцкий рай, где бывшие рыбнадзоры могли свободно удить рыбу, любимыми своими местами её вытаскивать и, все ею облепленные, быть самыми богатыми и иметь много жён и детей. А те, кто браконьерничал и ловил стерлядь без лицензии, после смерти не могли иметь жён и детей, потому что всё время сидели на берегу и только одним причинным местом ловили рыбу. Но не могли её поймать и плакали, сидя на берегу похожей на зеркало старой реки...

«Каэска» начала приставать к нарымскому берегу. Схватив небольшие свои пожитки, Пётр быстро сбежал с катера и начал подниматься по берегу вверх, где уже маячили и ждали его деревянные дома, похожие на гномиков по сравнению с многоэтажными домами города. Они были приветливыми и добрыми, казалось, своим деревом излучали заключённую в них живую энергию Шамбалы.

В это время со стороны домов, спускаясь по берегу, к Петру начал приближаться какой-то мужичок. Он держал наперевес двуствольное ружьё. Мужичок остановился, уставился на Петра и, переведя ствол на его грудь, прокричал:

— Это ты меня козлом обозвал?

— Да я тебя первый раз вижу! — с затрепетавшим сердцем прокричал в ответ Пётр.

Мужичок пристально всмотрелся в Петра и, не говоря ни слова, развернулся и побежал вверх по берегу, снова к тем бревенчатым домам, откуда и пришёл.

Петру мужичок знаком не был. Видимо, слишком долгое время Пётр отсутствовал — и появились в Нарыме новые люди, или же старые изменились так, что ни их нельзя было уже узнать, ни они никого не узнавали, проклятые погибшим рыбнадзором на все времена...

МАЛЬВИНА

Тогда я учился в девятом классе. Наш школьный военрук повёз меня на областные соревнования. Но стоял уже март, погода была нелётной, пасмурной, и самолёты бескрыло стояли на приколе в аэропорту у моря небесного.

Через день погода улучшилась, и мы наконец-то вылетели в Томск. К сожалению, на соревнования мы опоздали, и я, как говорится, проиграл, так и не вступив в схватку.

Обратно сразу улететь домой нам не удалось, так как не было билетов. Поэтому пришлось лететь через Колпашево с пересадкой. В Колпашево мы приземлились уже вечером, и сильные самолёты «Ан-2» не могли лететь дальше, и мы с военруком, страшно расстроившись, остались до утра. Но делать нечего, и мы отправились к его родственникам, проживающим в Колпашево в чёрном от старости деревянном доме. Дом был одноэтажный, и в нём проживала семья: муж, жена, сын лет одиннадцати и их дочка, девочка лет пяти. Девочка была чудно красива и вылитая Мальвина. Она читалась во всех комнатах дома, потому что бегала всюду и смеялась как сумасшедшая.

Хозяева встретили нас радушно. Мы поужинали и сошлись в разговоре о чём-то непростом, но не истинно высоком, и долго об этом спорили. Я же в то время быстро отошёл от разговора взрослых по молодости лет и пошёл по дому, посмотреть, как расставлены стол и стулья, и комоды. Зайдя в спальню, я увидел, что маленькая девочка уже лежит в своей кровати и смотрит на меня не отрываясь. Я тоже посмотрел на неё и уже хотел тихо уйти из чистой комнаты, но девочка, приподнявшись, подозвала меня к себе.

Я подошёл, и девочка, обхватив своими двумя ручками мою шею, порывисто притянула меня к своей груди. Чувство истинно женское было в её огненном поступке, сильном и невероятном. Она так прижала меня к себе, что нельзя было не почувствовать, как она, из себя любовь свою женскую объявив, неизвестно почему чувство своё вызвав, вольно обняла и совершенно открыто утвердилась в своей силе. Божественным было это душевное воплощение чистой любви, так незаметно через девочку маленькую прошедшее, словно через медиума открытого.

И я смотрел на неё, и мне казалось, что это её душа, словно вспомнив что-то недоступное из нашей прошлой жизни, меня узнав, словно мать своего сына, слепо почувствовав его душу, она через нежную лампу-девочку свет свой передала и огонь, обнялась и расцвела, словно живая верба.

ТВАРЬ

По улице часто бегала одна собачка. Она была бездомной, и её вечно взъерошенный корпус уже несколько месяцев исправно золотила прилипшая жёлтая этикетка, словно та собачка была отмечена точной печатью. Собачка бежала к мусорному баку, и там она искала себе еду, сияя своими чистыми глазками. Собачка смотрела на дом, который бескрылым каменным рядом возвышался на девять этажей. Словно белый корабль, дом стоял и светился окнами, и никуда не шёл, а стоял на одном месте.

Дом был общежитием колледжа, и были в доме пять этажей заняты жильцами обыкновенными, людьми простыми, кто где работающими; а три этажа из общежития занимали учащиеся колледжа, а первый этаж общежития был нежилой и тихий.

В том общежитии жил один человек, который работал в непрестижной конторе и которого всё время хотел выселить директор колледжа. Однажды директор взял и послал в комнату, где проживал человек тот несчастливый, который был Веня, послал он двух милиционеров. Пришли милиционеры и начали говорить о том, что будто бы они знают, что у Вени есть наркотики, и не боится ли

Веня, что они сейчас начнут у него в комнате искать наркотики и всё равно найдут их, как горькое золото. Но не было у Вени наркотиков, он не боялся этих милиционеров, и даже им сказал, чтобы они передали директору колледжа большой привет. И милиционеры ушли, поняв, что их никто не боится.

Общежитие из-за проживающих в нём учащихся было шумным, и чувствовалось, что учащиеся много курят, потому что в дверные щели Вени часто шёл дым, словно свет пробивался, и от того света, от дыма, как глаза, ноздри щипало у Вени. И Веня очень страдал от дыма, и дым глаза его щипал, глаза слезились; и было больно ему оттого, что его, как собаку, директор колледжа старался всеми способами выселить из безобразного общежития. Как же Веня хотел, чтобы однажды колледж этот, словно подкошенный, рухнул вместе со всеми, вместе с его учениками, чтобы наконец-то все они замолчали и перестали бегать по этажам. И чтобы не приходили из колледжа больше, не гнали из общежития его жителей, неизвестно каким образом очутившихся в нём по воле горькой российской действительности, безумной, как мысли административного работника.

Веня часто представлял, как колледж рушится, и его руины, как застывшие волны, позволят кораблю-общежитию наконец-то поплыть в светлое будущее. Но колледж всё никак не разрушался, и его ученики каждый день бежали по этажам общежития вниз на учебные занятия. Глупо было отрицать то, что колледж будет стараться Веню и других жильцов травить, как тараканов, чтобы ученики могли развиваться всё дальше и дальше, по всем этажам, словно корь по материальному телу.

Вене иногда казалось, что если колледж вдруг действительно взорвётся, то непременно начнут искать зачинщиков среди жителей общежития. Детектор лжи непременно солжёт и правдиво покажет, что это Веня взорвал колледж — уж очень много Веня об этом думал, и казалось — он уже одной своей безумной мыслью способен колледж раскатать по элементарным кирпичам.

Вене казалось, что если колледж взорвётся, то ему трудно будет отрицать перед самим собой свою причастность к данному событию. Ведь так он сильно об этом мечтал, что наверняка сам перед собой решит, что просто не помнит о том, как взорвал здание, и на вопрос: «Причастны ли вы к взрыву?», сказав: «Нет», дёрнется. Вене почти не было жалко учеников колледжа. Ему казалось, ученики сами виноваты в том, что стелют себе простыни в холодном общежитии. И разве их не ждёт рай на том свете, когда они, погибнув под потолком колледжа, превратятся в белые свечи, мерцающие в тиши и спокойствии, позабыв о слезах жизни безумной и серой, как мешковина.

Веня работал в невесёлом, чёрном месте возле корпуса мед-университета. Однажды у них умер сотрудник, и Веня с остальными поехал на мёртвое кладбище. Когда они подъезжали к кладбищу, то увидели двух людей, которые шли с похожими на лучи цветами. Эти люди цветы продавали, как будто они могли цветами своими, словно побрякушками детей, утешить невесёлых мёртвых.

А когда ехали с кладбища, то увидели, как мимо проехали люди, которые везли гроб, а в гробу лежал ничем не прикрытый молодой парень; и вместо костюма у него была одета спортивная рубашка, а ноги были обуты в кеды. Даже не в кроссовки, а в старые, поношенные, ещё с советских времён кеды. Что ел этот парень в последнее время перед смертью — картошку? Может, он тоже жил в общежитии и его убил свой директор колледжа?

Веня смотрел на гроб с парнем и думал о том, что, может быть, этого парня убили милиционеры, когда начали искать у него несуществующие наркотики. А он начал кричать от такой несправедливости, не удержался и в драку полез, когда милиционеры начали перебирать картошку. По картошке они смотрели, её из мешка извлекая, словно фокусники, каждый раз намереваясь подсунуть наркотики, и их же из мешка того затем чудом вытащить, как если бы картошка вдруг превратилась в горькое золото.

После кладбища Веня поехал в своё общежитие и увидел, как на остановке стоял ребёнок, одетый разноцветно, как веночек. Ребёнок был в сияющих сандалиях и ел шоколадное мороженое. И от ребёнка-венка Веня пошёл в общежитие, и собаку с этикеткой встретил, которая по мусорной куче ходила, как по щедрой руке.

В теле общежития шли какие-то разборки. Два пьяных парня что-то выясняли, наступая друг на друга, словно два чёрных облака, блестя лезвиями молний. Пахло немытыми, заблёванными полами, и лестница стремительно уносилась вверх по каменным коридорам. Короткая стычка парней предвещала затянувшуюся верёвку разбирательств, из-за чего на нижнем этаже обязательно соберётся целая толпа, которая будет выяснять, кто и что покупал, и за сколько, и куда это всё делось вместе с наркотической бутылкой.

Веня вспомнил, как однажды с девятого этажа из окна их общежития выпал один из учащихся. Он упал на твёрдую заснеженную землю и от удара выпал из себя самого и ударился. И, без чувств вертясь вокруг жизни и смерти, ещё стонал, лучась кровью по обе стороны своего тела. Веня не знал, что стало дальше с тем парнем. Помнит, что приехала «скорая» и его забрала. Парень кричал, и замолчал только в тот момент, когда дверь «скорой» захлопнулась, как будто он об неё ударился и потерял сознание.

Веня обошёл парней и по ступенькам, словно по постулатам, отправился к себе в комнату на четвёртый этаж, надеясь, что в его двери не будет торчать короткая бумага о том, что администрация колледжа просит его в недельный срок съехать с занимаемой им жилой площади.

Записки не было. Голая дверь с отверстием для ключа была закрыта — и ключ, со щёлканьем пересилив замок, otvorил её. В комнате было темно, как в склепе, и странно было видеть в нём телевизор... ведь разве покойники смотрят телевизор? Стол стоял в углу и постыдно закрывался от всех старой скатертью. Шторы имели бледный вид, и изображённая на них рыба походила на глаз с плавниками вместо бровей. Веня включил свет, посмотрел на некрашенный пол, и ему показалось, что он сам — это всего лишь продолжение пола — и что, возможно, однажды он вдруг исчезнет. Сначала никто этого не заметит, а потом взломают дверь и не найдут его, обрадуются и заселят своих учеников. Или поселят семью милиционера, а его вещи выбросят на помойку, где бродит собака с этикеткой, а телевизор унесут к вахтёрам.

И станут милиционер или ученики колледжа жить в его комнате, и не будут догадываться, что Веня никуда не исчезал из комнаты, а просто от нарисованного на шторе глаза он однажды вдруг увидел что-то очень яркое и прекрасное — и на колени упал и поклонился, и, об пол стукнувшись, потерял сознание.

И сознание то не захотело больше в общежитие возвращаться, а решило оно так жить, с прекрасным Видением дружить. А тело Вени его сознание, словно кувшин, оборотило в доски, чтобы нельзя было его найти, чтобы не могли его назвать несчастным человеком и сказать: «Вот же нелепый человек, тварь такая! Занимал чужое место и никому не нужен был. Так и умер. А может, и жив, да в летаргический сон впал. Так и нашли его, лежащим на полу. Куда теперь его девать! Может, выкинуть на помойку?».

Так бы и сказали, что на помойку. Но как обернуть кувшин в доску деревянную — неизвестно было. Но разве человек не от дерева вырос, когда плоть его разве не плотником выпиливалась. А уж кувшином он стал, когда плоть ту изнутри выдолбили, чтобы в неё положить лучи светлые, добром сияющие душевным.

«Ну какие во мне светлые лучи! — думал Веня. — Эти мои добрые лучи желают, чтобы колледж вместе со своими всеми учениками взорвался, как страшная бомба. Нет во мне добрых лучей. Ох, если бы можно было такое заклинание узнать, чтобы этот колледж одними грешными мыслями можно было бы раскатать в пол холодный!»

Веня подумал, что разве русские не деревянные, если они

так живут и ничего не просят больше, а просят деревом своим их корни не трогать и не гнать их с тех мест, где они сидят как твёрдые, круглые трубы. И Веня не мог понять, отчего деревом своим люди не могут достучаться друг до друга, и они слепо смотрят сучками своими чёрными, не желая поколоться навстречу чужой боли.

Так думал Веня и ждал, когда деревяшки придут и своими скрипучими голосами будут требовать освободить жилое помещение, и опилки начнут насыпать, чтобы можно было по опилкам тем тихо ступать, чтобы их не услышали, как они будут катить Веню, словно отпиленную чурку, к чёрному выходу.

Так представлялось Вене, однако исподволь ему казалось, что так всё и должно быть: и это общежитие каменное, голым своим видом напоминающее камеру предварительного заключения; и, словно наросшие на потолке ледышки, сломанные плафоны, и в коридоре уже давно не мытый каменный пол. Всё это казалось таким неслучайным, суровым и аскетическим, как будто специально подстроенным, словно дело было к нему у кого-то из высших миров, чтобы жизнь серая не могла его отвлечь от чего-то особенного, большого; чтобы не было у него соблазна от дела того, пока ещё неясного, отвлечься.

«Про дело это я хорошо придумал, — подумал Веня. — Но так живут все в нашем общежитии. И что, выходит, все они избранные и, не отвлекаясь на соблазны, идут к какому-то своему великому делу? И мой сосед с нижнего этажа, алкоголик и тунеядец, он тоже ждёт своё дело, не отвлекаясь на хорошую жизнь? А Васька, который в прошлом году умер, он-то не дождался своего дела — высокого предназначения! А может, мы избранные в том смысле, что мы прольёмся и родим таких же обездоленных, которые в этом общежитии будут твердить о своём великом предназначении, как деревянные солдатики в бедной казарме».

Веня вышел из своей комнаты в коридор. Серые стены общежития, словно одетые в казённую мешковину нескончаемые ряды застывших солдат, полем своим одинаковым они рождали и из серой своей бесконечности складывали некую силу. Толпою своей истомившиеся те стены по серости своей шли — и из той серости, как из деревянных и невзрачных ветвей, из поля одинакового землистого, из стен тех они рождали, как из заклинания однообразного и монотонного, они высвобождали силу. И сила та, словно на ветвях ягода, или же в поле цветок, или же на стене нацарапанный магический знак, взывала, словно генерал среди войска, и жаждала эти стены сокрушить нежные.

ПЕТРОВИЧ

Сергей пришёл на работу в свой институт и увидел, что Марина, их сотрудница, сидит и плачет чуть слышно и её слезы сияют, словно яркие огни. Увидев Сергея, Марина произнесла: «Петрович повесился», — и опять заплакала от чувств невесёлых. Петрович был их сотрудник и работал инженером, проводил эксперименты на сильном приводе, включённом в электрическую сеть, из-за чего сила тока, мерцающая, могла нагревать исследуемые объекты.

Петрович жил один, был он немолод и последнее время сильно пил, и даже из-за этого частенько не выходил на работу. Судимый ли он был Богом, или, наоборот, был он мучеником — но бесславная его жизнь противно начала загибаться в сторону виновных магазинов, и он от этого страдал и жаловался на жизнь своим коллегам по работе. Ветка любви его не коснулась, и он, не имея ни семьи, ни детей, одиноким деревом рожал только мысли о своём несостоявшемся счастье. И вот теперь Петрович умер, и та же Марина ещё и говорит, что он повесился.

— И что же, точно повесился? — спросил Сергей.

— Так сказали, — сказала Марина.

К обеду все сотрудники лаборатории, в которой работал Петрович, собрались и решили поехать к нему на квартиру. Начальник лаборатории, Иван Павлович (он неплохо разговаривал и хорошо говорил — длинно и пространно), как бы оправдываясь, рассказывал, как лаборатория старалась помочь Петровичу, как она его лечила всем коллективом от алкоголизма, и что она даже его любила по-своему, когда смеялась над его пьяными выходками.

Но всех мучил один вопрос: и чего же Петрович повесился? Мало ли, в конце концов, горьких пьяниц и хуже Петровича — и ничего, живут, перебиваются; мучаются, но считают себя вправе одеваться каждое утро и двигаться куда-нибудь неизвестно зачем, но не так это и важно — никто не знает, зачем мы живём.

Сотрудники лаборатории сели в две легковые машины и поехали на квартиру умершего Петровича. Чудно было думать, что Петрович умер и его неровная судьба не вышивает больше свой шрифт на его ладони, как на ленте.

— Так что же всё-таки с Петровичем произошло? — спросил Селёдкин, тоже сотрудник лаборатории. — Сам взял и повесился? Да никогда в это не поверю: Петрович же был весёлый человек! Его окунь любимый плавал в местной речушке. Он всё его ловил, на удочку ходил рыбачить. Что-то здесь не то.

— Да и я то же говорю, — начал другой, из тех, кто тоже невезучий был, — из запойных инженеров, Слава. — Я же говорю: чего он вдруг бы и повесился? Он мне рассказывал, что соседи его (у них же

двухквартирный дом) — соседи хотят его переселить в какую-то хату махонькую, а из их двойного дома сделать один большой. А я ещё всё говорил — не соглашайся, а он мне: а им и того дома махонького на меня жалко! Они мне всегда водку приносят. Напоят — и рыбачить посылают. Ждут, когда утону.. Вот так он мне прямо и говорил. Я ничего не приукрасил. Извиняюсь, только могу добавить, что сам я с ним пил пару раз, но никакой сосед тогда к нему не заходил. А удочку видел. Она у него в кладовке лежит — слабая и тонкая ветка.

— Да тут, я вижу, целая интрига назревает, раз стало ничего не понятно. Мне-то сказали, что он спьяну повесился. Но записку-то не нашли. А он даже и просто листа бумаги не оставил. Мог бы и не написать на нём ничего, но хотя бы мог на стол положить белый лист и рядом чёрную из чернил авторучку; или хотя бы мог уронить её под стол и, не найдя авторучку, так ничего и не написать. Но белого листка не было. Это уже точно, это уже установленный факт. Петрович даже и не пытался обратиться к нам с предсмертной просьбой его не искать, то есть не разбираться в его смерти нисколько, — сказал Иван Павлович. — А так получается, что мы теперь должны искать, что же произошло, как бы понимая, что он на такой шаг не мог решиться без предсмертной записки. Он же не акробат, чтобы в петлю запрыгнуть быстро и неожиданно ловко, не успев ничего подумать от своего механистического выверта.

— Да, конечно, — сказал Сергей, — это странно, что Петрович не оставил записки. Как бы он ни был пьян, но, запинаясь, накарябать пять слов он мог бы. Да мог бы взять и даже графином написать или пустой бутылкой. Да мог бы, если бы из той бутылки выжал хоть несколько капель, и — ими — хотя бы многоточие, а мог бы поставить.

— Да, непонятно, непонятно... — вслух размышлял Иван Павлович. В это время автомобили с улицы Ленина начали спускаться на Московский тракт, где и жил Петрович в каменном двухквартирном доме... Деревья неизвестно почему напоминали торчащие дровяки с зелёным оперением; и ими люди любовались, когда они, те деревья, росли из земли, словно твёрдые лучи, а листва была на них — как от тех лучей — сияние трепещущее...

И вот люди приехали, вошли в калитку, и даже вошли в дом, где жил покойный Петрович. И стали смотреть по сторонам, и видят, что всё в доме прибрано, только кипа безрыбьих газет лежит на полу у красного стола, покрашенного в краснознамённый цвет.

И они посмотрели на те газеты, и неизвестно почему их распротрошили, но из них не выудили ничего, и только в одной из газет они нашли рыбью чешую, и ничего больше не было в тех газетах.

И видят они: в доме есть настоящая печка, которая слита с трубой, а труба на крыше, отделанной железом.

В это время зашла соседка — хозяйка второй квартиры, и начала почему-то говорить, что как хорошо, что начали по телевизору рекламу показывать. Из-за этого она успевает, пока идёт реклама, сбегать на кухню и даже печку затопить. И от этого она и не смогла услышать, как за стенкой сосед Петрович из-за рекламы и повесился. Уж очень он всегда ругался на рекламу и даже грозился из-за этого себя отрезать от телевизора страшным образом.

— Так, значит, из-за рекламы и повесился? — переспросил Иван Павлович. — Из-за телевизора? Ну что же, версия правдоподобная. Петрович, как сейчас представляю, увидел рекламу — и ему в голову что-то стукнуло: он взял свой длинный галстук и начал его завязывать у себя на шее. И так он его завязывал до тех пор, пока женщина по телевизору кормила йогуртом мужчину. Так, так... Вот здесь, мне кажется, есть нить. Пофилософствуем дальше. Она кормит мужчину йогуртом — и Петровичу становится обидно, так как ему-то никто йогурта не принесёт. И он тогда взял и отрезал себя от телевизора, когда галстук, словно ножницы, неожиданно для него самого, его сжал и душить начал, — когда кто-то сзади подошёл и, схватив галстук, его на шее Петровича начал с силой завязывать, словно жена мужу подала отравленный йогурт!

— Ну уж, не говорите такого! — замахала соседка руками. — Сам он, сам и наложил на себя руки. Как мой муж его уговаривал: что ты делаешь, Петрович, брось пить! Подумай о себе, ведь слёзы мы все уже проплакали. Ведь боимся мы, что спяну сигарету не потушишь и запалишь нас, и себя вместе с нами и прибавками нашими!.. Вот так мы ему и говорили — отговаривали пить. А у моего мужа сердце больное, и, разбиваясь, скажу: сердце моего мужа перестало болеть, когда Петрович повесился. Вот так! Сразу стало легче: мы теперь не боимся спать и двери запираем. А раньше мы двери, перед тем как лечь, с петель снимали, чтобы легче было выпрыгивать из горящего дома.

— Ну уж, с петель снимали! Не поверю, — Селёдкин посмотрел на женщину. — Чего бы вы их снимали, если можно было просто ведро с водой поставить рядом, без спроса.

— Можно было бы и воду поставить, но не могу же я из ведра того потом пить, если я знаю, что ведро, по сути своей, с Петровичем-пропойцей связано непостижимым образом. — Женщина всхлипнула.

Чувство сильное прошло по присутствующим, и умершего Петровича всем стало жалко — и стало им всем понятно, что соседи сами были напуганы Петровичем и вряд ли мыслили его убить, от него шарахаясь и дрожа, словно от страшного мороза.

В это время соседка и Марина, увидев, что зеркала не зашторены, начали их прятать под всем, что под руку попадалось. Они взяли и трюмо начали прятать под пропастью, из одежды состоящей. Из одежды взяли пиджак и им укрыли одну сторону трюмо — и не почувствовали ничего, но ясно было, как зеркало, храня отражение Петровича, могло бы начать выливать изображение на весь белый свет, как если бы оно вдруг почувствовало, что самоубийца, сам себя убив, хочет вновь вернуться к жизни и тащит с собой всё — все свои изображения, чтобы образы свои перед всеми расположить и среди них, как ни в чём не бывало, начать разговаривать про дела непостижимо самые простые, уродливо однообразные и беспросветно невеликие, как будто самоубийства и не было никакого, а все живы. И из зеркала бы Петрович, как ни в чём не бывало, мог бы разговаривать тоже. Но только, наверное, разговор его был бы тоже перевёрнут и, зеркально отражаясь, напоминал бы тарбарщину.

Все уже особенно-то и не хотели больше разбираться в смерти Петровича. Интересная версия с соседями-убийцами распалась на ничего не значащую кипу бессмыслицы — и все посмотрели в окно, где росла берёза, слитая с землёй.

КОМНАТА

Случилось это, когда я закончил университет. Хотя, впрочем, ничего особенного и не произошло, никакой романтической истории. Просто надо было как-то устраиваться, найти жильё, чтобы можно было, стыдно сказать, в чистом месте прикоснуться к постели, а не на улице под небесным матом (т. е. громом) уснуть. Мои роды свершились двадцать три года назад, и теперь я должен был сам как-то устраиваться и стучаться во все двери жизни с просьбой впустить заблудшую овцу с университетским образованием. Поэтому, ничего не понимая в жизни, я постучался в первую же попавшуюся на моём пути дверь. Постучался в переносном смысле этого слова. На самом же деле я прочитал первое попавшееся объявление в местной газете о сдаче комнаты и твёрдо решил незамедлительно съездить по указанному в нём адресу.

На следующий день чувствуя, что замерзаю, я уже звонил в дверь, обшитую, словно одежда металлиста, серебряными клёпками. Дверь открыла молодая, симпатичная женщина лет тридцати. Одета она была в домашний халат. Видимо, недавно родившийся ребёнок улюлюкал в комнате, лёжа в обереге кровати. Женщина с радостью пустила меня в квартиру, когда узнала, что никакой я не сантехник или переодетый в штатское милиционер, а человек,

который, возможно, приобретёт расположенную на Черемошниках доставшуюся им по наследству комнату-гостинку. Как говорится, не милиционер, а миллионер. На самом деле денег у меня не было, но отец обещал помочь, если я надумаю покупать недорогое уютное гнёздышко.

Молодая женщина была рада и не скрывала этого, сразу же позвонив му'ку, т. е. мужу на работу. Чайка, а не женщина: белая, маленькая и ласковая, в пушистом и мягком халатике! Мы радостно смотрели телевизор. Ребёнок в кроватке возился сам с собой — и невесту бы мне найти такую же, как его мамаша, даже не знаю, как её звать!

Примерно через полчаса приехал хозяин — молодой, огромного роста и грубоватой внешности мужчина в очках с диоптриями. Диоптрии, словно нанизанные друг на друга капустные листья, казалось, держались на острие зрачка подслеповатого мужчины. Зайдя в квартиру, громогласный и неотёсанный, мужчина мог бы спокойно повесить детскую кроватку с младенцем, как талисман, себе на шею к груди, но, пройдя к мебели перед телевизором, за руку поздоровался со мной.

— Поехали, покажу гостинку, — тут же предложил он мне. — Чудо, а не комната! Только деньги мне нужны сразу. В крайнем случае, завтра. Успеваешь с деньгами?

— Постараюсь. Отец обещал завтра привезти, — неуверенно сказал я.

— Тогда поехали, — хозяин быстро направился к двери. Теперь я понял, на кого он был похож. В те годы (шёл конец восьмидесятых) часто пели, в том числе и с экрана телевизора, незамысловатую песенку про пещерного человека, в которой была строчка «а где мой каменный топор?». Хоть мужчина и назвал своё имя, но я его уже забыл, и про себя окрестил прозвищем «А где мой каменный топор». Во всяком случае, мне почему-то начало казаться, что данная песня как бы звучит в нём, произвольно вырисовываясь в виде похожего на миниатюрное топориче лежащего на груди кулона.

Первым из подъезда вышел «А где мой каменный топор» и направился к неподалёку стоявшему грузовику. Сев в грузовик, мы поехали по городу, сидя в кабине, как в железной голове. То и дело реагируя на повороты, огни светофоров и на другие зачастую неожиданно возникающие препятствия, «А где мой каменный топор» говорил: «Деньги нужны срочно. Здесь продают «жигули», совсем новые. Если завтра-послезавтра денег не найду — уплывёт машина! А ты мне сейчас деньги дашь — я тебя в малосемейке поселю. Она такая гостинка, как малосемейка. Потом как-нибудь пропишу в ней тебя, за тобой её оставляю — зачем мне она!».

Минут через двадцать «А где мой каменный топор» затормозил

возле старого деревянного, похожего на барак двухэтажного дома. Войдя внутрь барака, я огляделся. Тёмный коридор, по обе стороны которого располагались двери в комнаты. Упирался коридор в состоящую из зелёных, неплотно пригнанных друг к другу деревянных дощечек дверь с висевшим на ней амбарным замком. Две мелкие лампочки на потолке пытались осветить пространство, но у них ничего не получалось — они только ещё больше добавляли мути и разводили грязь темноты. Уже давно не крашенный деревянный пол, облезлые стены... «А где мой каменный топор» прошёл в одну из комнат и позвал меня. Комната была такой же неряшливой, как и весь барак. Грязное маленькое окно, старый календарь на стене с изображённой на нём Софией Ротару. Стол, два стула и неопрятная кровать — вот вся спартанская обстановка комнаты, которую предлагал мне «А где мой каменный топор».

— Сам видишь, — говорил он, — комната замечательная! Так что решай быстро. Деньги мне завтра уже нужны. А со временем я тебя и пропишу здесь, а потом и вообще тебе оставлю — зачем она мне!

Мы снова вышли в коридор.

— Погоди, — вдруг сказал «А где мой каменный топор», — сейчас на минутку к соседу зайду, надо мне с ним кое о чём переговорить.

Постучавшись, он зашёл в соседнюю дверь, а я остался, светясь ощущением себя, стоять в тёмном коридоре. Только сейчас я заметил в другом конце коридора, за той деревянной, закрытой на замок щербатой дверью, два горящих человеческих глаза. Я догадался, что за дверью стоял и незаметно рос закрытый в чулане мальчик, который внимательно за мной наблюдал. Мальчик внимательно смотрел на меня, а затем вдруг произнёс:

— Что, плохо у нас?

Я промолчал, но окончательно понял, что ни за что не буду здесь жить. Вскоре вышел «А где мой каменный топор», и мы пошли с ним на улицу к машине...

— Так до завтра? — спросил на прощание он.

— Да, конечно, — пробормотал я, открыл на остановке дверцу и, чуть не подвернув ногу, торопливо спрыгнул с подножки высокого грузовика.

ТРУП В ШКАФУ

Стас снова появился в Томске прошлой зимой. Заехав домой к родителям и бросив там вещи, Стас ловко и молодцевато в течение нескольких дней посещал своих друзей, пока однажды не зашёл к

ещё одной старой знакомой, молодой женщине Елене. В своё время они вместе учились на поваров в одном из томских училищ. Затем Стас благодаря своим внешним данным некоторое время работал в местном театре.

Высокий, с мужественными чертами, Станислав всё-таки не прижился в театре и вскоре уехал в Москву попытаться устроить жизнь там, в том городе, где, как ему казалось, каждый может найти себе применение и приобрести уют и достаток, комфортно расположившись в краю кремлёвских зубцов.

Так ли хорошо было Стасу среди кремлёвских зубцов или нет, трудно об этом судить, но выглядел он по сравнению со своими оставшимися в Томске сверстниками просто великолепно. Хорошо, добротнo одетый, выглаженный и побритый, он производил впечатление успешного молодого предпринимателя, торгующего изысканной парфюмерией.

Сейчас же, купив дорогой коньяк и конфеты, Стас пришёл к Елене в её маленькую однокомнатную квартиру, обставленную ещё советской мебелью. Елена приняла его на кухне, усадила за небольшой столик, и к коньяку, кроме старого сыра, ничего больше поставить не смогла. Нет, конечно, там была ещё картошка да солёные огурцы вместе с жалобами, что денег совсем нет.

Вальяжно опершись о спинку стула, Стас слушал и понимающе кивал головой, и всё удивлялся, изумлённо повторяя одну фразу: «Как вы можете так жить?!». Наконец, не выдержав, московский гость разразился целой тирадой о том, как надо правильно строить свою судьбу. Бедная женщина Лена только и успевала, что его слушать и смотреть, как Стас, обводя взглядом и размашистыми руками её квартиру, произнёс примерно следующую речь:

— Роза моя, да как же вы здесь живёте? Посмотри сама: да разве можно так жить?! Есть же и культура, и новые тенденции, и цивилизация на острие пика, а у вас здесь — труп в шкафу какой-то, да и только. Сама суди: вот твой старый платяной шкаф, а в нём наверняка ты прячешь то, что сейчас мне недоговариваешь. Да и не только ты, а вы все здесь в Томске недоговариваете.

— И что же я недоговариваю? — искренне удивилась Елена.

— Как что?! — с ещё большей удивлённой искренностью поднял брови Стас. — Вы же здесь, в провинции, даже вот к коньяку пельмени купить не можете, чтоб там мы могли бы кушать и рассуждать о том о сём, как это делаем мы в Москве. Там, в Москве, мы разговариваем, смотрим на вас, дивимся и горько головами качаем, а потом забываем про этот Томск и обсуждаем совсем другие темы, которые вам показались бы странными.

Стас, сидя на стуле, словно парил над застеленным старым линолеумом полом и продолжал делиться мыслями с бедной Еленой:

— Как в шаманизме, сама знаешь, есть верхний мир, а есть нижний мир. Вот вы в нижнем мире живёте, а от нашего солнца, которое светит в верхнем мире, вам только бледный лунный кусок достаётся, да и тот всё время разъедается чёрным морем провинциальной темноты.

— Так жить нельзя! — набрав солидный вес и рост и встав перед Еленой, продолжал Стас. — Но надо же что-то предпринимать... Пожалуйста, уезжайте если не в ту же Москву, то на худой конец в Новосибирск. Всё-таки Новосибирск — уже настоящий город регионального значения с хорошей железнодорожной развязкой и большим аэропортом. А у вас здесь... Когда позавчера из Москвы в Томск прилетел, очень удивился тому, в какой жалкий упадок пришёл ваш аэропорт. Уезжал-то я в Москву на поезде чуть ли не в общем вагоне, поэтому не видел всего этого аэропортного ужаса, этой вашей провинциальной неприкаянности, словно здесь чёрт поселился и сеет вокруг себя мёртвую зону отчуждения, через которую никакие радости пробиться не могут.

Стас уже стоял посреди кухни, высокий, красивый и мужественный, и чуть ли не задевал старую люстру под давно не отремонтированным потолком. Казалось, люстра его венчает и придаёт ему божественный статус высокоразвитого продвинутого праведника, спустившегося с небес к падшим существам.

Елена, действительно, походила на падшее существо, потому что была одета в старенькое, легкое платье. Платье падало складками, которые напоминали опущенные под невидимой тяжестью грехов крылья, и превращало человека в живущее в тёмном земном королевстве существо, не допущенное в царство света и благоденствия.

А Стас был как раз из того царства и мог элегантно, с налётом дороговизны и рафинированной самодостаточности повернуться и сверкнуть своим профилем в темноте российской глубинки. Однако на какое-то мгновение Елене стало даже жалко этого московского гостя, на несколько дней залетевшего в провинциальный Томск проведать родителей. Всё-таки это уже был не тот настоящий Стас: и весёлость его была какой-то наигранной, и был он внутренне как-то сломлен, словно его соломенная душа подвернулась и держалась только за счёт мощной материальной навески, распятая на крестах спрятанных под модной одеждой костей.

Наверное, тяжело ему в Москве, сочувственно глядя на Стаса, думала Елена. Молодой женщине представилось, как Стас, отработав таксистом дневную смену, поздним вечером спускается в полуподвал яркого ночного клуба, чтобы в качестве охранника продолжить трудиться и выносить пьяных посетителей на свежий воздух.

Хотя вряд ли Стас научился водить автомобиль. Зная его, Елене трудно было предположить, что её другу хватило силы воли закончить обучение в автошколе. Да и не такой он человек, чтобы сосредоточенно крутить баранку и смотреть вперёд на дорожную разметку, строго соблюдая правила ГИБДД. Стас являлся тем, кто не любил правила и мог бы, спокойно бросив баранку, повернуться в салон к пассажирам и затеять с ними спор о том, есть ли жизнь после смерти или нет.

Скорее всего, ему приходится охранять какие-нибудь бетоношалаки в гаражах или тарелки в супермаркетах. Елена представляла, как Стас, одевшись, словно слуга, во фрак, встав швейцаром у ресторанной двери, галстуком-бабочкой пытался взлететь и оторваться от болезненных московских зубцов, повиснув в тишине и покое на ласковых идилиях воздушной перины...

Вдруг Стас из сумки, через плечо с которой пришёл в гости, достал внушительную кипу бумажных листов формата А4 с набранным на компьютере текстом. Листов пятьдесят, не менее, с двенадцатым кеглем букв.

— Вот, я здесь роман написал, — как-то неуверенно произнёс московский гость, — так, решил вдруг попробовать силы...

— А про что роман? — искренне удивившись, произнесла Лена. — Не ожидала, что ты начал заниматься литературным творчеством. Наверное, роман о любви двух сердец, когда, например, Он и Она встретились и своими душами соединились в розе любви.

— Да всякое бывает... — замылся Стас. — Он и Она — это уже несколько устаревший взгляд. Мой роман как раз про Него и Него. Двое любящих друг друга мужчин... Сейчас это актуально. На самом деле вполне естественный процесс.

— Да как же это может быть естественным! — возмутилась Лена. — Да и зачем ты об этом пишешь, здоровый, красивый мужик. Что с тобой произошло, почему тебя так перемололи московские зубцы?

— Да ты и вы все здесь во тьме тараканьей отстали и не понимаете новых, современных устремлений цивилизации, — начал горячиться Стас. — Современное общество гораздо разнообразнее, чем вы себе представляете. Вообще любовь не знает границ — эту мысль я хотел в романе отразить.

Далее Стас начал рассуждать, что население планеты быстро растёт, людей становится чересчур много — и в обозримом будущем может произойти катастрофа, связанная с перенаселением. Поэтому любовь друг к другу людей одного пола — естественное проявление защитных функций природы, пытающейся спасти человечество.

— Это я понимаю, Стас, но, надеюсь, ты не из этих уж слишком продвинутых... Ну, ты понимаешь, о чём я...

— А ты, Лена, почитай, внимательно почитай мой роман. Сейчас вот ищу деньги на его издание.

Вскоре Стас поднялся:

— Завтра улетаю в Москву, дела ждут.

Стас шёл по Томску, ему очень не хотелось уезжать. Но вчера звонил Клаус, сказал, что прилетает из Германии в Москву на неделю.

На следующее утро Стас в здании томского аэропорта ждал вылета. Ему было неловко вспоминать, как он вчера выделялся и «гнул пальцы» перед бедной женщиной, гордился своей временной московской регистрацией в съёмной квартире. Зачем-то выказал недовольство отсутствием на столе пельменей. Мол, сейчас пойду и куплю эти несчастные пельмени, раз у вас, провинциалов, денег нет. Конечно, я могу купить пельмени, потому что и сам из их числа — я русский сибирский пельмень на вилке у Клауса!

Острые московские зубцы давали о себе знать — всё было не так, как хотелось... Через четыре с небольшим часа в Домодедово его с цветами встретит ждущий объяснений, всегда тяжело дышащий жирный Клаус.

НИНА

Немец дядя Витя по выходным дням часто стоял, опершись на калитку, и смотрел на нас, детей, играющих на поселковой дороге в войну. Он был большим и толстым, и напоминал добродушного немецкого солдата-ефрейтора из военных кинофильмов — и мне тогда по молодости ребячьих лет казалось, что сюда, в Нарым, дядя Витя был сослан после того, как попал в плен на войне. Я живо представлял, как дядя Витя, держа автомат наперевес, шёл вслед за железным квадратным танком — и мне страшно хотелось его об этом расспросить, но я боялся и, в свою очередь, любил смотреть на то, как в палисаднике у дома немца всё было мирно, чисто и хорошо устроено.

Наверное, так же хорошо или даже ещё лучше было и внутри самого дома, тем более что в нём жила дочь дяди Вити Нина. Хотя, как поговаривали люди, у себя дома, вдали от чужих глаз и ушей, родители Нины называли её Гретхен. Девочка являлась старше меня лет на пять и походила на чистую, плотную и красивую куклу, за которой через семь лет, когда она выросла, начал ухаживать мой сосед по улице — высокий прыщавый парень, всегда одеколонившийся так сильно, что, наверное, все нарымские цветы возмутились и были против их свадьбы.

Так и получилось — без цветов сыграть свадьбу не представля-

лось никакой возможности, а они не благоволили к моему соседу; и Нина замуж вышла за другого человека.

Вскоре, окончив среднюю школу и уехав в город, я забыл о Нине, и только вспомнил через очень много лет, тогда, когда мне сообщили о том, что она умерла. Рассказали мне о Нине совершенно случайно, мимоходом, как о всегда растрёпанной и неряшливо одетой сумасшедшей женщине, словно её покинули и больше с ней не играли, не гладили её по голове и не расчёсывали небеса, предоставив куклу-человека в смутное время перемен самому себе.

Рассказали мне о Нине так. Мой собеседник, опершись локтем о стол, свободной рукой держа кружку с похожим на светлый сладкий мёд золотым, но горьким пивом, морщась, передал напоминающую солёную рыбку корку историю. И под пиво он ту рыбу-историю долго и усердно смаковал и дивился таким человеческим метаморфозам.

Он рассказал, что Нина, когда потеряла в посёлке работу, то сильно растолстела и подурнела, в магазин же заходила только для того, чтобы купить на пособие по безработице хлеб.

Её муж тоже нигде не работал, занимался браконьерством и ловил рыбу, которую время от времени продавал за очень небольшие деньги, за рубли, похожие на бросовую чешую щепы, содранную с огромного бревна чьей-то сумасшедшей прибыли.

Бревно-прибыль уплывало к другим людям, а муж Нины приносил домой только слёзные щепки и зачастую тут же их пропивал, горемычными корабликами пуская их прочь по неиссякаемому водочному ручью...

Нине оставалось только сидеть и плакать, в пресные воды Оби роняя почерпнутые из бескрайнего моря страданий солёные слёзы, чистые, как Христос.

Она даже иногда молилась Ему и просила помощи, но море человеческое слишком велико для того, чтобы суметь каждую каплю в нём отделить и защитить. Как могли, капли сами помогали друг другу, по-родственному, когда там они, словно оказавшиеся в воде после крушения корабля моряки, сплывались вокруг обессиленного своего собрата, не давая тому утонуть.

Но у Нины не было близких родственников, кроме родителей, а они не имели возможности ей помочь и дать денег со своей пенсии, так как её не получали, потому что давно умерли; не могли за дочь заступиться, отгороженные от мира живых траурным экраном могильного цветника.

Как мог Нину защищал только мой бывший прыщавый сосед, за которого она много лет назад по велению цветов отказалась выходить замуж. Но у него самого уже давно была своя семья, и он,

работая на местной пилораме, по-человечески жалел свою бывшую возлюбленную...

Умерла Нина неожиданно от остро развившегося приступа диабета, наличие которого она у себя даже не подозревала. Умерла и ушла от жестокого мира-мужа в могильный цветник к своим родителям. Даже не к родителям, а снова вернулась листочком-душой на райское дерево. На то дерево, с которого когда-то родители её душу сорвали. А теперь вновь душа возвращалась, словно весной опавшие ещё осенью листья вдруг с земли поднимаются, на своё дерево возвращаются и начинают радостно зеленеть, предчувствуя вечное лето впереди.

ТОМСК

В Томске, как говорил мой товарищ, чувствуешь себя инородным телом, если ты не рождён этим городом и с пелёнок не рос от его костей. Иной, кто в Томск приезжает, чувствует себя в нём, даже по прошествии многих лет, оторванным от жизни, и в одиночестве мыслит. И чувство это невесёлое оторванности от жизни было до того выражено, что превращало человека в предмет, кочующий по океану безвестности. И тот океан был до того бескрайним, что мог включить в себя все известные океаны вместе с морями, реками и озёрами — и потому был тот океан воистину великим. И человек плыл по тому океану, и сон его одолевал, и ему казалось, что всё в мире нереально. И встретившееся на пути его бревно человек воспринимал как подарок судьбы, и старался он бревно то расшевелить и с ним переговорить. И бревно рассуждало обо всём на свете, и оно, душу свою спасая, за своего собеседника хваталось. И брёвна те разговаривали друг с другом, как разговаривали мы в гостях у Свиридова.

У Свиридова, кроме меня, ещё были гости, двое парней, мне немного знакомых. И мы поздоровались, и вокруг замусоренного стола устроились. Лица наши были провалившимися из-за бледного освещения, и создавалось впечатление, что мы ходим не под звёздами рая, а под чёрными звёздами, в земле катавшимися. И заметно было, как мы стали словно пропащими, и я сказал:

— Боюсь, что мы так вымазались в грязи жизни, что вряд ли вылечимся от своих болезней. Холодно.

На что Свиридов ответил:

— Да я как-то год не мылся и понял: лучше, когда не моешься. Меньше болеешь. Не верите? А я понял, что когда ты моешься, то смотрит душа, как кабина, в которой она сидит (то есть ты), омывается, и думает: «Ага, там вижу я, водой обливается кабина — и я от

воды побегу». И побежит душа, а ты разладишься. Бойтся она воды.

Тогда спрашивает один из пришедших:

— Отчего же душа бойтся воды?

— Да просто, — отвечает Свиридов, — она бойтся воды потому, что кажется ей про воду такое: вода босая не добро, а зло. Как бы вам объяснить...

Свиридов задумался и заключил:

— Вода — плохой сон, особенно когда всё вокруг заливает. К болезни.

— Прекрасно, — сказал я, — не буду умываться — и мой бронхит побеждён!

В это время Свиридов разбивал на сковородке глазунью, и мой сосед продолжил:

— Яичница — это, может быть, смесь чёрного и белого. Или нет, как бы это сказать: она нас закормит Истиной, и можно будет понять Добро и Зло.

— И что же ты понял?

— За луною я раз наблюдал и вдруг вижу, что как только луна тонкая начинает поворачиваться и посверкивать боком другим, то сразу что-то противится и не даёт поближе ей с нами познакомиться и показать свою сторону другую.

— Наверное, потому, — сказал другой парень, — что та сторона у неё пригорела и не может отстать от чёрного неба. Рыбы тоже могут привариться к закопчённому небу и там летать, словно по маслу слитному. И станут рыбаки плакать и закидывать удочки вверх, но удочки обратно к ним без рыб возвращались и им кожу безжалостно рассекали острыми крючьями.

— Да, — сказал я, — всё правильно. Рыбы тоже могут летать по небу; мы это увидим, если наш глаз поколется особым образом. Если же мы сможем глаз наш соединить воедино, то увидим, как всё превратится в воду. И только одна лодка останется на воде. И будет лодка та над водою чертиться. И будет она теми, из тех построена, кто за свою жизнь смог стать великим или героем, смог отличиться от всех остальных.

Мы разделили глазунью на части, и поколотая глазунья, она видела нас, и, наверное, мы ей казались жабами болотными. Вот так мы живём в Томске.

КОЛОННА

Сергей попал в армию неожиданно быстро. Так быстро, что родители ничего не успели предпринять. С другой стороны, разве могли они что-нибудь здесь сделать, жители обыкновенного

посёлка, получающие совсем небольшую зарплату на местной пилораме. Надев в армии солдатскую форму, Сергей вспомнил, как в детстве он прямо грезил ей и считал, что солдаты — самые счастливые люди на свете, так как они могут облачаться в военную гимнастёрку с пластинками-погончиками и блестящими пуговицами. Пуговицы завораживали ребёнка, словно это были не пуговицы, а настоящие бриллиантовые запонки. Теперь же Сергей совершенно не радовался военной форме, а с нетерпением ждал окончания срока службы и возвращения домой, к своей заправленной дорогим покрывалом кровати и отдыху без распорядка дня со стареньким магнитофоном на полке над головой.

В армии Сергей водил тяжёлый грузовик и никаких лычек не заслужил, но и аварий у него не имелось — его машина всегда ехала правильно, колёсами назад.

В этот раз, поднявшись ночью по тревоге, шофера завели свои тяжёлые грузовики и ждали приказа, сидя в машинах и включив свет фар, бивших прямо в глаза наблюдавших за построением командиров. Наконец было решено двинуться в путь. Ответственным за колонну автомашин и её продвижение назначили капитана Васнецова. Когда колонна двинулась, хлынул страшный ливень, словно он хотел помешать началу войсковой операции. Где-то наверху гудели бомбардировщики, полетев какать бомбами на головы то ли условного (если это были учения), то ли настоящего неприятеля.

Погода рыдала, и свет включённых фар выхватывал только небольшое пространство впереди, а всё остальное скрывалось в ночи за сильным ливнем, стучавшим по кабинам грузовиков падающими сверху водяными бомбочками. Природа проводила свои учения, и капитан нервничал, то и дело посматривая на часы, твердя Сергею одно:

— Медленно едешь, рядовой, всю колонну задерживаешь. Давай быстрее!

— Не могу, товарищ капитан. Видимость совсем плохая — разбиться можно, — отвечал Сергей и резко давил на газ. Но тут же ему приходилось сбрасывать скорость, так как машину начинало заносить — и она, еле сдерживаясь, несколько разворачивалась на тормозах, как на парашютах.

Вскоре колонна въехала на мост. Так как машина Сергея с капитаном на борту шла первой, то по ней равнялась вся колонна — и мост громыхал под страшным гулом военных автомобилей. Из-за ливня даже самого моста практически не было видно, и по его краям на всём протяжении стояли солдаты-регулирующие, фонарями указывая путь автоколонне. В этот момент водитель грузовика напоминал пилота, сидевшего в садившемся на усыпанную сигнальными огоньками полосу самолёте.

Вдруг впереди машины один из огоньков метнулся ей наперез и побежал впереди прямо по курсу, маша фонарём как здоровенной, спелой виноградиной. Почему одному из регулировщиков пришла в голову идея бежать впереди автоколонны, никто не понимал. Сергей, высунув голову из автомобиля, пытался кричать мешавшему солдату, но шум дождя со своей стороны ему тоже сильно мешал и расстреливал все его крики тут же на месте.

Бежавший по середине моста горе-солдат уже серьёзно задерживал спешившую колонну, и тогда капитан Васнецов резко сказал шофёру:

— Дави его! Под мою ответственность — дави!

— Да как же, товарищ капитан! — в страхе крикнул солдат и, конечно же, не перекрестился, но его сердце сильно заколотилось, как перед лицом большой опасности.

— Я же сказал — под мою ответственность. Или сам под трибунал пойдёшь за срыв особо важной операции. Время очень дорого, препятствие надо срочно устранять, — капитан не походил на себя: его лицо побледнело и сделалось очень серьёзным, как у человека, готовившегося совершить жертвенный подвиг или первый раз в жизни поцеловаться с девушкой. Решительный Васнецов с портупеей через плечо походил на белогвардейского офицера, готовившегося отразить атаку красных.

— Я приказываю — вперёд! — кричал капитан Сергею. — Мямля, ответишь за всё! Там на рубеже твои товарищи помощи ждут, а ты трусишь самым постыдным образом. Дави!

Некоторое время капитан ругался и даже матерился, через каждые два слова вставляя точки нецензурного выражения. Сергей сигналил изо всех сил, но бедный солдатик, видимо, совсем уже ничего не понимал, продолжая бежать впереди колонны и бестолково размахивать фонарём. В свете лучей его каска блестела, словно шлем у попавшего в сильный дождь мотоциклиста.

Сергей осторожно ехал за солдатом. Взбешённый капитан Васнецов сидел рядом молча, замолчав после того, как водитель дерзко предложил ему самому расстрелять из пистолета мешающего регулировщика. «И куда только армия катится?» — время от времени вслух повторял офицер.

Наконец, соскочив с жертвенной полосы дороги в конце моста, солдат отошёл в сторону и виноградиной фонаря отвесил поклон, мухой быстро его приподняв и опустив. Сергей, облегчённо надавив на педаль, вырвался вперёд. Хотя его машина и до этого была впереди, но теперь она опередила и солдата, который только что самовольно возглавлял автомобильную колонну.

— Так что готовься, — бурчал в адрес Сергея капитан, — подготавливаю на тебя рапорт за срыв графика движения автоколонны.

Васнецов негодовал, не удержался и продолжил по тому же адресу:

— Ишь ты — выстрелите сами, товарищ капитан! Одно дело выстрелить, а другое как бы случайно задавить. Надо было мне сесть за руль. Дави теперь, дави на газ. Ну и что, что погода плохая — успевать надо, иначе мне несдобровать.

Вскоре дождь кончился, машины поехали быстрее в тёмном тоннеле ночи.

СВИРИДОВ

Около семи часов вечера ко мне зашёл Свиридов. Было уже темно; чёрная мгла за окном, словно траурная ткань, закрывала окно снаружи, и ничего не было видно. Но в доме горел свет, и лампа, словно луна, молодеда и сама освещалась, а не от солнца. И вот Свиридов вошёл ко мне и сел на коричневый стул и водрузил одну руку — локтем длинным — на стол и, распоровшись курткой, посмотрел на меня из очков твёрдым взглядом. Была зима, и снег пался на его ботинках и оставлял небольшую лужу.

— Кажется, я сошёл с ума, — сказал Свиридов. — Я слышу голоса.

Я молчал. На сердце у меня было беспокойно, и Свиридов, чувствуя это, сам как-то засуетился и продолжил:

— Я, по йоге, начал отслеживать свои мысли — и вдруг однажды словно как у меня вторая голова образовалась: я начал у себя ещё одного «себя» ощущать. Я же говорю с ним, как будто он во мне сидит и со мною безоговорочно рассуждает всё время; как будто я сам — разделившись — сам с собою говорю.

Чувство страха Свиридова передалось и мне. Я посмотрел на его два глаза, две руки — и опять ничего не смог сказать. Чёрная мгла за окном тёмным светом искала выход в нашу комнату, и казалось, что вот-вот из неё мордой вперёд родится бесчувственный урод. Свиридов посмотрел на меня и продолжил:

— И вот стал тот, который от меня отщепился и говорит со мной, шутить и бросать в меня камни. Это, наверное, странно, но я ощущаю, как в меня летят камни, и летят они во мне и в меня же! Я весь избит изнутри, как будто во мне живёт чёрный Яко. Он якает и зло меня тиранит всё время.

У стола на подоконнике стояла ваза с цветком. Его зелёный стебель с розой на конце торчал, словно ушная раковина, он слушал нас и, свесившись набок, не верил ни одному слову Свиридова. Я же знал Свиридова хорошо и понимал, что он не врёт.

Я смотрел на Свиридова — и уродец за окном чувствовался всё сильнее.

— Икону я взял в церкви и молюсь на неё, — продолжал Свиридов, — но она меня успокаивает ненадолго. А потом опять тот во мне начинает раздумывать о том, кто я такой, — и та икона уже не может своим плоским деревом разбить темноту мрачного пожара во мне, так чудно говорившего всё время.

Я смотрел на этого двойного человека, и даже мне хотелось сказать ему «вы»: освещаясь, Свиридов выглядел как небожитель. Но уж очень он был напуган и всё время говорил о своем втором «я», начинающем ему очень сильно надоедать.

Делать было нечего, мы позвонили в «скорую». «Скорая» приехала, мы сами вышли к ней на улицу. Падал снег, и я, когда Свиридов уже собрался садиться в машину с красным крестом, сказал:

— Так как же ты сошёл с ума, если ты сам осознаёшь это? Может, ты и не сошёл с ума?

— Да нет, конечно, с ума я не сошёл, потому что понимаю, что моё второе «я» — это напраслина. Зачем оно мне сдалось, что я с ним буду делать? К тому же оно кидает в меня камни. К кому мне ещё обращаться? Оно мне спать мешает. Я хочу, чтобы оно заткнулось навсегда. Выйду из больницы нормальным — без ответвлений от себя самого. Хотя, признаюсь, это второе «я» иногда говорит нетривиальные вещи, я даже кое-что записал, потом покажу.

Машина со Свиридовым уехала.

Я стоял один и всё думал о том, что же записал Свиридов и что могло ему сказать такого его отслоение от себя самого. Но не мог ничего придумать

ТРОИЦА

По прошествии нескольких дней я решил навестить своего друга Свиридова. Он лежал в психиатрической больнице, и, честно говоря, лечение не шло ему впрок. Попал же он туда потому, что стало ему казаться, будто бы в нем живёт существо, называющее себя Яко. Проходили дни, Свиридова кололи какими-то лекарствами, но легче ему не становилось. В этом я вполне убедился сам, когда его увидел. Некоторое время мне пришлось подождать, но вскоре в конце белого больничного коридора замаячила фигура Свиридова. Он шёл медленно, тяжело волоча одетые в шаровары и плоские тапки худые ноги. Его волосы были не прибраны, щёки и подбородок тёрли тоненькие ветви волос, обильно смазывая их своим жёстким уколом.

Свиридов подошёл ко мне, мы поздоровались и сели на скамью для посетителей, стоящую здесь же, в коридоре больницы. Я передал ему гостинец — пакет, внутри которого лежали похожие

на луну апельсины с похожими на месяц бананами. Во дворик мы выходить не стали, так как была зима, стояли сильные морозы. Покрытые белыми узорами окна больницы напоминали фрагменты нарядного одеяния невесты.

Разговор у нас не клеился. Сергей (так звали Свиридова) сидел и только горбился. Наконец, сказав, что чувствует себя плохо и всё время хочет спать, он засобирался к себе в палату. На мой вопрос: «Как дела?» он так ничего и не ответил. Конечно же, Свиридов страдал. Он больше не ощущал в себе присутствия второго «я», своего Яко, некогда горевшего в нём красным, притягивающим огоньком. Свиридов опять остался один.

— Не с кем поговорить, — сказал Сергей. — Раньше, бывало, Яко как начнёт чего-нибудь рассказывать, да потом ещё и якать начнёт. Весело. А теперь скучно. Видимо, лекарства вконец его прикончили. Погас мой красный якающий огонёк, увял в руках эскулапов... Обидно, что всё так получилось. Всё время его ищу. Пытаюсь сказать «я», говорю — а всё не то. Не то! Там «я» говорилось как-то... — Свиридов некоторое время искал подходящее слово, — будто собака лаяла, когда на неё хозяева шикают, а она всё равно удержаться не может. Да что тебе рассказывать, всё равно не поймёшь.

Напоследок Сергей попросил меня заехать к нему домой посмотреть, всё ли в порядке. Особенно просил проверить, на месте ли бумаги, в которых он записывал то, о чём говорило ему его второе «я».

До жилища Свиридова я добрался часам к семнадцати. Жил он в общежитии приборного завода, где работал программистом. Поднявшись на пятый этаж, я вошёл в блок, в котором соседствовали три комнаты. Был выходной день, суббота, и, как всегда в это время, в блоке Свиридова стоял гнетущий специфический запах из смеси винных спиртных паров и табачного дыма. Как всегда, данное алкогольно-дымное покрывало тянулось из соседствующей с комнатой Свиридова двери. Оттуда слышались пьяные голоса, играла музыка. Создавалось впечатление, будто бы в той комнате сидели черти и, распространяя своё пахнущее адом покрывало через тёмные щели своего жилища, зазывали алкоголиков, заставляя их в наслаждении трепетать от прикосновения к тому бесплотному материалу, как к чуду.

Здесь я вспомнил, что забыл подробно расспросить Свиридова о том, где конкретно лежат его бумаги, но, войдя в комнату, понял, что такие расспросы являлись бы излишними. Хотя я уже не раз бывал у него дома, но почему-то сейчас убогость обстановки жилища Сергея поразила меня с особенной силой. Стало понятно: свои бумаги никуда он спрятать не мог, так как практически никакой мебели не было. В правом от окна углу, вдоль стены, стояла

заправленная деревянная кровать, старая и ссохшаяся от времени. В противоположном от ссохшейся кровати углу вертелся стол. Вернее, не вертелся, а тоже стоял, но казалось, будто он вертится, из-за того, что Свиридов, чтобы разнообразить обстановку, часто его переставлял — и на этот раз стол стоял ко мне другим, облезшим не красной, а зелёной краской, боком. А в одно из моих посещений, помнится, стол приветствовал меня боком, облезшим синим цветом. Скатерти на нём не имелось, так как она лежала на стоявшей неподалёку от стола кухонной тумбочке. Завершали обстановку чёрная, маленькая электрическая плитка на тумбочке и небольшой старый холодильник.

Телевизора в комнате не имелось, и вся эта постная обстановка навевала мысли о том, что из такого истинно нулевого достатка действительно можно получить великое богатство, если бы суметь единицу поделить на это нищенство, поделить на этот ноль и в итоге, согласно математике, получить бесконечность и неисчислимый жир, огромный мир.

Я начал искать бумаги Свиридова. Искать их долго не пришлось, они лежали под кроватью в тёмном месте в большом полиэтиленовом пакете. Во всяком случае, на первый взгляд бумаги, как и весь остальной нехитрый скарб Сергея, были на месте. На когда-то бывших частью дерева листочках жили строчки, но разобрать скачущий почерк Свиридова не представлялось никакой возможности.

Положив бумаги обратно, я развернулся, и через несколько шагов уже закрывал за собой дверь свиридовского жилья. Дверь, как и стол, являлась тоже очень облезлой, как будто она вернулась из далёкого и трудного боевого похода. Или, лучше сказать, как будто дверь стояла, а в неё стучали с такой силой, что она вся от боли потрескалась и сморщилась...

Из психбольницы Сергей Свиридов выписался через два месяца. Практически сразу же он позвонил мне на работу и попросил к нему приехать. После работы я поехал к Свиридову домой. Как я уже ранее говорил, он жил в общежитии приборного завода, на котором работал программистом. Вскоре я уже заходил в его жилище.

Комната Свиридова напоминала ужас. Во всяком случае, так сказала его мама, когда увидела эту комнату впервые. Хотя слепые люди могли бы без труда в ней ориентироваться, потому как кроме стола, двух стульев и старой, с потрескавшейся полировкой, кровати больше в ней ничего не было. Только светлое окно своим открытым простором могло ослепить и зрячего, так как штор не имелось. Жёлтое солнце заглядывало в окно, словно окулист, который проверяет глазное дно.

— Так-то вроде бы всё хорошо, — говорил Свиридов. — Только

нет-нет, но вдруг такое наступает ощущение, что будто бы внутри меня опять расцветает розой красный огонёк, и тут же, умирая, произносит: «Я». А иногда кажется, что меня за затылок хватает какая-то большая рыба.

— Почему рыба? — поинтересовался я.

— Не знаю, но уверен — это рыба. Такая большая, серая, с вытянутой мордой. Хотя я её не видел в прямом смысле этого слова, но всё равно от её прикосновения как бы начинаю зримо представлять так злобно мучившие меня черты.

Рассказ про рыбу мне не понравился. Было начало 90-х годов, люди в то время поголовно увлекались мистикой и эзотерикой, поэтому нельзя было и двери раскрыть, чтобы не подумать о том, как же у святых раскрываются чакры, словно цветы, или, лучше сказать, словно множество дупел на похожем на небольшое дерево человеке.

В своё время Свиридов тоже занимался практикой раскрытия у себя святых чакр. При этом он продолжал пить и курить, прожигая себя до дыр. Видимо, в одну из таких дыр, в раскрытое дупло Свиридова и залетела чёрная птица или рыба, досаждающая теперь ему невыносимо.

«Всё правильно, — подумалось мне, — дырявый Свиридов с поселившимися внутри него птицами и рыбами на самом деле так и не вылечился». Выдержав паузу, я предложил своему другу сходить вместе в церковь, поговорить с попом, с батюшкой о не розовых красках нашего мрачного мира. Свиридов согласился.

Честно говоря, я и сам не прочь был поговорить с одетым в чёрное священником, так как, наслушавшись Свиридова, тоже начал ощущать неизвестно что, но настойчиво и мрачно стучавшееся в мои пока ещё закрытые, но уже трясущиеся от стука дупла. К тому же я хотел написать роман, но он не получался. Поэтому мне казалось, что, поговорив со священником, я совершу прорыв в работе и смогу прекрасно описать сцену покаяния своего заблудшего героя, сделав её ключевым местом в романе.

В воскресенье мы пошли в церковь. Май жил теплом и чувством радости. Город разделся, и девушки, сбросив с плеч зимнюю одежду, остались в тонком костюме платья, подчёркивающего их формы слишком открыто. Впереди замаячила церковь. Её, словно платье девушку, скрывал большой каменный забор, у ворот которого дежурил наряд нищих. Войдя в ворота, мы очутились во дворе церкви, где деревом ломались несколько построек: дом, в котором жил батюшка с семьёй, избушка для прислуги и сортир для прихожан.

Мы подошли к стоявшей возле избушки монашке, пожилой женщине, и сказали, что в нас появились дыры и через них мы

слышим голоса, хотелось бы поговорить с батюшкой: может быть, он сможет нам помочь. Монашка понимающе покачала головой и сказала, что сейчас сходит, спросит у батюшки. До этого момента Свиридов и я заходили в каменное здание церкви. Её тихая, прохладная тьма умиротворяла наши души, и, поставив свечи, мы перекрестились...

Вскоре вернулась монашка, сказав: «Батюшка скоро к вам выйдет». Люди заходили и выходили из церкви, а мы со Свиридовым стояли и ждали, немного робея, готовились к предстоящему разговору. Кто мы являлись перед ним: одержимые бесами, чёрными птицами и рыбами несчастные, без окон, дырявые люди.

Прошёл час — батюшка не появился. Прошёл ещё один час, но пришествия батюшки мы так и не дождались. На третьем часу, выйдя из сортира и подойдя к вышедшей из дома всё той же монашке, открыв розовый рот, Свиридов спросил у неё про попа.

— А батюшка уехал в онкодиспансер к больным, — невинно ответила монашка.

— А когда же он прошёл? Он не проходил мимо нас, — недоуменно возразил Свиридов.

— Наверное, батюшка вышел через задний вход, — сказала монашка, продолжая невозмутимо на нас смотреть.

Чувствуя себя совершенно растоптанными, мы ползели к воротам. Как ни странно, но к тут же выросшему в нас дереву горечи примешивалась ветвь восхищения тем, как батюшка нас разгадал. Как же он понял, что мы без закрытых окон, и любая птица или чёрная рыба может в нас поселиться; потому и не пришёл, оберегаемый от грязи высшими силами... Мы вышли за ворота церкви и направились обратно в комнату Свиридова.

Вернувшись к Свиридову, мы поставили чай.

— А куда ты дел шторы? Тебе же мать в прошлый свой приезд их покупала, — спросил я.

— Не знаю, — сказал Свиридов. — Кажется, они у соседа на окнах висят.

— Почему у соседа? — удивился я.

Свиридов замялся. Некоторое время он молчал, видимо, подбирая более правильные слова, и наконец произнёс:

— Соседу за бутылку продал. С похмелья болел... Да отыграю я эти шторы у него ещё не раз. Вчера его только видел — опять пьяный в стельку.

Между тем вскипела вода в чайнике. Вскоре мы слились с чаем в чёрном поцелуе и обожглись, выпив немного горячей жидкости. Создавалось впечатление, что Свиридов начал пьянеть от чая: его очки покрылись исходящим от горячей жидкости слепым паром, а

сам он, казалось, уже где-то летал в мире снов, воображая себя, наверное, то рыбой, то птицей.

— Чего же нас поп не дождался? — задал вопрос я и выругался, решив тем самым прервать приятное свиридовское забытьё.

— Да что батюшка, — сказал Свиридов. — Был занят — вот и всё. Да таких, как мы, к нему знаешь сколько приходит! Да и что он нам посоветует? Признайся, ты же и сам прекрасно понимаешь, что батюшка мог нам посоветовать только молиться и посты держать, словно солдаты, чтобы мимо них ни одна птица или рыба не пролетела и не проплыла. То есть я хотел сказать, — Свиридов чуть замешкался, — что ничего нельзя есть, а только понемногу лизать от всего, что понравится.

— Некоторые, слышал, делают проще: берут и из воска делают чёрную, безвкусную еду, а потом её красят, как будто это яблоки или обтянутые жиром кости.

— И не поп нас не дождался, а мы батюшку не дождались, — продолжал Свиридов. — А что до воска, то вполне возможно, что и красят люди воск, чтобы радоваться. Как, например, радуются чужому счастью и смотрят на плоды, не притрагиваясь к ним; и восхищаются, глядя, как зуб такую красоту неймёт и благоговеет перед ней, и молится на неё, не смея даже лизнуть, а не то что съесть.

Некоторое время я молчал. Молчал и Свиридов. Наконец, отпив очередную порцию чая, Свиридов расколол тяжёлый камень молчания, спросив меня:

— А ты бы батюшке что сказал, что у тебя тоже галлюцинации и ты слышишь голоса?

— Да нет. Я бы спросил его о Святой троице.

— Да, о триединстве бога. Здесь многое мне, как и другим, непонятно.

Свиридов задумался. Его чёрная шевелюра заволновалась. Он взлохматил себе голову и длинными пальцами взял короткую по сравнению с ними сигарету. Закурив, Свиридов выпустил из себя дым и проговорил:

— Отец, Сын и Святой дух. Я им часто молился. Даже в своё время купил настоящую икону, называлась она «Троица». Деревянная, чуть потемневшая, но всё равно золотом так и сверкает из черноты своей. Я молился на неё долго, но икона отказала мне. Отказала, наверное, потому, что я неправильно молился и не смог признать внутри себя того факта, что Святая троица действительно существует и, словно состоящий из трёх досок высокий забор, она может окружить человека, оградить его и защитить.

— Я тоже в бога верую, а троицу уразуметь не могу. Вот был бы, например, бог в двух лицах — это я понимаю, хотя бы абстрактно могу себе представить бога как «вещь в себе» — вот оно разделе-

ние бога на два лица: «Я» и «Ой, снова я», — после этих слов я осёкся, так как вспомнил недавнее расщепление Свиридова. Но он, не подав вида, мужественно произнёс:

— Из двух досок окружающего тебя со всех сторон забора не построишь. А вот три дощечки могут огранить тебя со всех сторон и защитить, словно грешника и преступника, от разъярённой толпы, от стыда и ненависти. Да, мне никогда не поделиться на трёх. Во всяком случае, пока не разделюсь на три, не стать мне богом.

Свиридов замолчал и многозначительно задумался. Я заволновался, так как увидел, что Сергей, отставив чай в сторону, слился со своей думой и уже пил из неё капли воодушевления и свежести новых идей.

— Ну нет, Сергей, на трёх тебе не разделиться, — я уже сожалел, что затеял этот разговор. — Выкинь это из головы и тверди одно: я один, я один, я один.

— Нет, невозможно развиваться и не начать от себя самого отслаиваться, как, например, ветвь, когда растёт, то начинает от себя самой отпочковываться на другие ветви. Так и здесь — твоё сознание, та же ветвь, вдруг начинает расти и извиваться, изощряется так, что уродливо разделяется, и не то что на две или три, на пять голов может она поделиться, дайте только время!

Свиридов раскраснелся. Его очки заблестели, он опять начал раскрываться и перед собой уродливо ставить себя же, но немного другого, очень страшного.

Свиридов поднялся из-за стола и подошёл к висевшему на спинке стула своему тёмному в полоску пиджаку, достав из его внутреннего кармана небольшой свёрток. Развернув свёрток, Сергей достал из него маленький, похожий на воск, комок. «Ладан», — сказал Сергей и, положив комок на электрическую плитку, включил её. Вскоре ладан начал таять на нагретой плите, запахло сладостью.

— Да, именно, хоть пять голов можно будет занять, если дальше развиваться, а не только три. Не спорю, трудно будет так жить: головы начнут спорить, каждая в свою сторону начнёт тянуть. Но зато у них есть шанс решить глобальную проблему, неподвластную человеку с одной головой. Так что, возможно, что моё расщепление не такая уж и плохая вещь. Господь тоже разделился на три, поколосился, чтобы единство своё подчеркнуть, сказав: вот я разделился и по количеству своему могу отрицать то, будто бы нельзя от себя отойти и невозможно собой поделиться; и разве трое не доказывают моё единство, когда как они суть одно, только разделённая так, что ни одна из частей ничего не потеряла от целого, а даже приумножила его в три раза. И разве моё деление не доказывает вам того факта, что бог может создать бога? Вот я и доказал вам

это, разделившись сам с собой и ничего не потеряв от своего такого деления. А поделился я на трёх, чтобы нельзя было сказать, что я не цветок. Я же цветок скромный, всего лишь с тремя лепестками — и по цветку я разделился на три лепестка. Разделился я так, чтобы себя до цветка принизить и даже не помышлять о превосходстве над миром. Я — цветок скромный, всего лишь с тремя лепестками, и другого смысла в моём разделении нет.

Свиридов замолк, а я допил чай. Мне расхотелось развивать дальше данную тему. Свиридов закусил удила и уже мог хоть до ночи рассуждать о своём расщеплении, о своих тайных головах. Но в то же время он совершенно не походил на цветок: длинный, нескладный и худой, небритый, неопрятный и страшный, сосущий сигарету скромный программист Сергей Свиридов.

ЙОГ

Виктор ехал в трамвае. Чёрные рельсы блестели, и их ясная, прямая колея была так странна, потому что у Виктора в жизни всё было с точностью до наоборот. После окончания университета прошёл уже год, жить было негде. В институте, где Виктор работал инженером, свободных мест в общежитии не осталось. Сейчас уже несколько дней Виктор перебивался у своего друга Мишки, но всё равно нужно что-то срочно искать. Виктор стоял и ждал, когда трамвай остановится и можно будет тихо выйти и начать опять поиски в кривых, неровных переулках Томска, уродливых, как сама жизнь...

Виктор вышел из трамвая, и тут же натолкнулся на Свиридова. В своё время он со Свиридовым вместе учился в университете, но Свиридов не закончил университета, так как занялся йогой и совсем свихнулся на доброте. Он целыми днями мог сидеть в позе лотоса и до бесконечности себя мучить представлениями о пустоте собственной природы. Но одного не мог Свиридов — это понять, что всё в мире тленно, и поза лотоса сама по себе ничего не будет значить, если ты, из позы лотоса выпрыгнув, мчишься в костюм, а потом, превратившись в мужчину-молодца, едешь на танцы.

Правда, Свиридов не был мужчиной-молодцом, но всё равно йогом он тоже не был.

— Привет! — радостно закричал Свиридов Виктору. — Чувствую: ты молодец, раз так серьёзен, за ум взялся!

— Да уж, за ум! — пробурчал Виктор. — Оттого серьёзен, что жить негде. Кости свои кинуть некуда. Я же из тела, как йоги, выходить не умею. Кости меня гложут, житья не дают. Как мне с ними быть, не представляю. Где их сложить в одно место, как на парашюте, плавно.

Свиридов помолчал. Потом Свиридов вдруг произнёс:

— Слушай, у меня есть предложение. Я же слаб по доброте своей, а у меня вот такая загвоздка: снимаю я подвал на Московском тракте с одним типом. Тип ещё хуже, чем я, йогой занимается, нигде не работает, сидит в позе лотоса дни напролёт. Я за него уже год плачу хозяевам, а он только обещает мне, что потом отдаст долг. Короче, я замучился. Чувствую, как сила ненависти во мне рождает любовь к радикальным мерам. Ты же борьбой занимался. Пошли ко мне, выгонишь этого типа, и будешь спокойно жить на его месте.

— Ну что же, — сказал Виктор, — пошли, покажешь своего типа. Только я борец, и осторожно надо сначала посмотреть на него, а потом решу, как быть.

Товарищи спустились на Московский тракт и пошли, словно по широкой чёрной рельсе, состоящей из одной колеи дороге. И частные постройки сплошь и рядом являлись не каменными, а выпиленными из дерева. Тут же рядом и деревья были сами по себе, росли как кости или трубы, трезубцами. Парни зашли в калитку и, наклонившись, открыв слезавшуюся дверь, остались в полуподвале, где посреди небольшой комнаты вырывался освещением стол. А чуть в темноте стояли две кровати, на одной из которых сидел лицом непонятный человек огромного роста.

Человек сидел, и величие своё он невероятно распространил тенью по полу и стенам, словно его чёрная душа, не вмещающаяся в тело и вырвавшись наружу, брала собою всю комнату.

Виктор стоял, смотрел на этого человека и соображал. Человек был огромен, на голову выше Виктора. На помощь Свиридова надежды никакой. Если затеется драка, то, пожалуй, хозяин полуподвала выгонит всех — и правых, и виноватых.

«Ладно, — сказал Виктор Свиридову, — пожалуй, я пойду. Возможно, вечером ещё раз к тебе заскочу, если найду дорогу».

Виктор вышел и быстрыми шагами направился на остановку. Надо было ехать к Мишке и уговорить его помочь в деле изгнания йогога из тела, то есть из холодного полуподвала.

Мишка был дома и, выслушав Виктора, согласился помочь. К вечеру парни пришли в полуподвал к Свиридову. Йог уже не сидел, а полулежал на своей кровати и читал какую-то розовую книжку. Настольная лампа, словно небольшое дерево с полированной кроной, неторопливо освещала его большой рот с длинными хилыми усиками.

Виктор и Мишка подошли к нему вплотную, и Мишка сказал: «Ну что, мужик, чеши отсюда, теперь мы будем здесь жить!». Тип сначала пристально уставился на парней, а потом пробормотал что-то невнятное. Розовая книжка закрылась, словно дверца автомобиля, и замолкла, как будто могла говорить.

Все сначала тоже молчали. Лампа, стоя ровно, освещала комнату и, не мигая, смотрела на всё происходящее.

— Ясно, — наконец сказал тип, — я так и думал, Свиридов, что ты прекрасно не понял, о чём йога говорит. Бездарь, куда мне теперь идти, на вокзал?

— Иди куда хочешь, — прошипел Виктор, — ещё слово — и получишь по шее, осёл.

Йог, не дожидаясь неприятностей, скоро собрал свои вещи и ушёл. Парни молчали. Никакой драки не произошло — наверное, это был настоящий йог.

СВИРИДОВ ЖЕ

Пожалуй, ещё одну историю расскажу про Свиридова. Снимал он тогда полуподвал на Московском тракте со своим приятелем Петькой Голубевым. Жили они достаточно весело и непринуждённо, в меру безобразничали и курили, складывая окурки в жестяную коричневую банку из-под кофе. Банка кое-где уже покрылась ржавчиной, но это было ничего по сравнению с тем, что под столом вповалку, словно пьяная, валялась куча бутылок из-под вина и водки. К тому же Свиридов был меломан, и в полуподвале постоянно крутились диски, прикреплённые к выдавшему виды магнитофону. Играл рок, и своей тяжестью часто давил на уши гостей, заставляя их слушать туговатую на ухо музыку, перебарываемую только криками записанных на магнитофонную ленту певцов. 1989 год не сулил уже ничего хорошего, но мы мало обращали на это внимания и, дыша здоровьем, могли всю ночь не спать, а утром спокойно пойти на работу.

И вот однажды, в один из таких дней, к Голубеву из Якутска прилетел отец, решил проведать сына. Петька его встретил и сразу же препроводил в полуподвал, войдя в который отец воскликнул: «О, да здесь обитают боги!». Возможно, что, действительно, в таком несуразном месте и должны жить боги — первоначальные существа, аляповато, как дети, создававшие вокруг себя обстановку своего неприветливого быта. Им стесняться некого, и райские кущи им ни к чему — они сами, как троянские кони, содержали в себе все звёзды счастья и не спешили делиться ими с окружающим миром.

В отличие от богов, Петька со Свиридовым не являлись троянскими конями, и даже к своим двадцати пяти годам из себя не смогли извлечь ни один путный трактат о смысле жизни, только часто спорили и редко когда друг с другом соглашались. Они ходили не на коней, а на двух молодых бычков, в запале спора щекотавших друг друга своими боевыми рогатками.

Вечером, ближе к ночи, Свиридов, Петька и отец Голубев хорошо посидели. После полуночи, устав, Петька лёг спать и успокоился, быстро уснув от выпитого. В это время Свиридов доказывал Голубеву-отцу, что есть высшие силы, и они могут даже влиять на нашу жизнь, внушая нам великие мысли. Свиридов рассказывал, как души умерших людей, перебравшись в тонкий мир, могут разговаривать с нами и лучиться в темноте, вместо лампочки освещающая боязливый спиритический круг.

Они говорили ещё долго, но всё же, мало-помалу, дед слепой одолел собеседников — и они улеглись как два недвижимых полена, охваченные фантастическим огнём своих сновидений...

Под утро спящих людей разбудил истошный крик. Кричал Голубев-старший. От какого-то непонятного страха он свалился с лежанки и начал перебираться куда-то прочь. Свиридов и Голубев-младший тоже соскочили. В это время взрослый мужчина нацепил себе на голову эмалированную кастрюлю и снова выкрикнул:

— Прошу вас, замолчите, не говорите со мной!

Затем, в одних трусах и с кастрюлей на голове, тощий мужчина на полусогнутых прыгнул по направлению к объёму, напоминавшему полуразвалившийся платяной шкаф, и завалился там, смешно оголив то, что принято скрывать.

Но парням было не до смеха. Вместе с богами они пытались утихомирить разбушевавшегося мужичка, но это удавалось им с трудом. «Вместе с богами» — сказано не для красного словца, так как на какое-то мгновение, когда Свиридов чуть отвлёкся и рассеялся косым взглядом по темноте полуподвала, то увидел, как два огромных тёмных существа вместе с парнями тоже пытаются удержать несчастного. Наверняка эти существа являлись богами, так как они представляли собой неуклюжих двуногих рыб и напоминали две аксиомы, бесформенно и незыблемо стоящие, над перепуганным якутом.

Борьба продолжалась ещё минут десять. Наконец парням всё-таки удалось схватить мужчину, снять с его головы кастрюлю и усадить на кровать, болезненно скрипнувшую нетёсаным, то есть не смазанным железом пружинистой сетки.

Вначале человек находился попросту в невменяемом состоянии, старался встать и отлипнуть от грязной, застеленной старым тряпьем кровати. Но парни, напоминая милиционеров-оперативников, держали его крепко — и, словно преступник, понемногу успокоившись и осев, Голубев-старший начал давать показания и рассказал, что кастрюлю надел он на голову для того, чтобы не слышать и не воспринимать откуда-то и кем-то внушаемые ему мысли. Дело в том, что проснувшись он почувствовал, как в его го-

лову, словно игла, проник невидимый луч и с молитвенной настойчивостью начал из себя повторять какие-то послания, как шприц впрыскивая их, или, лучше сказать, орошая ими дом советов дивной человеческой головы. По словам отца, как же хорошо была ему передана мысль о том, что где-то есть рай, и там солнце красным своим диском дружило с небом; и земля там свежо стояла на одном месте, и дома были все настоящими, как из сказки, и имели вид правдивый, как будто они перед всеми домами изначально стояли и являлись целой деревней, мягко располагающей к себе и даря спокойные нервы, на которых, как на ветвях, росли светлые плоды благоухающих, мироточивых икон.

Мужчина даже улыбнулся своему рассказу, и в первый раз за это время свободно выпрямился; и голова его, словно лампочка, осветила небольшой нимб. Или это только показалось, но стало видно, как лампочка его головы начала светиться и, словно орден, окаймляться в блестящую бороду сверкающих лучей. Однако затем голова начала быстро гаснуть и омрачилась новым приступом паники и стала качаться в разные стороны, вися на потолке человеческого туловища. В этот момент Голубев-старший походил на раскачивающегося в молитвенном бормотании по пояс голого Будду, укутанного в призрачную простыню умиротворяющей нирваны. Но нет — отец походил на буйного больного и, видимо, был одет в тыльную, колючую сторону нирваны и испытывал неимоверное страдание.

Видя, что дело принимает серьёзный оборот, выбрав время, Свиридов сбегал на сторону хозяев и позвонил. Но позвонил не в «Скорую помощь», а одной своей знакомой Вере, и попросил её приехать помочь им. Вера, женщина лет двадцати семи, была симпатичной и обаятельной девушкой, которая серьёзно занималась йогой и, казалось, через её плоть просвечивало ещё какое-то существо, очень милое и славное, полностью состоящее из света и любви, которых так нам всем недостаёт в этом жестоком мире.

Вера приехала довольно-таки быстро и, как казалось, даже без некоторого удовольствия вступила в борьбу за Голубева-старшего, стараясь его успокоить и затащить на добрый плот. Вера сразу же собой осветила всю комнату и, словно сокровище и невероятная драгоценность, увещевала мужчину, глядя его по лысой голове. Но он не верил Вере и продолжал молотить себя в грудь, и даже снова пытался надеть на голову железную кастрюлю, словно каску, чтобы к своей лысине ещё одну такую же полированную поверхность прибавить.

Немного успокоить его удалось только к обеду, и Голубев-старший под Вериным ангельским крылом мирно задремал в тот мо-

мент, когда она, чистая, мыла пол и проветривала прокуренное помещение адского полуподвала.

Надо сказать, Веру очень любил Свиридов, а она его — нет. Сначала Вера чернелась над тряпкой, но вскоре домыла полы и начала готовить суп, а потом уже белелась и прихорашивалась перед зеркалом. Она толково волосы свои рассовала, да по месяцу-носу провела. И кроткий месяц светился, да толково он, на плаксе лица улыбаясь, девушку украшал да рубил для всех образ ладный — и от её носа все поголовно влюблялись в девушку, а уж от её носа и ладными казались черты лица, как под луною тонкие ямки.

Пожалуй, так вот можно было бы описать общее впечатление, которое сложилось у Свиридова от Веры. И он страдал оттого, что девушка не желает отщипнуть от себя для него хотя бы малую толику лунного тела, а всё сторонилась и, облачившись в свитер, ворожила над супом и, плача от лука, старалась отогнать от бедного мужчины злых духов.

Голубеву-старшему же было не до ярких женских красот. Он, то засыпая, то просыпаясь, всё время молился, как умел, и одно он повторял неустанно, как будто заучивал урок. И повторял он слова по Троице, про Отца, Сына и Святого Духа, и чтил их, и старался между ними встать и спрятаться в тени их, и хотя бы собакою у них остаться. Но никто его не забирал хотя бы и собакою, и Голубев плакал, слезою своей выискивая розу, чтобы та слеза на розе застыла и успокоилась там, как на священной подушке...

Вечером поехали провожать Голубева-старшего в аэропорт. Провожать поехали все трое: Петька, Свиридов и Вера. Отец выглядел потеряннным, так как сам априори причислил себя не к лику святых, а к рожам грешников. Мужчина рассуждал просто: только к плохому человеку могли привязаться эти потусторонние сущности и досаждают ему. Хорошему человеку обязательно помогли бы небесные защитники и унесли бы его на своих крыльях в тихий и умиротворяющий мир праведников. Грешником же Голубеву страшно не хотелось быть.

Вскоре похожий на сарай автобус довёз их до аэропорта. Была зима, снег мечтательно белил всё вокруг и облагораживал душу, вкладывая в неё свою белую сущность, из-за чего хотелось начать свою жизнь с нового, чистого листа. Невольный обряд очищения снегом, казалось, помог отцу Петьки. Мужчина приободрился, порозовел, даже высказал желание самостоятельно дойти до трапа самолёта. Однако, войдя в серое здание аэровокзала, приуныл и тоскливым взглядом начал смотреть в огромное окно, выходящее на сторону взлётной полосы. Там, неподалёку от изящных белых тушек реактивных самолётов, стояла небольшая «деревенька» би-

планов «Ан-2», которые летали по местным авиалиниям. Голубеву же предстояло лететь не на спокойном, по-домашнему выглядывшем «кукурузнике», а на страшноватом реактивном «Ту-154».

По глазам отца сын заметил, что у того в голове опять начались смещения. По всей вероятности, каким-то непостижимым образом на крышу головы Голубева-старшего Свиридову удалось посадить невидимую для простого человека антенну, через которую горемыка и стал воспринимать что-то ранее недоступное ему, как будто он начал чувствовать падающие на его голову с небесного дерева не антоновские, а ньютоновские яблоки.

В половине седьмого вечера объявили посадку, и примерно через полчаса Голубев-старший исчез в гладком стволе не пушки, а «Тушки», готовясь к вылету (не из ствола, а в Якутск). Ещё через десять минут Голубев улетел... Как дальше сложилась его жизнь, я знаю только понаслышке. Время от времени жена определяет его в психбольницу. Там, накачав Голубева-старшего убойными брёвнами психотропных лекарств и закрыв ими ментальную дыру в его голове, мужчину снова отпускали на волю до тех пор, пока брёвна не рассосутся и дыра вновь не начнёт извиваться ломаным блестящим зеркалом заглядывающих в неё потусторонних сущностей...

Через несколько месяцев Петька Голубев съехал из полуподвала, и вместе со Свиридовым одно время это жильё снимал я. Помню, как к Свиридову приезжал его отец, дядя Саша. Дядя Саша оказался очень компанейским мужиком, искренне радующимся тому факту, что на время удалось скрыться от строгого ока жены под крылом предлога съездить навестить сына, посмотреть на его житьё.

Полуподвал дядю Сашу нисколечко не смутил. Сходив в ближайший магазин, отец и сын купили не святого, а весёлого духа, или, попросту говоря, водку, закуску и зефирный торт, на котором розочки напоминали индийскую чалму.

Выпив немного, я, как в своё время и Петька Голубев, пошёл спать, но сквозь сон прекрасно слышал разговор выпивающих Свиридовых. Голоса их были очень похожи, и казалось, что Сергей Свиридов, раздвоившись, разговаривает сам с собой.

— Как живёшь, сынок? — спрашивал Свиридов у Свиридова же.

— Живу...

(В дальнейшем, когда буду говорить о Свиридове же, то «же» стану писать как приставку, потому как это тоже Свиридов, только отец). Между тем Свиридов-же дальше спрашивает Свиридова:

— А у тебя хоть баба-то есть?

Свиридов, вспомнив неприступную Веру, сказал:

— Есть, Верой зовут. Дочке её два года.

— Так, так, — сказал Свиридову Свиридов-же и, видимо, закурил. — Значит, с довеском?

— Не довесок, а ребёнок. Да всё равно она, Вера, меня не очень-то привечает.

— Вырос ты. Небось, у самого уже дети сладко стучатся. Брось ты её, найди девку. Радуйся жизни. А то живёте здесь, как...

Дальше Свиридов-сын начал говорить Свиридову-же то же самое, что он говорил Голубеву-отцу. Но не на того напал. Выслушав, Свиридов-же парировал Свиридову:

— Брось ты всё это. Посмотри вокруг, для чего всё это создано: кино, девушки, колбаса — чтобы ими пользоваться!

Свиридов не нашёлся, чем возразить Свиридову-же, и замолчал. Это было для меня первое разделение Свиридова на двух, которое я сам себе вообразил, лёжа в полуподвале за перегородкой, в своё время сделанной ещё Петькой Голубевым...

Утром, когда я встал и вышел из-за перегородки, Свиридовы ещё дремали, отец и сын. Рядом с ними на столе стоял не святой дух, а пустая бутылка из-под водки. Увидев меня, дядя Саша окончательно проснулся, вскочил с кровати и начал одеваться, бодрый и весёлый.

— Парни, — сказал Свиридов-отец, — я вас покидаю. Поброжу часок-другой по Томску, а к вечеру на поезд и домой, отпуск уже заканчивается. Сюда больше не зайду. Так что прощайтесь.

Обращаясь к сыну, не попросив его проводить, дядя Саша добавил:

— А тебе, сынок, вот что скажу: я вот живу в этом нашем материальном мире и буду жить, и тебе советую сделать то же самое. Расстроился я, сынок, из-за тебя, из-за твоих потусторонних идей.

Затем дядя Саша обратился непосредственно ко мне:

— Прошу, помоги ему. Вытащи его куда-нибудь — в кино, в какую-нибудь компанию, познакомь с кем-нибудь. Но так же нельзя. И так жить нельзя, в такой обстановке, как здесь у вас... С ума сойти можно.

Я утвердительно кивал словам отца Свиридова, а сам для себя уже решил вскоре съехать от Сергея. И ещё подумал вот о чём: странно, но создаётся впечатление, что если у Свиридова-старшего и были когда-то хоть какие-то мистические наклонности, то все их он сполна вложил в никому не нужный довесок — в своего сына. Сам же после этого остался как есть весь на виду, без всякой пусть даже дырявой перегородки или полупрозрачной ширмы, неясным призраком скрывающей человека от атеистической реальности и дарившей ему призрачную надежду на существование потустороннего, иного мира...

Вскоре Свиридов-старший ушёл. Через месяц я нашёл себе дру-

гое жильё, не в сыром полуподвале, и тоже покинул Свиридова. Кстати, купленный дядей Сашей зефирный торт мы доели на следующий день, а крошки высыпали богам в мусорное ведро, стоявшее под алтарём рукомойника, над которым мы, словно в молитве, склонялись, когда хотели умыться.

ОКНО

Уже смеркалось. Была зима, и потому темно становилось достаточно рано, в окнах загорался свет. Снег тоже начинал играть новогодней мишурой, особенно перед окнами домов с включённым светом или же перед фонарными столбами, заледеневшими, как давно нечищенные, ведущие в небо скользкие ступеньки.

Сергей, торопясь с университетских занятий, как раз проходил мимо участкового отделения милиции. Отделение находилось в одной из комнат бело-синего общежития, имело отдельный вход с улицы и зарешёченное железным снопом прутьев окно. Сергею страшно как захотелось заглянуть в это окно и посмотреть на милицейские будни изнутри, заглянуть в сам стержень их нелёгкой работы. Он подошёл к окну отделения, быстро оглянулся по сторонам и бесшумно стукнул своим взглядом в лобовое, то есть находящееся прямо перед его лбом, стекло.

В комнате стоял стол, за которым сидел в серой форме в профиль к окну майор. Чуть поодаль стоял на четырёх ножках стул, на котором робко мостился в новых ботинках поношенный человек. Милиционеру что-то явно не нравилось в этом человеке. Майор, по-видимому, говорил громко, даже кричал, так как жестикуляция его рта превосходила все разумные пределы. Наконец, не выдержав, милиционер порывисто встал, подошёл к робко сидевшему на стуле человеку и с силой ударил его кулаком в лицо. Человек вместе со своей опорой полетел на пол и вскоре упал навзничь, как в кино про пойманных рецидивистов и шпионов.

Что было дальше, Сергей не видел, так как уже сам летел от окна отделения милиции прочь в ночь. Сердце от страха бешено колотилось, а его похожие на длинные стебли ноги бежали прочь от непроизвольного, как обнажённая женщина, зрелища.

ГИТАРИСТ

Люди ехали в маршрутке: кто на работу, кто по другим делам. Многие из них были хмурыми и не очень-то расположенными к восторженным настроениям. И редко где, но в этой маршрутке

музыка не играла, и коробка с тортом, лежащая на коленях сидевшей у окна женщины, чуть колыхалась в такт ямам и выбоинам. На одной из остановок в автобус втиснулся парень, державший в руках гитару. К гитаре вместо банта был прикреплен сделанный из пластмассовой бутылки отстойник, в который, видимо, необходимо людям кидать рубли за исполненные песни. Парень перекинулся словами с шофёром, по всей вероятности, спросив разрешения на выступление, и, не отходя от своей пластмассовой кассы, запел, ударяя по струнам чувственными пальцами без медиатора. Пел он громко и фальшиво. Вскоре всем стало ясно, что парень с похмелья, так как по салону автобуса разнёсся красноватый запах винного перегара. Некоторые из людей потупились и ещё больше нахмурились. Другие начали улыбаться и ворочаться, как будто почувствовали приятный холодок.

Парень побренчал и, не стесняясь, начал новую песню, фальшиво рыдая по безвременно ушедшей молодости. Расправившись с песней, он молча двинулся по салону автобуса, собирая от людей подаяния в прозрачный отстойник. Каждому, кто бросал ему деньги, парень говорил «благодарю», и шёл дальше. Женщина с тортом на коленях ничего не подала музыканту, а один из мужчин, бросая бутылку деньги, громко сказал: «Только, пожалуйста, не пой больше!». Парень утвердительно закивал головой и, ещё раз всем сказав «благодарю», вышел на следующей остановке.

«Пять минут позора — и есть чем опохмелиться» наверняка вернувшись домой, скажет он своим жаждущим друзьям, осторожно вешая гитару на самое почётное место, на середину стены, в центр, словно плоскую грушу на гвоздик, точно маленькая чёрная ветка выступавший из стены как из необычайно плоского, белого дерева.

Татьяна
ПРОКОПЬЕВА

Стихотворения



Татьяна Валерьевна ПРОКОПЬЕВА

Татьяна Прокопьева — поэт, бард, библиотекарь муниципальной библиотеки «Академическая», по профессии — актриса и режиссёр. Татьяна — не просто трудолюбивый, искренний и преданный, верный своему призванию человек. Она чрезвычайно талантлива. Её стихи никого не оставят равнодушным: строки обжигают сердце пронизательностью, эмоциональностью и чувственностью. Каждый в её творчестве откроет для себя что-то новое, неизведанное, таинственное.

Автор книги «Новолуние». Печаталась в журналах «После 12» и «Начало века».



ПЕСЕННЫМ ЗВОНОМ ПОЛОН, ДОМ НАД ЗЕМЛЁЙ ПЛЫВЁТ

* * *

Уезжал – ты звала,
Говорила: Возвращайся ко мне.
А теперь?
И холодная мгла отступила,
И весна не сулила потерь.
Отряхнулась зима
И пропала,
Словно не было – хмурой, седой...
Улыбаясь, весна колдовала,
Тополиной играла листвою.
Всё умчалось, прошло безвозвратно
В круговерти изменчивых вьюг.
Мой соперник – высокий и статный,
Предложил перебраться на юг.
Он нечаянно ветку сирени
Обронил –
Мне привиделось, сплю..?
Что, склоняясь ему на колени,
Ты чуть слышно шептала: «Люблю».
Торжествуй! Предавайся измене.
Я расстаться с тобою готов.
Только жаль этой влажной сирени,
Так похожих на звёзды цветов.

* * *

Где ты теперь, чем дышишь?
Небо почти остыло.
Я отпущу тебя, слышишь,
Уже почти отпустила.

Без обещаний, проклятий...
Встречу тебя с цветами.
Я буду в синем платье,
С распущенными волосами.
Как никогда послушной,
Ведь больше не доведётся.
А поцелуй воздушный
Едва ли тебя коснётся.

ПИСЬМО

Что со мной происходит?
Сразу не напишу.
И живу на природе,
И озоном дышу.
И курить перестала,
И обиды не в счёт.
Разве этого мало,
Нужно что-то ещё?
Дом. Семья. Огороды.
Если хочешь – живи.
Словно поздние всходы
Позабытой любви...
Неужели всё это
Было с кем-то другим?
Речки пёстрая лента,
Шёпот шалой тайги.
Солнце рыжее скрылось
В золотой глубине,
А сегодня приснилось:
Ты вернулся ко мне.

* * *

По белому следу в безветренный час
уюду, уеду, уеду от вас...
От этих раскрытых дверей напоказ,
и что мне помеха, и кто мне указ?
От окон, светящихся в полночи злой...
Уеду, уеду и стану другой.
И горечи этой не будет следа,
когда я уеду... не знаю куда.

* * *

Всё прошлое, как в антикварной лавке,
Тот памятный июль хранит для нас.
Стихи, черновики, английские булавки,
Прощальный поцелуй и влажность глаз.

Ночные рандеву, руки касанье.
И предвкушенье слов, не сказанных пока.
И затенённый двор, и щебетанье
Полночных птиц, росу и облака.

«Ты помнишь? –
Ночь была наполнена луною,
И лилия в стекле,
И задремавший дол.

И мы смотрели вверх,
не видя пред собою
Ни пропасти, ни слёз –
Лишь лунный ореол».

ДАЛЁКОЙ

День начинал резвиться.
В причудливых лохмотьях
Валялася собачка
В обёртках от конфет.

А за окошком дворник
Гонял метлою хлопья,
Упавшие на лужи
Давно минувших лет.

Вы клеили реснички,
Теряли методички.
Был словно кокаинчик
Вдыхаемый табак.

А завтра электричка,
И вы уже москвичка,
Безумно необычен
Столичный кавардак.

Вы плакали, корили,
Забросив в угол пяльцы,
За злые расстоянья,
Что не преодолеть.

Мучительно дрожали
Беспомощные пальцы,
Отстукивая дробь
На выцветшем столе.

Теперь вы гувернантка,
А может, арестантка.
Лишённая прописки
И дружеской руки,

А может быть, иначе –
Давно уж иностранка.
Неизмеримо близки.
Безмерно далеки.

Дешёвыми духами
Пропахло платье ваше,
В отеле придорожном,
Допустим, штата Мэн.

Где, может быть, по-русски
Окликнут вас: «Наташа!»,
И вытолкнет за двери
Губастый полисмен.

К чему мне эти фото,
И прошлое в оглядку,
Надежда, что когда-то
Я мог бы вас спасти?

И неутешный шёпот
Апрельской лихорадки,
И неуёмный ропот
Несказанных «Прости!».

Больничное удушье,
Весенние разгулы,

И новых снов, и новых
Капель болтовня.

Вы отмщены, мой ангел.
Мне стоит лишь подумать.
И вы опять всё та же.
Любимая моя.

* * *

Там всю ночь играла скрипка.
Пели песни под гитару.
На лице твоём улыбка
Означала: мы не пара.
Я смотрел заморожено,
Как скользят по грифу пальцы.
На пути не завершённом
Бесприютные скитальцы
Мы не узнаны, забыты
Наши вёсны, наши зимы,
И друг другом не открыты
Невидимки, пилигримы.
Жизнь – вращение по кругу.
Но в цвету и лихолетье
Мы посвящены друг другу
И в последующих столетях.

КАРАКУМЫ

Ка-ра-ку-мы...
Деревенские девки, смеясь,
На батутах скачут.

На у-да-чу
Я подброшу
И в тёплый песок
Опрокину монету.

Яд кураре,
Розовеет в бокале вино,
И на белой сорочке
Кровоточит,
Растекается след от удара кинжалом.

Одичало
Зазвучала вступившая скрипка
В тягучем угаре,

Запах розы
И запах жасмина
Смешаются с воплем истерик.

Мандарины
Нестерпимой удушливой хворью
Наполнили залу.

Ты сказала:
«Вот и кончилось танго,
Подайте мне джина со льдом».

* * *

И не выскажешь, и не скроешь,
И не выплачешь, не солгав.
Оказалось, теперь нас трое.
Каждый третий стал трижды прав.
Нынче ветрено, дверь закрою.
А у ветра особый нрав.
В этом мире нас было двое.
Я и ветер. Гуд бай, май лав.

* * *

Любимый исчез навсегда,
он и не был «моим».
Увы, не простившись, ушёл
с наступленьем рассвета...
Но, как заведённая:
«Сядем, поговорим,
продлим хоть ненадолго
это короткое лето».
С любимым опять говорю,
а со мной – никого...
Ревную, сержусь, удивляюсь,
пытаюсь мириться...
Короткое лето,
приблизившись, нас обожгло,
оставив загар, словно знак
на обветренных лицах.

* * *

Пространство, где борьба всему основой.
Пожар в крови,
Холодный ветер в спину.
Неосторожно брошенное слово
Чревато обрушением лавины.

И звёзды ждали, таяли, срывались...
Когда же от беспамьятства очнёмся?
Как некогда в объятии сливались,
Так ныне для прощания сойдёмся.

* * *

Мы как вампиры – вечно молоды.
Но память чувства выше слов!
Нам не унять тоски и голода
До первых петухов.

Какой огонь в крови – Пожарище!
Ах, если бы была то кровь.
Ты вечно мой, и вечно ранящий,
Не прекословь.

Как миражи – дворцы надводные,
Фонтан, чугунное литьё.
Ах, как знакомо мне природное
Твоё чутьё.

По мостовой шагами быстрыми,
Сквозь тихий сад.
Когда запомнила твой пристальный
И жадный взгляд.

* * *

Карета, кучер, белый альбатрос.
Дорога, степь, вечерние затоны.
А за спиною всполохи и звоны,
Горящий город, утренний погост.
Холодный кофе, горькая слеза...
Бесстыдно день развенчивал объятия.
Благословляя милые глаза,
Мы разрушаем древние проклятья.

Остановись. Ты снова за порог,
Где женщина с глазами Ариадны.
И если Бог и вправду одинок,
Я одиночеству вверяю безоглядно –
Тебя.

* * *

Может, мы друг для друга –
Всего лишь сон.
Может, наши слова и дела –
Вода.
Но не ждём пробуждения,
Будто он
Никогда не закончится,
Никогда.
Даже если светает,
Ещё спим.
Продолжению ночи
Скажу: «Да».
Но рассвет неизбежен,
И неотвратим,
Как рождение заново,
Как беда.

* * *

нет, листья ещё не успели опасть
в нашем саду...
но трели наяд и русалок
всё тише, всё глуше...
приду,
когда он прошепчет: «Вернись,
послушай,
я здесь,
я тебя у сомнений твоих украду».

ЖЕНЩИНА

Полны надежды паруса и ветра волны.
Запомню карие глаза и слёзы – полно.
Высокогрудая ладья утюжит глянец,
Вы мне не муж, я – не судья,

Когда скиталец, как я, гонимый и чужой
Себе и свету, искал в вечерней синеве
Как бы примету – чего?
Удачи ли, ещё одной потери,
Когда заплачет о судьбе кто вам поверил.
В далёком облачке, насквозь ещё прозрачном,
Возникнет смерч.
И стая гроз, разящих мачты,
Поднимет шторм.
И загудят за валом валы,
Чтобы, как молния, в упор
Она сияла,
Глазами, полными тоски
И гордой муки,
И смерть захватит вас в тиски, когда же руки
Вы к ней протянете, одна из океана
Она поднимется, волна – Фата-моргана.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДРУГУ

Храни тебя Господь
всевидец, неустанно,
когда завьюжит так –
ни охнуть, ни вздохнуть.

Сердечная твоя –
не ножевая рана –
до свадьбы заживёт,
утихнет как-нибудь.

Мрачнее за окном.
Всё гуще, всё метельней.
Сигара задымит.
Часы пробили три...

Храни тебя Господь
и в комнате отдельной
от холода вокруг
и холода внутри.

От мелочных обид,
печального исхода,
от деловитых встреч,
беспечных тет-а-тет,

где мудрая к тебе
склоняется природа,
а ветреных друзей
простыл уже и след.

От домыслов людских,
которым нет преграды.
Безвременья разлук,
мелькнувших впереди.

И рухнувших надежд
ночного снегопада,
и горестных утрат,
которые в груди

хозяйничают. Стынь,
ноябрьская слякоть.
Упряма эта боль,
когда, того гляди,

ужалит, сдавит так,
что впору и заплакать.
Не отступи, Господь,
и глаз не отведи.

Когда стирает смерть
признания и лица,
и хлынет на гранит
вода, смывая тлен,

храни тебя, Господь
не розою в петлице.
Храни хоть иногда
за пазухой, в тепле.

* * *

Д. Р.

Русалка предпочла бы быть улиткой.
Улитка – крабом, краб – змеёй.
На этой, слишком глянцевой, открытке
Кощунственно, быть может, «Мой!» –
Я вам пишу. Вы быть моим не смели,
Но вот сейчас, когда так далеко,
Так близко мы,

Спустя дожди, капли,
Пустыни, зной. Ущелья и холмы...
Я вам пишу: вы мой! И верю кротко,
Что нежностью не причиню вреда.
И пью за вас зелёный чай. А водка,
Что водка? Слёзы, спирт, вода.
А за окном ноябрьская просинь.
Взрывает ветер хмарь над головой.
Случается, бывает тёплой осень.
Бывает лето пасмурным порой.

ОТВЕТНОЕ ПИСЬМО ДРУГА ПЕРЕД РАССТАВАНИЕМ

Но полюбил я
С некоторых пор
Ходить тропкою тёмной, безотрадной...
Прости за то, что,
Словно дерзкий вор,
Красу твою, безжалостно и жадно, краду...
Так жаден я до слова твоего,
До взгляда, брошенного холодно...
Не плачь, не отвечай,
Ведь больше ничего не сможет изменить
Судьбы моей нескладной.
И горек хлеб, надломленный тобой,
И в час, когда глаза твои смеются,
Я освещён жестокою звездой.
Лучи её, быть может, прикоснутся
Вот к этой белой скатерти, с её густым вином,
В причастии вечером.
Позволь покинуть мне пристанище твоё,
Наш необжитый дом. И горького веселья
Хлебнуть ещё глоток, покуда я не стих...
Сияньем тёмным опаливший Душу,
Я тоже раб влечений роковых,
Но тебе – безумию послушен.
Я ухожу, а ты живи, моя
Сереброкрылая, нежданная певунья.
Я прочитал в глазах твоих огня
Мерцающие знаки...

Новолунье –
И вещей снов, и вещей звёзд пора,
Когда помыслишь вновь о невозможном.
И вечность между нами – не вчера...
Ты видишь будущее. Я останусь в прошлом.

* * *

Февраль не поднял флаг, изменчивый игрок.
Мы предвкушали знак – весенний водосток.
Где ветровой набег, метели, за спиною
по крыше сходит снег отпущенной виною.

Срывается лететь разросшаяся слякоть.
И не о чем жалеть, и не о ком заплакать.
Где в ледяной поруче, снежинки на лету,
протягивая руки, обнимешь пустоту.

* * *

Дмитрию Коршуну

А станешь Душой – безликой,
приснишься мне повиликой,
камнем, летящим вниз.
Только почаще снись.

Прости мне всё это, дурочке,
но если бессмертны Души,
я буду играть на дудочке.
А ты прилетай послушать...

* * *

Нет у меня ни отчизны, ни крыльев бога.
Ты мне звучишь отовсюду печальным гонгом.
Ветер беды завывает, кого он кличет?
Песне безумной, безудержным воплям вторя.
И продувает остатние рёбра, мысли...
Доски гробам завещая и пешеходам.
Их соберу в ковчег, я один на свете.
Знойно взлетит над волною ковчег а остов.
Выстроен, выструган, выстрелом в темя ночи.

ЕЙ

Перед началом стихийного бедствия
Мокнет, увы, репутация неба...
Брызги рассеяны в воздухе тонким свеченьем.
Мысли мои беспрерывно, как бусины с нити,
падают вниз.

Я, увы, не сумею угнаться
Ни за одной укатившейся в щель подсознания.
Маленький рак выползает на отмель,
Но блёкнет луч океана, отброшенный
встречным теченьем.

Мягкость не свойственна спутнице
Сета Нефтиде.

Снова владычица сумерек вышла на сцену.
Кажется, капля тяжёлая громоподобна,
Только сорвавшись с собою приносит:
Затмение Солнца,
Луны, извержение вулканов, цунами,
Бури в пустыни, погромы, убийства младенцев,
Пятна на солнце и что-то ещё, что пугает.
Крылья твои, Махаон, серебристо-пунцовы,
Здесь лиловаты, а здесь огневуют, как охра,
Женщина-бабочка, если ещё ты не сдохла,
То потому, что мне нравится музыка ветра
И ритуальные танцы твои, что на пляже
Перед его затуманенным взором выводил
Как гексограмму босыми ногами на мокром,
От поцелуев и слёз огрубевшем песке.
Вейся же, бабочка, пламя тебя не достанет,
Ты не узнаешь, как больно сгорают надежды,
Как беззащитны сейчас перламутра одежды,
Что обнажают твою известковую душу.
Вот поднялась и обрушилась с лязгом на берег
Эта волна наркотических будней и транса.
Даже на волны придумали моду медузы.

ЗИМОРОДОК

Где гнездится зимородок,
Оперением сверкая,
Высоко над водной зыбью
Замирает на лету,

И, как опытный охотник,
Зорко жертву поджидает,
И ныряет в переливный водный сумрак,
В темноту.
Только рыбий отпечаток
Между волн оставит знаки,
Только опытный ныряльщик
Оставляет кольца брызг.
Зимородок схватит дерзко
Рыбий бок в подводном мраке,
И подымет на поверхность.
Рыбий хвост мелькнёт, как хлыст.
Вот добыча бьётся в клюве,
Но бессмысленно, и жабры
Кровяные распушила,
И под солнечным лучом
Серебром цветёт, однажды
Рыбка солнце улучила,
И умрёт она от жажды.
Зимородку ж нипочём.
Нипочём её виденья,
Краткий миг они летели,
Зимородок быстрокрылый
И рыбёшка, дочь глубин.
– Посмотри какое Солнце! –
Всё вокруг ей говорило,
Как искришься ты чешуйно,
Как красив твой господин.

* * *

Как будто бы нету других забот,
Звоню тебе утром, вечером, днём.
Но знаешь, когда-нибудь всё пройдёт...
И город под солнечным фонарём
Откроет окна и впустит свет,
И впустит дыхание летних грёз.
Я шлю тебе свой многократный привет.
Но, кажется, ты принимать всерьёз
Меня не торопишься,
Соловьи – на бис исполняют дивертисмент
Я снова звоню тебе, селяви...
Без всякой надежды на харру...
End.

* * *

Во рту обмороженном
Слиплись звуки,
Ты говорил:
уходить пора!
Что же глазами усталой гадюки
Смотришь?
Печалишь?
Зовёшь?
Игра?
Может быть, наша встреча фатальна,
Не разгадаешь...
Усни, забудь.
И я ведь тоже,
рассветом раненый,
Целую глаза, одеяло, грудь.
Видишь, я сам говорю им:
Здравствуйте!
Вербы, левкой и тропы отдельные...
– Ты
мой подснежник,
ветрами заласканный,
Свечка,
горящая в полночь метельную.
Синие тени под окнами стелятся.
Злись,
ухожу...
Возвращаюсь, оплаканный,
В дом, окружённый небесными знаками,
Где одиночество на два не делится.

* * *

Поздно. Тени берёзы по снегу,
Низко стелятся облака ...
Я засыпаю...
щекочет ноздри
Запах сбежавшего молока.

Что тебе снится, крейсер,
Отвергший бремя новосвершений?
Крейсер стих.

Воспринимаешь иначе время,
Когда ударит любовь под дых.

Переворачиваются континенты,
Морями просачиваясь с потолка.
Кто-то выплачивает алименты,
А кто-то с ухмылкой: «Бонжур, пока!».

Здесь, как весной, деревца подстрижены.
Висит надо мною небесная крынка,
Но в её глубине где-то там пристыженно
Проступает ткань голубого суглинка.

Отчего ты пугаешься нашей встречи,
Если утро в объятия нас не примет,
Приглядишься, как звонко дождя картечью
Выбивает по стёклам чьё-то имя
Весна.

* * *

Не кренись, моя ракита, не кренись,
Что разбито-позабыто, не клянись,
И соблазном не обманешь, на пути
Птицей вещью предстанешь – прочь лети.

Были поровну сума и ключи,
Только вороны теперь да сычи.
Только вороны да неба клочок,
Да оплакивает свечку сверчок.

Прокались на этой свечке, игла,
В стоге сена затеряться хочу.
Вышивай своё созвездие, мгла,
Каждый вечер, задувая свечу.

Обрамляет воск подсвечника стан.
Или вороны твои не к беде?
Но дотронется и скажет Он: «Встань!»
И пойдёшь ты вслед за ним по воде.

И от солнца потемнеет в глазах,
Прорастает прах колючей травой,
Но ведь сказано, что к праху и прах.
А живому оставаться собой.

* * *

Кому, кому даны колокола?
Кому-то скрип, кому-то шёпот.
А я ему – остывшая зола
И птичий клёкот.

Ещё не все повержены огнём
И Словом сонмы,
Ещё все полчища незримые при нём
Колдуньи-совы.

Ещё звенит, звенит, звенит, звенит
Бубенчик – сердце.
И в эту ночь, и в прошлую не спит,
И не согреться.

И не услышать самого себя,
И вас тем паче,
Но, сердце, разве ты звучишь зазря?
Напрасно плачешь...

И всё сгорает весело и зло
Клочком соломы.
Вот-вот морозно станет и светло,
И невесомо

Растает всё – очаг и ветхий дом,
И путь превратный,
И где-то птица вскрикнет о былом,
О невозвратном...

* * *

Вода и снедь,
И всё, что было мною,
Иссякло впредь.
Но тела клеть
Не властна над Душою.
Ему же тлеть...
Ты говоришь –
Ведомый ли, ведущий –
«На всё плевать!».
Да, Бога нет,
Поскольку вездесущи
Стол да кровать.

На что нам жизнь,
Которая тревожит
Своим «всегда»?
У нас вино водою
Быть не может,
А кровь – вода.
Испей вина
С красавицей молодою,
Прочти сонет,
И вот он – Рай земной,
И над землёю
Иного нет.
«Красавица,
А будешь ли со мною
Всегда нежна?
Не отвечаешь,
Да и Бог с тобою,
Ты не жена».
А кровь моя
Во мне, но не со мною,
Меня сильней.
Не этой ли
Мы куплены ценою
На рынке дней?
Жестокий ветер
Лица нам изрежет,
Остудит грудь.
«А будешь ли
И ты со мною нежен
Когда-нибудь?»

* * *

А жизнь прекрасна – вот она, рядом,
Но для других...
Ты сам себя отравляешь ядом,
Но ты не тих.

Когда и мысли твои, как гири,
Стучат в висок,
Кому ты нужен в несчастном мире?
Ты одинок.

Не уповай, что иных надежды
Ещё ведут,

Твоя любовь в том далёком «прежде».
Тебя не ждут.

И вот, когда, одурев от страсти,
От тёмных дум,
Твой конь какой то безумной масти
За разум ум

Взметнётся выше,
Где ветер веет,
Не удержать
А после канет воздушным змеем
В гнилую гать.

Заплачет вечер убогой жизни
Святой аккорд,
И отыгрался б, да крыть уж нечем,
Попутал чёрт.

И что ещё в «никогда» и «где бы»
Не утаишь...
– Гляди, какое над нами небо!
Да ты ведь спишь.

* * *

Не спать, не спать, наматывать
Тугую нить на спицу.
По звёздам сны разгадывать,
Когда всю ночь не спится.
Впускают воздух ледяной
Горячие ладони.
А я стою над головой
У своего бессонья.
Подъезд выпускает пришлеца.
Дверь скрипнет с неохотой.
Не различить его лица
В столь поздний час субботы.
И вот, когда поймём, что спим,
Мы примем дар в награду:
Дыханьем согревать своим
Ладони тех, кто рядом.

* * *

Не найду себе места.
Неужто не будет ответа?..
Уплывает далёко
надежд золотая ладья.
По чужим переулкам
ищу позапрошое лето,
где, шатаясь как пьяная,
песня бродила моя.
Может, это весна
лепестки осыпает на лица.
Может, ветер осенний
кружится, сбивая с пути?
Я ищу тебя, музыка,
ты не могла не случиться,
возвращайся назад,
тополиной пушинкой лети.
Перед нами шумит
Океан жемчугов и соцветий.
Напой меня сладко-
пьянящей печалью своей.
Я грущу о тебе,
незаметно исчезнувшем лете,
Отзвучавшем, как песня
за дымкой непрожитых дней.

* * *

Сирень увяла, шахматы грустят.
Их кони рвутся в бой, храпя в упряжке.
Колёсики в часах моих гудят,
И под окном рассыпались ромашки.

И вот уже подряд который день
С дорогою целуются дождевики,
Блестят в бокале тающие льдинки,
И у трюмо танцует чья-то тень.

И страшен холод замкнутых дверей,
И запах догоревшей сигареты,
А на полу дрожит полоска света.
Зачем она? И что мне делать с ней?

ДУША

Из темноты, из тишины,
Из недоступной глубины колодца,
Тайного угла,
Она томилась и звала.
Из света всех свечей светлей,
Из светлой горницы своей.
То в сладких юности слезах,
А то в печали.
То смехом звонким разразясь,
А вы молчали.
Как первый возглас робок был.
Её порыв не утомил ни снег,
Беспечный пилигрим,
Ни голос бубна и ни дым
Усталой осени, но вы – не отвечали.
И много лет, и много дней
Она стремилась всё сильней,
Она молилась всё больней,
Она звучала.
О том, что скрыт её огонь,
В темнице, где грибок и вонь,
А где-то там орёт гармонь,
Да разудало.
А ветер с запахом гнилым,
Непобедим, неутомим,
Дыханьем обжигал своим,
И сны пугали.
И стала тихо забывать,
Чадить, тускнеть и угасать
Лампадки огненная стать,
Своё начало.
И что ей после? отчего
Ни сны, ни ангелы его
Ни сны, ни ангелы её не предсказали,
Где этот тайный клад лежит.
На прелести чужих ланит
Или в глуши забытый скит
Вы променяли живой,
Доверчивый огонь
В тот час, когда её ладонь
В своей держали.

* * *

Душа тяготится сама собою,
Как переполненная река.
Она срывает листву и хвою,
И наползает на берега.
Она отныне чужда понятий,
Галдящих улиц и площадей,
Душа – открывающая объятью
Сквозные дебри лесных сеней.
Хозяйку так принимает поле,
Уже не поле речная гладь,
А люди сетуют ей: «Доколе?»
И переносят ручную кладь.

* * *

Плачет осень, как мать над сыном.
Дождь по крышам, ручьям, полям.
По сгоревшим впотьмах осинам,
По обветренным тополям.
Сыпет под ноги медью, оловом
Так, что хочется в крик кричать,
Заложив, как кулак, под голову
Солнца розовую печать.

ЛЕЧЕБНИЦА

Люди по-прежнему ходят на сборища:
«лит.голоса», отчего бы не жить?..
Мелкий снежок лебединой танцовщицей
Будет над нашей верандой кружить.
Только синички – созданья безвредные
красные ягоды в брюхо суют. Кошки скитаются,
мокрые церберы в грязном аду охраняют уют.
Здесь, в отделении, сказки не водятся,
Просьбой окурка кончается день.
Плачет над сестринской лик Богородицы,
той, у которой глаза – голубень.
всех уморило лекарство колючее,
ягода волчья катится во рту.
Все охмелевшие, все невезучие,
Ждут только случая и – за черту.

Там, за чертою больного оазиса,
Вётлы ломаются, вороны: «Кар-р!».
Тысячной стройкою мир поднимается,
Новой войной полыхает пожар.
Зря повязали меня санитарики,
Песня моя не на час.
Вольная жизнь, раздающая пряники,
Вспомни когда-нибудь нас...

* * *

Подражание Олегу Лапшину

Ты песню мне спеть одиноко собрался,
А ветер ещё безутешнее плакал,
И холодно ветер над яром скитался,
И гладил деревья озябшею лапой.

Как рыбе безвольной камланием-песней
Ты вспарывал воздуха – брюхо желаний.
Ты вспарывал песней своею безумной,
Молчание наше, безумство молчаний.

И ветер тебе подпевать побоялся,
Когда он улёгся за тучею влажной.
И ветер не смело ещё рассмеялся,
Наполнив росой кораблик бумажный.

Кораблик бумажный был соткан из чуда,
И он не промок от росы терпеливой.
Услышали песню волхвы и верблюды,
И смолы, и росы,
И слезоточиво
Наполнили реку,
Мелодия тает...
Кораблик плывёт, и волна набегаёт.

* * *

Над нашей беседкой, когда-то увитой плющом,
сплетаются чёрные тени озябших деревьев.
И я не прошу тебя более ни о чём.
Ты не производишь: «Не бойся. Поверь мне, поверь мне».
Зачем эти слёзы, когда не пройти уж вдвоём
По старой, покинутой солнечным светом аллее?

Зачем над беседкой, когда то увитой плющом,
Сплетаются тёмные ветви, как чёрные змеи.
Шагни в неизвестность – мне шепчет слепая душа.
И сны разноцветные радость шальную пророчат.
Вдыхаю холодное утро почти не спеша,
Поверив в счастливую сказку для двух одиночеств.

* * *

О. Л.

В той дали и тусклом свете
Ты ничей и я ничья.
Мы играющие дети – у ручья.
Где сплетаются не руки,
Ивы-сны.
Мы укрылись от разлуки
До весны.
Где срывается безвинно
Жёлтый лист,
Мы вдыхали соловьиный пересвист,
Где фарфоровой посудой внесена
В чёрно-белые этюды
Тишина.

* * *

И плачут чайки над волнами,
Как души, расставшиеся с телами,
Жильцы, расставшиеся с домами.
Успевшие обеднеть словами – книги
Страницами судеб шуршат.
Но судеб ни боги уже не вершат,
Ни звёзды...
И взгляд одиноко блуждает окрест,
Лишь чайки кружатся. Печальнее мест
Давно не видал ни рыбак, ни поэт,
Пришедшие к морю...
То было иль нет?
Колышется, пеной морскою бурлит –
Ситро и поллитра, лито и завлит.
И литерой тёмный покажется чёлн.
А где же художник?
Растаял средь волн.

* * *

Нет, не о смерти я прошу Его.
А о покое.
Я помню дни, когда была другой:
Весёлой, злою.
Я и теперь не слишком-то добра.
Но в час молитвы
Гляжу на руку, что иссечена
Когда-то бритвой.
Теперь уж раны прежние сошли,
Но те порезы
Словно тропинки, что всегда вели
В приют аскезы.

* * *

Как это солнце – холодное,
ближнее –
жадно всю светит.
Так, что глаза мои бедные
Выжжены
солнцем безжалостным этим.

Чувствую, ладаном дышит апрель,
тучи высоколобы.
Было ли больно? Слёзы капель.
Полуплывут сугробы.

Что же вливаете горечь в кровь?
Всяк о весне болтает...
Ветер, бродяжничай, суесловь –
Светлая ли, слепая?

Но не могу отвернуться, уйти.
Пропосту некуда деться.
Ну же, проклятое Солнце,
Свети!
Пой же сопрано – меццо!

ЗАКАТ

Вечер опять прошёл одинокий.
Мальчик в шезлонге спал.
Ветренный, милый, далёкий, жестокий
Принц обо мне вздыхал.

Он мне прислал почитать Сенеку,
Томик от сердца в дар.
Где-то несли отпевать человека,
Лился в ветвях пожар.
Томно сползал, как вуаль, по склону,
Злую тревогу для.
Властвуя площадью незаконно,
Улицей вдоль кремля.
Шёл отовсюду,
Вернее, свыше.
Стаявший не вполне.
И заливал купола и крыши,
Окна, и всё во мне.
Падало солнце, легко, певуче...
Колокол бил в набат.
Долгие ноты терялись в тучах.
Плакал дворцовый сад.

ПОЭТЫ

Пить антидепрессантов
Кипящую смолу.
Мы лунного десанта
Поющие хвалу – беспечные няды

С Создателем на Ты.
И всё что нарядов,
Легчайший флёр мечты.

Мы гномы и атланты,
Ещё и тем щедры,
Что Божьего таланта
Бесценные дары

Мы возвращаем, точно
Жемчужину, моря.
И миг в часах песочных
В бесчисленные Я.

Жаль только, не бесплотны
Земные существа,
Нас душит страх животный,
Мы полубожества.

И грешною заботой
Мы вынуждены жить.
И до кровавой рвоты
Себя в себе крушить.

И кажется, растает
Привычное вот-вот,
И в дом ворвётся стая –
Усопших хоровод.

И мёртвые глаза их,
разомкнутые рты,
в меня они вонзают –
исчадья темноты.

И вынуть эту Душу,
Безумные, хотят.
И тёмный взгляд их душит,
И отравляет яд.

Но каждый раз мне снится,
Как будто наяву –
Я превращаюсь в птицу.
Я в белую сову

Себя преображаю,
И от её когтей
Ничто не ускользает:
Ни дух, ни страх, ни зверь.

Взлетаю в полуночье
Из мракобесной тьмы,
Вперяя птичьи очи
В разлитый свет луны.

И жду – подует ветер
Под полную луну,
Летающий змей и вебрь
С орлиной головой.

Разумные медузы,
Оолтливые кусты.
Открой однажды шлюзы
Забытой темноты,

Не бойся раствориться
В ней, как в себе самой.
Ты будешь белой птицей
Под полною луной.

ЛУНА

Май целовал, ласкал, лелеял,
листвой дразня.
И становилась зеленее
моя земля.
Взошла. Знамением явилась
Луна. Смотри!
А ты как будто бы светила
вся изнутри.
И вот тогда, ещё не зная
туманных дней,
ты шла такая молодая
навстречу ей.
Тебе казалось, что спустилась
она с небес.
И тьма пред нею расступилась,
и замер лес.
Спускаясь в озеро, играла,
к себе звала,
и позолотой осыпала,
и уплыла.
Водой живою лес пропитан.
С тех пор она
Луны искрящимся софитом
освещена.
Огромной рыбиной небесной
была Луна,
уплывшая в тот край чудесный,
где рождена.

БЕССОННИЦА, МАРТ

Не спалось. И каждый шорох
Продолженье
Предвкушал, как спящий город
Пробужденье.

И менялись светотени,
И предметы
Оставались на границе
Мглы и света.

И хотелось затеряться
В этом мраке,
Ныли лютни, выли волки
И собаки.
За окном сплетались ветви,
Дуло в спину.
И сугробы, словно горы
Кокаина

Возвышались,
Накрывая тротуары.
Сны испариной сменялись,
И ни пары,
Заплутавшей в переулке,
Ни соседа.
Только лютни под созвездьем
Архимеда.
И дышали равномерно
Рты и груди.
Где-то рядом непременно
Спали люди.

* * *

Колокол ночь разбил надвое,
– стон звучал.
Соколом ввысь – звон,
Неба крестил овал.

Нам по земле ходить,
Точно привязаны,
Ведь неземными быть
Мы не обязаны.

Впишем себя в ряд
Тире и точками...
Души под листопад –
Над оболочками...

Клевером шелестеть,
Прятаться совами...
Быть неземными, ведь
Стать невесомыми –

Как под топор лечь –
Деревом лиственным,
Всё что не нужно – сжечь,
Не перелистывать.

Время былых удач-
Вешкой горящею,
Словно высокий плач
По настоящему.

* * *

Там, в глубине рощи,
Птицы свивают дом.
Им веселей и проще
Будет обжиться в нём,
Чем ворошить страницы
Пережитого нам,
Я, превращаясь в птицу,
Выучусь по слогам
Следовать как, не знаю,
Мудрости ледяной.
Видишь, и я свиваю
Хижину над землёй.
Роща рокочет – соло.
Ветер мне пальцы жжёт.
Песенным звоном полон,
Дом над землёй плывёт.

* * *

Туманы, льнущие к подмосткам
промытых ливнем кущ,
– насквозь...
Берёзы мокрые причёски отряхивают,
им пришлось,
от ветра трепеща и снега,
живые корни уберечь.
Лелея первого побега
новопрославленную речь.

И вот они в тиши весенней,
как в храме в предвечерний час,
ждут в литургии обновления
подняться в голубой атлас.
И только лишь развеет ветер
туманный флёр лесных чудес,
весёлой трелью мне ответит
освобождённый ливнем лес.

* * *

Солнце упало в канавищу тёмную.
Хочется солнцу спать.
Белую лошадь тоски неуёмную
Поворотить бы вспять.
Скачет, резва, хороша, не докличешься.
Грива у ней блестит.
Синими искрами электричества
Сыплет из-под копыт.
Вот и исчезла. Во мраке
отчаянно сквозь перелески мча.
Кто это в белом, высокий,
хозяином вышел из кедрача?
Мне ли бояться.
Конца неизбежного ждать, отходя ко сну?
Тихое, тёплое, робкое, нежное
сердце хранит весну.

* * *

Бушует февраль не особо.
Его теорема проста.
Размякшею кашей сугроба
Накормит ручей-теплота.
Под солнцем блестят до озноба
Подвески стеклянного льда.
И чует земная утроба,
как движется в русле вода.
Я знаю, грядут перемены,
Сметая сомненья и страх.
И снежные рушатся стены
В далёких Альпийских горах.
Я верю тебе не напрасно,
Попутному ветру – матрос...
Весна, бирюзово и страстно
Взметнувшаяся до звёзд.

* * *

Я превращусь в пожухлый лист
В объятиях озёрной влаги
Где ветер – импрессионист
Круги рисует и зигзаги.

Осенний воздух свеж и чист,
Тумана мглистые покровы.
Я только гость, я жёлтый лист.
И потому мне всё здесь ново.

Быть может, завтра птичий свист
Обворожит меня, растаяв.
Я только лист, я жёлтый лист.
– «Смотри, как вихрь мной играет!»

И, наигравшись, бросит тут,
В канаве, под корягой прелой...
Другие листья прорастут
В заветный час, весною смелой.

А может, вихри унесут туда,
В тоске вечерней смуты,
Где путники, ища приюта,
Костёр меж сосен разведут?

Пусть я погибну. Отпусти,
Земная твердь. Дымлюсь и тлею.
Но я ещё согреть сумею
Однажды сбившихся с пути.

* * *

Под тяжестью из снега и земли
Живёт зерно особенною жизнью.
И чувствует оно, как корабли
Покинули далёкую отчизну.

И чувствует, как шелестит трава,
И вереск по лугам чужого края.
И лучшие рождаются слова,
Весеннюю зарю предвосхищая.

Как лопается почка, как горчит
На дереве, дождавшемся теплыни.
И где-то в доме перевероршит
Хозяйка письма, угольки в камине.

Как бегают соседский мальчуган
Босой по лужам, счастлив и беспечен.
Как над рекою стелется туман,
Дворцовый сад гирляндами расцвечен –

Всё чувствует незрячее зерно.
Зерно, ещё не давшее побега.
Когда в парче нетающего снега,
Словно в шкатулке, спрятано оно.

Пшеницей или деревом в цвету
Однажды станет, и легко вздохнёт.
Но прежде тесноту и темноту,
Как летаргии всплеск, перерастёт.

* * *

Я где-то под этой землёй, я где-то под этим снегом,
Травинкою, хрупким побегом себя ощущаю порой.
Я думаю о пешеходах, о том, что зима растает.
И бирюзовой станет улица надо мной.
Изменится стиль погодный, расколется пласт надводный.
И люди вздохнут свободно, разбуженные весной.
Но это ещё не скоро, закрыты ходы и норы.
И ставни, и коридоры, и двери. И Боже мой!
Закрыта на все затворы душа, не найдя опоры, дрожит,
Но очнётся скоро под толщею снеговой.
И станет пчелой жужжащей, и станет стрелой летящей,
А может, зелёной чащей, а может, сама собой.

* * *

День светил для нас,
И плавил снежный наст,
Подталый лёд.
Только в памяти оставил
Бирюзовый небосвод.
Только скрылся за горою.
Белой тучкой, точкой прочь.

А теперь глаза закрою –
То ли темень, то ли ночь.
День прошёл за чашкой чая.
В пересудах, впопыхах.
Счастья мы не замечаем,
Но грустим о пустяках.

* * *

От весны твоей – наважденье.
От её беспечного коварства.
Жду тебя уже не во спасенье,
Жду тебя скорее из упрямства.

* * *

Идёт холодный фронт
Над городом, над пашней...
Идёт, идёт, идёт,
Отчётливый и страшный.
Куда его несёт, влечёт,
Зачем кружит?
Он душу, как цветок,
Подхватит и умчит.
Сомкнули лепестки цветы в расцвете дня,
От ледяной тоски соцветия храня.
И листья, и трава
Кипят весенним соком,
Но горькая молва
Накрыла их потоком.
Зелёная волна, успевшая подняться,
Была осуждена за жизнь свою сражаться.
Полны тревоги злой и небо, и предместья
Пред грозовую мглой с её холодной мстью.

* * *

Судьба нам делает подарки.
Так незаслуженно и просто.
И ночь наклеивает марки.
Над каждой впадиною звёзды.

Когда брожу и в полумраке
Листаю время, словно письма,
И истолковываю знаки,
С морозной считываясь высью...

Вот до востребования в небе
Такое облачко над кручей.
Над ним звезда в созвездье Лебедь,
Меж ними снег и мрак колючий.

А мы идём себе неспешно
И торим лунную дорожку,
А в том письме мои надежды,
И смех, и грусть не понарошку...

* * *

Что грустишь, качаешься,
ёлочка колючая,
может, огорчаешься,
по какому случаю?

Заморозки жгучие
обступают ёлочку,
а ветра летучие
рвут её иголки.

Ивой не склоняется
над речной излучиной.
К небу устремляется,
гордая, могучая.

Май, пришедший сизнова,
всё не разгуляется.
А весна капризная
только улыбается.

Машут тучи крыльями,
поглядишь – отчаешься.
От того ты, сильная,
ёлочка, качаешься.

* * *

Ещё свежа трава и запахи упруги.
Ещё горчит полынь, сочится лебеда.
Но август и сентябрь – кудрявые подруги
Бросают по венку в стеклянный глаз пруда.

Я подношу венок своей любви весенней,
Осенний день дрожит свечою в зеркалах,
Плывёт, плывёт венок в прозрачном отдаленье,
По шелесту реки в лазоревых струях.

Его не примет ил, и леший в тёплых лапах
Его не сбережёт, и в парковых сеньях
(Чей воздух напоил чуть сладковатый запах
Сгорающей листвы благочестивый прах...)
Его не ждут.
Плывёт, возможно, океаном,

Где мутноватый блеск,
И полости хвоста поднимутся, как вихрь,
Как брызги от фонтана...
Ромашковый венок – для белого кита.

* * *

Я знаю, у поэта
Всегда одна забота:
Он с ночи до рассвета
Обожествляет что-то...
Пылинку, незабудку
В лучах закатных, или
Ноктюрн играет в шутку
На семиструнной лире.
С улыбкой Дон-Кихота
Бредёт по белу свету,
И превращает в ноты
Ожившие предметы.
Когда рассвет, зардея,
Рассыплется и стает,
Мелодия, как фея,
По комнате гуляет.

* * *

Всё будет как обычно,
как всегда.
Всё та же тривиальная беседа,
Погром и крики пьяного соседа,
Олимпиада в Сочи, холода.

ФЕВРАЛЬ

Достать чернил?..
Черникой звёзд излиться в ночь.
Чернильными слезами
На белую поверхность лепестка тетрадного...
Или, быть может, с вами,
Надеясь на взаимность, говорить?
О том, что математика прекрасна
И жизнь ещё, быть может, не напрасна,
Как рефлексия «Быть или не быть?».
А там... Гуляют пары ввечеру
По улицам сиреневого ситца,
И если я сегодня не умру,
То ничего не стоит созвониться.
До завтра, безотчётности примет
Признаний жарких, холодности нервной
До первой встречи, вечера, черты.
Когда б не знала я, что вы поэт,
Я никогда бы не посмела первой,
Как бы случайно, перейти на «ты».

* * *

А лето достигло уже середины.
Старушки торгуют пером лебединым,
Вчерашней закуской, портретами Кришны.
Куриною гузкой, мочёною вишней.
Свежайшею прессой, целебной водою,
Набором стамесок, стерляжьей икрой,
Цветными грибами, руном, рыбьим мехом,
Чужими грехами, стихами...
Смех смехом,
А лето дозрело по капле, не сразу..
По-прежнему девушки верят алмазам,
Песцовым накидкам, Сваровского стразам,
Парижским улиткам, китайским вазам.
Уже к середине приблизилось лето,
Не встретив Ромео в пути и Джульетты.
Как прежде, щербатая лунность поката.
Была бы надежда, да лето к закату.

* * *

Тысячи розовых брызг,
Тысячи брызг зеркальных
В небо взметнёт волна.
Тело покинет Душа,
В дебри миров астральных выплеснется
И примет в себя океан.
Стань моим бризом,
Не ищущий правды в словах.
Новой волны пенная дрожь вскипает.
Это прибой обнажает песчаный пляж,
Берег нехоженный наш,
И дарит
В жёлтом песке ракушки и черепах.

* * *

В этом не будет ничьей вины.
Запеленает январь тоску,
Глядя, как шахматные слоны
Бродят по сахарному песку.

* * *

Я заводная кукла
С улыбкой до ушей.
Среди других игрушек,
Среди карандашей
Я здесь на верхней полке,
Забывая, стою.
Но буду улыбаться
И песенку спою.
Лишь повернётся ключик,
Послышится щелчок,
Пущусь плясать по кругу,
Как заводной волчок.
Я заводная кукла,
И ключик – мой пароль.
Я лучшую, быть может,
Сейчас играю роль.
«Послушайте, взгляните!»
Мне хочется сказать.
Но убегает мальчик
В солдатиков играть,

Но девочка уходит
с ватагой малышей.
Я заводная кукла.
С улыбкой до ушей.

* * *

Говорят, все дороги ведут в Рим.
Говорят, что у страха глаза – «Ух!»...
Пусть себе говорят,
Ну а мы спим.
И во сне иногда говорим вслух.
Ночь укутает водорослью из снов,
И забудется утро бывшего дня.
В океане придуманных кем-то слов
Два единственных острова –
Ты и я.

* * *

Январь-художник,
Стуже внемля,
В тетради белой пишет что-то.
И осыпается на землю
Печальных ёлок позолота.
Но как нестройно, как сурово
Он выцарапывает слог.
Когда выдумывает снова
Для расставания предлоги.
Во сне подкравшаяся тьма
Рукой холодной сдавит горло,
Её величество Зима
Шатёр над нами распростёрла.
Она мне плакать не велит,
За одиночество прощает,
И в окнах инеем блестит,
И ничего не обещает.

* * *

Не верь моим словам.
Не верь в моё молчанье –
Нелепое, когда
Я не подам руки.
Не верь моим словам

В преддверии прощанья,
Но вспомни: лишь вчера
Мы были так близки.
Не верь, когда смеюсь
В лицо, или, быть может,
Заветное письмо
Над талой свечкой жгу.
Пускай огонь свечи
Сожжёт письмо. И всё же
Пойми, что в этот час
Я от себя бегу.
Хочу уйти, забыть
И не прощать ошибки,
Которые у всех
Бывают на пути.
Хочу забыть тебя,
Как звук усталой скрипки,
Но разве от себя
Сумею я уйти?
Мне очень важно знать,
Мне очень важно верить,
Что прошлое – не враг,
А всё же отчий дом,
Что будем нашу жизнь
Мы не печалью мерить,
А светом тёплых дней,
Что создали вдвоём.

* * *

Люблю природы тихое величье.
Лучей просвет сквозь облачный нахлест.
Скольжение лодок,
в переливах птичьих
как бы застывший плес.
Игру теней и смену настроений,
жужжанье пчёл, мерцание стрекоз.
Июньским днём,
когда под впечатленьем
речной прогулки ты не сдержишь слёз.
«О, дай мне руку,
кажется, над нами
сойдутся тучи мрачные вот-вот».

Ты вся дрожишь,
И только шепчешь: «С вами
я не боюсь грозы.
Пусть дождь идёт!».

НАКАНУНЕ ВЕСНЫ

Посвящается предвыборной кампании

Скоро снег обмякнет ватой,
А потом прольётся песней.
Грома первые раскаты
Разнесутся в поднебесье.

Грома первого раскаты
Грянут громче грозным граем.
И квартиры, и палаты
Майским горном оглашая.

Грянет громче грозным граем,
Расплескавшись ливнем шумным,
Надо всем российским краем
Май взметнётся полоумный.

Бу-у-м! – по трубам водосточным
В неприкрытости стихийной
Май взметнётся непорочный!
Май взметнётся беспартийный!

И, спускаясь по накатам,
Проводов слюнявя нитки,
Ливень смысл политплакаты.
И рекламу, и агитки.

А когда умолкнут звоны,
Ливней шумных балаганы,
Листьев мокрые знамёна
Вспенят клёны-великаны.

* * *

Всю ночь в моём саду гроза ломала ветви.
И дождь хлестал.

Но день настал так свеж и так приветлив.
И ветер перестал.
И в глубине запущенного сада,
Где тишь и лень,
Ещё жива вчерашнего разлада
Босая тень.
Ночной борьбы, вчерашнего смятенья
Повсюду знак.
И замерло в немом оцепененье
Всё, что не так.
И вот теперь он ждёт преображенья.
Настанет час,
И лёгким звуком лёгкое движенье
Разбудит в нас.

ЧЁРНОЕ ДЕРЕВО

Чёрное дерево есть
На чужом дворе.
Чёрные ветви чернеют
В ночном серебре.

Чёрное дерево есть,
И под чёрной листвой
Чёрные тени мелькают
Над чёрной травой.

Ствол его чёрен.
И чёрным сияет огнём
Крона,
И корни вросли в чернозём.

В чёрном проулке
Под чёрной-пречёрной луной
Чёрное дерево –
Тёмной Души часовой.

Чёрные мысли
Вбирает оно, не скупясь.
И непрерывна меж нами
Незримая связь.

Чёрное дерево – точно гипноз,
Как магнит,
Словно из чёрных желаний
Оно состоит.

Но ненавистно и тяжело
Такое родство.
Только с рассветом
Исчезнет его колдовство.

* * *

Лес полон тьмою и величьем.
Луна, как древнее тату.
Одену плащ и маску птичью,
И в темноту.
Пусть там хрустят под нами ветки,
Мы на между...
Где я сопернице соседке – не удружу.
Где волчий рык и птичьи шумы
Напомнят о вдовстве.
А утром – солнца лик, и думы, о колдовстве.

* * *

Всё не эдак
и не так.
Всё не в лад
И невпопад.

Продолжается разлад.
Ожидается распад.
Для чего же ты в тоске
чертишь мелом на песке?
Я ведь жду тебя – хороший,
приплывай на обласке.

Только что-то не срослось.
То ли утка, то ли лось
выплывают из тумана,
так уж в сказке повелось.

Я не рыбка, не Гораций,
размышляю не по лжи...

Как же в царстве инноваций
приручить тебя? – Скажи.

Вот одену скороходы,
разве ты меня найдёшь?
Человек не царь природы,
но не тыква, и не ёж.

Улечу за Сине-море,
на Ямайку, за кордон,
где гуляют на просторе
Черномор и князь Гвидон.

Обернусь красой-девицей
И воздвигну царь-дворец.
Приезжай тогда жениться,
ИЛИ СКАЗОЧКЕ – Конец.

* * *

И, словно в заколдованном лесу,
Деревья – великаны и уродцы...
А я свечу на блюдечке несусь,
И предо мною тьма, канатоходцы,
И девы, разменявшие красу.
И я меж ними.
Расступился лес.
И каждый, кто в обличии и без,
Проснулся, встрепенулся и воскрес.
И с потемневших тянутся небес
Тугие нити – лунные лучи.
Кругом ни звука. Шествуй и молчи.
Могила или пустошь – их приют,
Они повсюду, только звука ждуют...
Вампиры, лиходеи, колдуны.
Но, полною луной освещены,
Они меня не видят. Я вперёд
Иду, иду, минуя этот сброд.
Но свечка догорает. Где же ты,
Что шёпотом позвал из темноты?

* * *

Бежит к реке тропинка, и зацветает мята.
Здесь каждая травинка запомнила солдата.
Просторы луговые его омыты кровью,
И льнут цветы лесные и никнут к изголовью.
Поэзия живая есть в доблести отважных.
И тот не умирает, кто здесь упал однажды.

НОЧНАЯ ДОРОГА

А север отдай дорогам.
Пусть дрогнет во тьме лучина.
Да будут хранимы Богом
Ночные пути мужчины.
Скитальца, что бьёт не целясь,
И призрачный этот город,
И каждый невинный шелест,
И каждый невнятный шорох.
Тропою его, быть может,
И зверь пробежит, и стая
Людей с повадками зверя,
Зрачками окрест пронзая
Тьму, прячущую героя,
Идущего той тропой.
Но если придётся выйти
Навстречу, и тьма откроет
Тех, кто глядит исподлобья,
Нож избирая богом...
Пусть станет тропа дорогой,
Дорога – долиной станет.
И небо глубоко, жадно
Убийцам в глаза заглянет.
И пусть он вернётся целым
К той, что ждёт и поныне:
Молитвой в вечерней сини,
Криком в его гортани,
Кровью в зажатой ране.

* * *

Уронила тетёрка пёстрое пёрышко
В голубую запруду, что у синего камня.
Окунулся месяц головою в облако.
Утонула звёздочка в густом тумане...

* * *

На рябинах, на берёзах золото и медь.
Утирает вечер слёзы, вышел розовець.
За оврагом видны доли,
Тишь да благодать.
Выйдешь пьяный да весёлый
Степью подышать.
И такая в этом сладость,
Что не передать.
И тревога, и усталость,
И краса, и статья.
Отчего в таком раздолье,
Хоть и вольно петь,
Всё равно неясной болью
Хочется гореть?
Будто хочешь прикоснуться
К жаркому огню,
Всей душою распахнуться
Ветреному дню.
Вспыхнет Божия денница,
Розовеет высь.
Если жизнь мне только снится,
Дивный сон – продлись!

* * *

Пейте, гости, хмельную брагу,
Разгоняя усталости слепь.
Запрягу я гнедого конягу
И поеду один через степь.
Въеду в лес, где медвежьи берлоги.
Где коряги и дупла черны.
Там, где камень, откуда дороги
Разбегаются в три стороны.
Пусть хоть дьявол меня повстречает,
Пусть расскажет людская молва,
Как в малиновый дым иван-чая
Окунулась моя голова.
Да и что мне такому осталось?
Ведь и сам я, как зверь, нелюдим,
Если та, о которой мечталось,
Прошлым вечером вышла
С другим.

В НОЧЬ ПОЛНОЛУНИЯ

Русалки, дриады, кикиморы!
Чуда лесные, что в шкурах звериных!
Бегите ногами босыми
По влажному берегу пруда.
Я вас не замечу,
Кто в облике птицы, кто зверя
С Душой человеческой.
А кто человек, но повадкой и взглядом
Дичится,
Однажды волшебной луною
Мечтает напиться.
Спешите вперёд! Достигает
Луна апогея.
Здесь каждый свою чешую
Или душу согреет.
Мы будем водить хороводы,
Свершать песнопенья,
Играть, согреваясь в лучах
Ледяного свеченья.

НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛУ

Мчатся солнечные дроги
Сквозь росистый бурелом,
По просёлочной дороге.
Я на дрогах...
Босиком
Соскочу и без оглядки
По тропинке в лес густой.
Водяной играет в прятки
С белолицей, озорной,
Серебристую русалкой.
Плеск хвоста по глади вод.
Ей лиловые фиалки
Леший в пригоршне несёт.
Там, где папоротник зреет,
Распушив павлиний хвост,
В тишине цветок алеет,
Как звезда среди берёз.

Я сорву его – Жар-Птицу –
Под рубашку и бегом.
Будет он всю ночь искриться
Зачарованным огнём.
А когда проснусь под утро,
Глядь, его простыл и след.
Померещилось как будто.
Скажут мне: «В помине нет!
И в природе нет такого,
Разве кто его нашёл?
Где увидишь, право слово,
Чтобы папоротник цвёл».
Со слезами убегаю
По осоке и хвою,
Три желанья загадаю,
Если только отыщу.
Но смеются вслед старушки:
«Это сказки, а не быль.
Там, где квакают лягушки,
Лишь болот угрюмых гниль».
Солнце заполдень. В бурьяне
Только мошек хоровод.
Помолюсь святой Татьяне,
Может, снова повезёт...

* * *

– Маша, детка, что с тобой?
Что ты загрустила?
– Я платочек голубой
Нынче обронила.

– Где же ты свою «красу»,
Маша, потеряла?
– Я с подружками в лесу
Песни распевала.

Ты теперь меня не тронь,
Я тебе чужая,
Запоёт твоя гармонь,
В перепляс бросаю...

Перегудом перебор,
Загалдит орава...

Не ходи за мной, как вор,
Не пытай лукаво.

У оврага, под горой,
В серебристых росах
Ты платочек голубой
Снял с меня без спроса.

Не жених ты мне, чужой,
Что былое «славить»...
А найдёшь платочек мой,
Так оставь на память.

* * *

Ходит солнышко над реченькой,
Над рекой.
Погоди ты, солнышко,
Не слепи.
Не смущай ты, молодец, мой покой,
Не гневи ты Господа,
Потерпи.
Я ещё не замужем, молода,
Щёчки разрумянены,
Маков цвет.
В небе тучки белые,
Что стада,
У меня, молодушки,
Друга нет.
Вышла б я, молодушка, во лесок,
Где дубы с осинами шелестят,
И сплела бы молодцу
Я венок,
Да отец и матушка не велят.
Вышла бы я к реченьке погулять,
Пела бы я песенки, не псалтырь,
Но теперь безвольную увядать
Отдадут красавицу в монастырь.
Так приди же молодец, не печаль,
Я калитку в садике отопру.
В жаркие объятия заключай,
А потом расстанемся поутру.
Под листвой укроемся – всё одно.

Только ты, мой миленький,
Шибче грей.
Мне судьбой-разлучницей суждено
Стать невестой Божией,
Не твоей.

* * *

*Суженый мой, ряженный,
Приди мою косу расчесать...*

*(из русских народных заговоров
в ночь перед Рождеством)*

Где же ты, мой суженый, – приходи.
Деву незамужнюю разбуди.
Деву невесёлую – утешать,
Косу тёмно-русую расплетать.

В небе месяц плавает, что челнок,
Косонька кудрявая – ручеёк.
А сама-то выросла – отлилась,
В поле рожь высокая поднялась.

Ринут птицы чёрные с высоты.
Набивая зёрнами клювы-рты
Сапоги со шпорами-клеветой,
Грудь моя распорота их пятой.

Взвился над осинником гомон-грай.
Слышишь ли, мой миленький? Выручай!
Выйди в поле росное до зари.
Вынь зерно колосное – собери.
Взрежешь хлебы белые в теплоте,
Караваи спелые – сироте.
Всплачут песню лебеди – корабли,
Нет другого милого у Земли.

* * *

В тёмном небе ветер вьётся.
Тучи – шапки волоча.
Кто-то в чаще засмеётся,
кто заплачет у ручья?

Не ходи одна, Алёнка,
по лесочку просто так.
В том лесу задрал телёнка
красноротый волколак.
Ты не вей венков весною,
не бросай на дно пруда.
За корявою сосною,
вся в колючках – борода.
Кто там стонет, кто курлычет?
Кто к траве густой приник?
Это деву жалко кличет
волосатый Лесовик.
Не ищи в озёрной глади
ты веночка под водой.
Унесёт тебя не глядя
в омут дядька-Водяной.
Но Алёна предсказанью
не поверила, поёт.
На вечернее свиданье,
разнаряжена, идёт.
Страшно в мире одиноком.
Кружит, вьюжит ветровей.
Ночь в расщелине глубокой
прячет Души от людей.
Ветер злобно завывает,
даже зверь лесной притих.
Но Алёнку не встречает
у пруда её жених.
Глянь – заря румянолика
над оврагами блестит.
На ветвях сирени дикой
лента алая дрожит...

* * *

Пой, русалка, под гармонь.
Что-то мне не хочется.
Кто в лесу разжёт огонь?
Расскажи, болотница.

Он искрится, как фонтан,
как свеча бенгальская.
Смельчакам на счастье дан
в эту ночь купальскую.

То укроется листвою,
то опять покажется.
Может, это водяной
надо мной куражится?
Но русалка знай чудит.
На ветвях качается.
То лукаво поглядит,
то заулыбается.

Только утро расцветёт,
ветер переменится.
Всё, что чудилось, пройдёт,
навсегда развеется.

Горицвет в ночи блеснит.
Кто найдёт – заблудится.
На поляне путник спит.
Долго не пробудится.

Анастасия Губайдуллина

Стихотворения



Анастасия Николаевна
ГУБАЙДУЛЛИНА

Родилась в 1974 году в городе Джамбуле (Казахстан). Окончила филологический факультет Томского государственного университета. Кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы XX века.

Книги стихов: «Стоп-кадр», Иркутск, 2009. «Посиделки» (стихи для детей), Томск, 2013. Печаталась в альманахе «Каменный мост», журнале «Начало века».

Член Союза российских писателей.

Живёт в Томске.

* * *

*К чему в стихах филологический анализ,
Очередной авангардистский пробный шар?
Верните лирике забытую банальность,
А то мне не с кем пообщаться по душам.*

ШУРШАЛКА

Идти по мягким листьям –
Лекарство от забот.
Без денег и без мыслей
Шурши, куда несёт.

Опять иду к знакомым
На чай, на разговор.
А у меня нет дома.
Ну кто я без него?

Давно уже не жарко,
Октябрь, в конце концов,
Но много женщин в парке
Со взглядами ловцов.

Вон тот идёт, напуган,
Мол, все на одного.
А у меня нет друга.
Ну кто я без него?

Хозяева с гитарой
Бурчат себе под нос
Мотивчик вроде старый,
Но жалобно до слёз.

С друзьями бы сидела,
Но им не до того.
А у меня нет дела.
Ну кто я без него?

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

Я поднимаюсь выше, за кругом круг,
На крутых виражах замирает сердце.
И мир протягивает мне миллионы рук –
А я не знаю, на какую мне опереться.

* * *

Я сужу о городах по их обложкам,
Попадаю ненароком в переплёты,
Или глядя из вагонного окошка,
Или гостем задержавшись у кого-то.

Но когда любимый город предо мною
Открывается, страница за страницей,
Я – один из персонажей, из героев.
Мне уже не удаётся отстраниться.

АДАЖИО. СЕНТЯБРЬ

Небрежною хвоинкой
Смотри, не покорябай
Заезженной пластинки
«Адажио. Сентябрь».

Повсюду граммофоны
Расставили лисички,
И зрители на склонах
Настроились привычно.

Неторопливо, сочно
По всем щелям и норам
Поплыл туман молочный
Осеннего минора.

* * *

На нитях паутины бьётся лист.
То паруса неведомой державы
Над осенью побед не одержали,
И тонут золотые корабли.

Вмиг застилают парусиной сад,
Беззвучно оседая на глубинах.
И лишь течение голубого дыма
Обломки возвращает небесам.

НОЯБРЬ

Позвякивая мерно,
Лист опустился медный
На наковальню зим.
Кромсали и ломали –
И белизна в металле
Распластанном сквозит.
И истончилась кромка,
И кожа стала ломкой,
И цвет сошёл на нет.
И белый лист палёный,
Предельно раскалённый,
Рассыпался, как снег.

НАЧАЛО ЗИМЫ

Сейчас моё соединенье с миром
В листе бумаги. Он настолько бел,
Насколько, неожиданно и сиром,
Природа свой утратила предел.

И взгляду ни за что не зацепиться,
Скользя по законной белизне.
Он, возвратясь к неначатой странице,
Становится рассеянным вдвойне.

Но вскоре слово настигает слово...
И завершённый вид листа готов,
А снежная нетронутость земного
Исписана пометками следов.

СТОЛБЫ

В университетскую ограду
Парни подбираются что надо,
Внешним сходством объединены.
Молчалив и крепок каждый парень,
Не служака бравый, прямо камень!
С космами январской седины.

* * *

На снегу, захватившем врасплох, без надежды ответить,
всё же первый он или второй;
на снегу, укрепившемся (в мысли не таять навеки)
ледяной и хрустящей корой,

так мгновенно следы возникают, собой предваряя
проходящих собак и людей,
словно прошлое вместе со снегом ночным выпадает,
наследившее в жизни твоей.

И на эти следы многолетние, давние, чьи-то
посмотрев поутру из окна,
различая знакомую поступь событий забытых,
говорят: «Наступила зима».

Цикл «Новогоднее»

2010

Помехи снегопада
На чёрно-белой плёнке,
Десантные отряды
Одетой в хаки ёлки,
Сугробы выше метра –

Наш праздник в стиле ретро.

Продуктов и подарков
Матрикулы длиннее,
Чем тосты на гулянках,
Чем титры «Чародеев».
Пакеты треплет ветром...

Наш праздник в стиле ретро.

В мечтаниях о лучшем
Ложисься спать на белом...
Обиженный Щелкунчик
Под утро – мягкотелый,
Как снеговик из фетра

В наш праздник в стиле ретро.

2011

Подойдёшь под вечер к окнам досужим,
Польнью тайком продышишь снаружи,
Чудом высмотришь в просвете туманном,
Как пакует Старый год чемоданы.

Сокрушается: «Скажите на милость,
Это же надо, столько хламу скопилось!
Что случилось с календарными днями?
Их теперь не увезёшь и санями...».

Дни опутаны обрывками нитей,
Часть распухла от прошедших событий,
А другие пропитались слезами,
Так раскисли – в чемодан не влезают.

Не поймёшь теперь, какой из них красный,
По порядку не уложишь – напрасно.
Старый год вздохнёт над снежной горою,
Всё замнёт и плотно крышкой закроет.

2012

Из библиотеки (работать-то надо!)
Выходишь, замученный, –
Центральная Ёлка увита гирляндой,
Но днём не подключена.

Похоже, что инеем ёлку сковало
Под праздник услужливо –
Так смотрится, подлинней оригинала,
Диодное кружево.

Не ёлка, а дым.
Как Летучий Голландец
у Трудного острова,
Здоровую льдину теснит, упираясь
Фок-мачтовым остовом.

Взгляните, ведь ёлка предельно прозрачна,
Как наши желания.
Всё видно за ней: и речушку, и дачи,
И Польшу, и Данию...

Не ёлка, а образ галактики Млечной –
Спиральной, конической –
За сто тысяч лет, именуемых «вечность»,
Мы выйдем к величию.

Не ёлка, а путь
предстоящий счастливый
В приятное плаванье.
В конце, по законам прямой перспективы,
И точка поставлена.

2013

Кое-что выпало из мешка,
Пока его тройка мчалась,
Пока отвернувшийся Дед Мороз
Своих погонял: «Эгей!».
Не видно стеклянного снегирька
С прищепкой. Какая жалость!
Картонный заяц куда-то сполз
И всякая канитель.
Где, скажем, гирлянда поры моей
Из длинных стеклянных трубок?
А фотоальбомы – развлечь друзей?
И чудный стеклянный шар?
Куда посыпались из саней
Открытки (всегда Зарубин)?
Программа праздников из газет,
В пометках карандаша...
Где шляпа костюма, папье-маше, –
Доделали накануне?
Где письма к празднику от родни?
(Тетрадь в ответ исписал).
Ну хоть бы кто-то нашёл уже
Добро, что пропало втуне!
Попутчик, коль встретится что, – верни
Или используй сам.

Я предлагаю сопровождать
Рассеянного возницу,
Подхватывать бережно дребедень,
Что упадёт вот-вот.

Чтобы однажды через года
Внезапно не очутиться
Без чувства праздника, без затей,
Без прошлого, без всего.

2014

Сколько их было, всяких:
С ветром и в морозаки,
С плясками до упаду,
С клиповым снегопадом.

Сколько их было, шумных,
В сшитых за ночь костюмах,
С риском – бросаться в слёзы,
С тёткой за «дедмороза».

Сколько их было, прежних:
Ельцин, Андропов, Брежнев...
Телек хмельной соседки,
Шпроты на табуретке.

Сколько их было, разных,
С детским восторгом: «Праздник!»,
С деятельными днями,
С дарёными конями...

Сколько их было много:
Дома, в гостях, в дорогах...
Было их, мне на жалость,
Более, чем осталось.

2015

От Нового года до Нового года –
Всего лишь четыре сезона природы,
Чуть больше трёхсот уникальных рассветов
(Две трети которых проспали при этом).

От Нового года до Нового года
Успеет растаять десяток сугробов,
Но сотни других образуются живо,
Ввергая в отчаянье теплолюбивых.

От Нового года до Нового года –
Лишь пара нюансов изменчивой моды,
Но нас и они занимают не сильно,
Мы с Вами – приверженцы старого стиля.

От Нового года до Нового года –
Работа, работа, работа, работа,
Работа... способна заполнить страницу...
Увы, нелегко от неё откреститься.

От Нового года до Нового года –
Звонки, перемены, утраты, разводы...
Но мы-то на месте! И вместе при этом!
И в нас изменений почти не заметно.

От Нового года до Нового года:
Два уха, два глаза, рот – вот он, нос – вот он.
А прочее мы оставляем за скобкой,
О нём вспоминать неохота нисколько.

2016

Новый год – не просто хвоя,
Чистка, варка и печенье...
Не бессмысленное «party»–
Повод ночью не уснуть.
Он имеет и второе,
Магистральное значение:
Это главный указатель
Поворота на весну.

31 декабря 2016

Провожаем старый год.
Вдруг возьмёт – и не уйдёт?
Сядет. Сдвинет холодец.
«Наливай, – махнёт, – отец!»,
Ничего не говоря,
вопреки календарям...

«Как? – Хозяин изумлён. –
Против логики времён?

Это что же за страна:
всё застой да старина!
Как явилось лихо в дом,
не прогонишь помелом!

Мы с ним, значит, хорошо.
Мы с ним, значит, посошок.
Мол, проводим... трудный год...
А он сидит, пирог жуёт?

Нет уж. Доброго пути!
Кстати, мусор захвати:
затирушки-пузырьки,
черепушки-черепки
и макулатурный хлам,
что пылится по углам:
Сто отчётов (Кто прочтёт?),
сто рецензий на отчёт...»

Стушевался Старый год.
Встал у двери, шапку мнёт:
«Батя, мне недолго здесь,
я ведь знаю срок и честь.
Ты беги за стол, беги –
Выдохнутся пузырьки».

Вдруг – куранты! И ура!
И петарды со двора!..

А замок в прихожей щёлк...
Вряд ли свидимся ещё.

* * *

Очнулась от январских вакханалий,
расхристанная, мятая – на белом.
Не схоронили, только прикопали.
Внутри всё пересохло. Ломит тело.

И, кажется, коснись хоть плеч, хоть чёлки,
осыплешься и станешь бестелесной,
беспамятная, траченная ёлка
в сугробе у четвёртого подъезда.

* * *

Продвигаясь навстречу пороше,
Тяжело оставляя следы,
Я похожа на старую лошадь,
Не способную жить без узды.
Я жую методично и кисло
В полудрёме. И лишь иногда
От себя надоевшие мысли
Отгоняю ударом хвоста.

* * *

Зимою-весною, в период покоя
Мой мирт бирюзовый тревожить не стоит,
Зане источать он не сможет эфиры,
Незримо врачуя хозяев квартиры.

В блаженном покое проросток счастливый
От ближних не требует даже полива,
Ему ни тепла, ни участия не надо:
Довольно вполне равнодушной прохлады.

Когда же настанет период покоя
В моём вавилоне, в моём неустрое?
Я стану цветком, плодоносом, бонсаем...
Но только в тени, где меня не копают.

ДАНИЯ

Сказали, метели в Дании. А что я знаю о Дании?
Море...

Андерсен...

крыши острые...

кроны, эре...

снежное Рождество...

Сознаюсь во всеуслышание: убоги и скудны знания.
Ведь ничего о Дании. Больше, увы, ничего.

Доброе утро, Дания! (Скорее уж вечер, Дания).
Простите, что обращаюсь к Вам, не будучи Вам знаком.
За дальностью расстояния по сказочным описаниям
Мне Ваша персона кажется чудеснейшим уголком.

В трудах моей мифологии (уже подтверждённой многими)
Вы выведены желаемой из северных королев.
Как близок в мечтах к природе я! Неспешна её мелодия,
И завываньям ветреным подобен любой напев.

А городские здания патриархальной Дании?
Будто специально созданы производить эффект!
И если бы я приехал к Вам, пусть с самым важным заданием,
Прошёл бы сперва по улицам или забрёл в кафе.

Не спорю, сначала, может быть, отнёсся бы настороженно
И к дегустации выпивки, и к выбору местных блюд,
Но какое-нибудь мороженое, какое-нибудь пирожное
И рыбу взял обязательно, поскольку поесть люблю.

Но мне не дают задания. Да и метели в Дании.
А этого безобразия хватает здесь своего.
Поэтому остаётся лишь откланяться с «досвиданиями»,
А рыбу запечь с картофелем – тоже ведь ничего?

* * *

Не то... Опять не то... Бумажный ворох,
Что я безрезультатно извела,
Когда-то был деревьями, которых
Теперь в моей печи сожгу дотла.
Стволы и крону, исписав, кидаю
В огонь, в огонь, безжалостно, подряд,
Увы, нисколько не опровергая,
Что рукописи в печках не горят.
Поскольку были б рукописи, те бы
Всю жизнь дышали пламенем в висок,
А это, к сожаленью, только тени
Проглоченных, невысказанных строк.

А если б было дерево? Стояло,
Прибежище прохожих и ветров.
И тихо б, ненавязчиво сказало
Всё то, на что мне не хватает слов.

* * *

Мой сын, уходящий в сон,
Цветочной пахнет пылью.
Закрылся ночной бутон –
Расслабленное лицо.

Но первых ресниц ростки
В ночной тишине квартир
Пока ещё коротки
И не заслоняют мир.

* * *

Молодость моя, молодость
Потягивается вкусно;
Молодость моя, молодость
Кусает яблоко с хрустом.
Морщит свой загорелый нос:
Миг – и уже приелась
Молодость его, зеленость,
Яблочная незрелость.

КОФЕ. ИНТРОДУКЦИЯ

Насыпаем в турку и греем на огне...
Представьте первый день творенья.
Семь тридцать. Громыхает гром.
Всевышний не без раздраженья
с небес сползает босиком.

Ещё бы лет семьсот проспал он,
тревожа храпом пантеон,
но ждут дела: пустыни, скалы,
моря. И кто, если не он?

Шесть дней – в заботах и затратах...
Столетия – будни, краткий сон...
И только кофе. Этот запах!
Как будто мир уже спасён.

* * *

Я смотрю спектакль в Большом театре.
Тайный страх покоя не даёт:
Опасаюсь, что в финальном акте
Неприменно выстрелит ружьё.

Роль вещей на сцене внушена нам:
Ничего не создаётся зря,
И висящий ствол в начале драмы
Обещает выстрел из ружья.

Пусть конфликта не сулит начало,
Знаю: наготове западня.
И бессильной мыслью отмечаю,
Что ружьё направлено в меня.

БРЕДИТЬ ТОБОЙ

Этот бред настолько тих,
Что никто его не слышит.
Громче двигаются мыши
В лабиринтах трав сухих.

Имя сохнет на губах,
Обескрылено сомнением,
И лицо без измененья
Не приходит даже в снах.

Понимаю, отчего
Ты не весь со мною, где ты:
Ты развеян по предметам
Ожиданья моего.

Нет свободных дней и чувств,
Есть потерянное время.
Я одна, хотя со всеми,
Я в бреде, хотя молчу.

Но, безмолвие храня,
Этот бред до боли громок.
Рвутся ткани перепонок
У людей вокруг меня.

* * *

Хорошо им на юге, морщины шлифует песок,
Приглушает сомненья, глотает и мысли, и время.
А попробуй-ка пригоршню взять, да песочных часов
Верхний конус наполнить, увидишь гримасы движенья.

Коль движение – жизнь, почему я со страхом слежу,
Как секунды-песчинки сквозь пальцы на дно оседают?
Коль движение – смерть, как я годы – живой – пролежу
Мёртвым камнем замшелым, который вода огибает?

* * *

Я раскинул сети тополей,
Чтобы в них поймать тебя одну.
А наутро вынул из сетей
Бледную и полную луну,

Галька звёзд просыпалась из дыр,
Люди, перехваченные мной...
Был в сетях запутан целый мир.
Не хватало в них тебя одной.

* * *

Лежит печать Великого поста
На исхудавшем профиле луны.
Младенческие яркие цвета
Сменил оттенок нервной белизны.

Но тает снег, похожий на халву,
И даль до безмятежности чиста...
Я слишком беспорядочно живу,
Не чувствуя Великого поста.

ЖМУРКИ

Мой младший март ехидно звал
Его найти, поймать, осалить.
И я завесила глаза
Распущенными волосами.

Ловила мартовскую синь,
Мелькнувший запах, звук, движенье,
Пока не выбилась из сил
В весеннем головокружении.

* * *

Даже в поцелуе мы были на Вы.
Это значит, что ты не терял головы.

Это значит, всегда между нами лежал
То ли случай, то ли кинжал.

И когда ты, как райский Змей, ускользал,
Я опять оглядывалась назад
И читала на сброшенной чешуе
Поражений моих досье.

Я пыталась выбрать особый путь.
Воплощая ясность и чистоту,
Я добилась прозрачности наших тел:
Ты легко сквозь меня смотрел.

* * *

Досужий разговор идёт стихам не впрок,
И письма им вредят, как гувернёр младенцу,
Когда последнего отнимет мать от сердца.

Внимание крадут у неокрепших строк
И служба – ноющая боль в висках,
И шум весны – навязчивая свита.
Проходит день – и мысль навек забыта,
Неделя – и опять не создалось стиха.

* * *

Когда я пишу о том, как не пишется,
Я подобна зеркалу, полному пустотой,
Кошке, языком до лысины вышоркавшейся,
Яйцу, выеденному самим собой.
От малейшего толчка, как бутылка искристого,
Отрыгивающая пену и ни капли влаги,
Я выплёскиваю из себя банальные истины,
Которые лопаются, не коснувшись бумаги.

* * *

И рябой березняк, и кривящийся мостик беззубый,
И остовы травы, к сентябрю растраниженной цвет –
Голытьба. Нерачность. Скудость. И всё же мне любы
Те приметы Сибири, каким исчисления нет.

И когда с ней встречаюсь один на один в чистом поле,
Понимаю, что камня за пазухой не утаит.

А её красота? А богатство? Теперь до того ли,
Когда сам я иду без копейки, щербат и небрит.

* * *

В. В. Набокову

Кладбище как шахматное поле.
Партия отложена на время
За недомоганьем игрока.
Он не то что болен, приневолен
К партиям игры одновременной
И отвлѣкся от доски слегка.

А места вакантные остались,
Но фигуры чѣрные пылятся...
И фигуры белые молчат..
Поезд едет мимо. Разбираюсь
В логике ходов и комбинаций
И смущѣнно вижу близкий пат.

НАЧАЛО СЕНТЯБРЯ

Внезапно случились ненастные дни,
И падает дождь на макушки.
Старушки нахохлились, как воробьи,
А воробьи – как старушки.

Одни продают на базаре ранет
И семечки сыплют с прибавкой.
Другие... купили б, да мелочи нет,
Приходится тырить с прилавков.

Не мне от дождя бесприютных призреть,
Не мне презирать беспризорных,
В одном из карманов старушечья медь,
В другом – воробьиные зѣрна.

ВАЛЬСОК

Вертушка крапивница, дурнушка лимонница
осенними листьями прикинулись, скромницы,
и кружатся, кружатся под музыку Штрауса,
сплетаются в кружевце осеннего хаоса.

Смуглянка крапивница, беянка капустница
то мягко поднимутся, то плавно опустятся,
прикинутся падшими, в ногах распластаются,
от шарканья нашего тотчас же состарятся.

Забавы Набокова, загадки Тарковского
от самого блёклого до самого броского
цвета перемерили, остались неузнаны.
И падают с дерева под музыку, музыку...

АПТЕКАРСКИЙ МОСТ

Плывёт по речке женская шляпа,
Слегка подрагивают борта.
Ей вслед какая-нибудь растяпа
Глядит с Аптекарского моста.
Весьма заманчивая фигура,
Но восхититься – зеваки нет,
Лишь треплет запросто шевелюру
Июльский ветер, виновник бед.

* * *

Нет-нет, не это мне мечталось
Наедине с самим собой.
Слоями выросла усталость.
Но в глубине, под шелухой,
Как тайна за семью замками,
Как поросль, скрытая в зерне,
Зароком будущих свиданий
Ты остаёшься жить во мне.
Проникну ли в свои глубины,
Где, неподвластные годам,
Хранятся искренни, едины
Простые наши «нет» и «да»?

* * *

Дождь зарядил. И выстрелил картечью
Безжалостной, прицельной, затяжной.
Уже насквозь изрешетило плечи,
Уже расплылось липкое пятно...

Я чувствую, что я закончусь первой,
А дождь, как ярость, будет нарастать.
Солдат весны, он награждён за веру
Звездой восьмиконечного зонта.

ПОРЯДОЧНОСТЬ

Порядочность – это высокая нота.
Я слишком боюсь высоты.
Я плохо пою: с хрипотцой, с неохотой,
И в хоре тянула альты.

Что делать теперь? Брать уроки вокала?
Идти в подмастерье к певцам?
Просить кузнеца, чтоб сковал из металла
Сопрано под звон бубенца?

А может, трусливо безмолвствовать дальше,
Не петь про себя, от греха,
Чтоб звуком не выдать беспомощной фальши
И вдруг не пустить петуха?

ПОЧТИ ПРОЗАИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЛЮБВИ

Моя подруга (мудрая, кстати, женщина)
Считает: чтобы предмет стал твоим,
Нужно обнаружить в нём несовершенство и
В глубине души примириться с ним.

Она свернула зеркало у машины,
Гвоздём зацепила дорогое пальто,
До сих пор ни новой одежды не сшила,
И не мечтает о новом авто.

Отбитая ручка чашки не горе,
А штрих к портрету. Харизма. Нрав.
Каждая трещина – экскурс в историю
Ваших с ней питейных забав.

К чему я?

Хочу, чтоб ты любил моё тело
За каждый прыщик и неловкий жест,
Чтобы сглаживал углы. Чтобы я сумела
Стать перечнем лучших несовершенств.

ДЖАМБУЛ

Госпожа куркума, золотая царица юга,
На базарном лотке коронованная прилюдно
Стограммовым стаканом,
с твоим золотым запасом
Я смогу затмить самого короля Мидаса.

Присыпай мне ладонь щедрее душистой пылью.
Старый сад обчистили до корней. Чемодан сложили.
И узбек-погонщик, что сонно кричал: «Посу-у-да»,
И базар, и дом увёз далеко отсюда.

Закопаю детскую блажь в раскалённой почве
Возле старого кладбища. Клад карагач затопчет.
Где свидетели? Разбрелись – и поди найди-ка.
Только вы остались: анис, куркума, гвоздика...

КИРГИЗИЯ

(звуковой аккорд)

В Киргизии кургузые
Кибитки с карапузами
С горы сползают юзом и
Взбираются назад.
С зелёными арбузами,
Изюмовыми бусами
Везут повозки с грузами
Зарёю на базар.
Здесь звёзды обозримые,
Здесь не знакомы с зимами,
Меж розами и лозами
Проскальзывает день.
А мы лежим медузами,
Закрыв глаза картузами,
И загорает пузо, и
Одолевает лень.

* * *

Ночь трудилась в чёрном теле.
Были мы утомлены,
А теперь поём в капелле
Полуночных дрём земных.

Месяц в тесной колыбели
Дорастает до луны,
А под ним дитя в постели
Спит, причмокивая сны.

Воробьиные качели
На деревьях не видны.
И метели еле-еле
Чертят контуры страны.

* * *

Из пены, из пламени, света и влаги,
Недолгие сроки живут наши боги.
Пусть они праздны, бесплотны и благи,
Их недолговечность внушает тревоги.

Но их торжества несомненного миги,
Которые нам добавляют отваги,
Для смертных хранят долговечные книги
Из кожи, из глины, из трав и бумаги.

9 МАЯ

А если объявят, что выиграла войну
(так прямо и скажут: «выиграла» войну,
как про турнир по поло или прыжкам в длину),
Америка, Польша, Гана... – нужное подчеркнуть –
Что я тогда поставлю себе в вину?

Что не любила парадов помпезный вид,
хотя и мечтала детям «внушить», «привить»...
А чувство страны само не возрастёт в крови:
передаётся воздушно-капельным, как ОРВИ.

К тому же я не пикировалась в сети,
позволив любому опасную чушь нести.
Пока отречение перерастало в стиль,
я пожимала плечами: их бог простит.

Я думала: правда всегда сложнее, чем на первый взгляд.
Когда мой младший торжествовал, что повержен гад,
я отвечала «он тоже не виноват»,
в дискуссионный клуб обращая военный ад.

И – да, я боялась показывать детям зло.
«Иди и смотри», «Аушвиц»... Тяжело.
Девятое Мая – лишь празднично, за столом.
Гвоздики, «Катюша», утренник. Всё прошло.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Столько человек,
портретов и перетяг..
Даже белый снег
выкинул белый флаг.

* * *

Эпоха блистательных дилетантов,
Несущих себя от страны к стране..
Парадный костюм, заграничный фантик,
Неужто ты скроен как раз по мне?
Ужели за дерзким твоим шуршаньем
Я косноязычие скрыть могу?
И мне действительно разрешают
Вливаться в авторитетный гул?
«Я знаю, что я ничего не знаю» –
Античных самокопаний бич
Навяз на зубах.

Ты один – хозяин
Слепящей славы. Не мнись. Не хнычь.
Всегда находятся те, кто знает,
Что их незнания верней твоих.
Они прокормят. Вещай, дерзай, и
Не смей быть робок, не смей быть тих.
Ты прав, старик, здесь страдать не надо,
Позорна усталая нищета.
Ускорь шаги. Избегай преграды –
Порока умственного труда.

МЕЛКИЙ ВЕС

Монета, круглая дура,
Забытая на столе,
Надеется стать купюрой,
Поднакопив нулей.

Когда показному блеску
Доверия больше нет,
Ей может прибавить веса
Лишь груда других монет.

Черты её современны,
Ни бронзы, ни серебра,
Фантазий проникновенных
Не выточишь из ребра.

Зарвётся, но безуспешно –
Повалится в грязь лицом.
Нет выбора: снова «решкой»,
«Решкой», «орлом», «орлом»...

Миллионы падений оземь
Приблизят ли хоть на шаг
Дешёвое пустозвонство
К тайнописи бумаг?

* * *

Человечество.
Кажется, это не лечится.

В РОЩЕ

Это ты утверждаешь, что ты – постоялец
В их сосновой усадьбе, на птичьем подворье.
Постоял и ушёл. Только ветка сломалась
Под ногой: треск прорехи в чужом разговоре.

А синицы бормочут, что это вторжение:
Затоптать шелуху, тишину опорочить
И прервать их свободное перемещенье
Среди беличьих троп, среди кладок сорочьих.

Впрочем, белки готовы явить снисхождение
(Белки сроду к земле были ближе, чем к небу),
Принимают голодной порой предвесенней
Плату жмыхом рябиновым, дарницким хлебом.

Но ты пуст! Ты пустой, как заезжий мошенник,
И с тропы проторённой сошёл наудачу.
Тебе нечем платить за постой, за вторженье.
Снова нищенский счёт их никем не оплачен...

* * *

Никто не чувствует прохлады,
Освободившей от надсады,
Когда в валежнике за садом
Нашёл подтаявшие льды.

Никто не видит водопадов –
Ревущей толщи вне обхвата,
Что разметала без возврата
Стоячие пласты воды.

Никто не слышит те раскаты
Грозы, которые чреваты
Не только ливнями и градом,
Но чередой внезапных бед.

Никто не чувствует прохлады,
Никто не видит водопадов,
Не слышит грозových раскатов –
Стихий, играющих в тебе.

* * *

Сухое дерево дождю не радо.
Брезгливо сплёвывает капли с губ
И на акации, каштаны рядом
Глядит насмешливо. Толкает грубо.

Они не могут скрыть своей истомы,
Словно любовники, исполнив страсть.
Они напоены густым озоном,
И ветви – ниже невозможно пасть.

Они, бесстыдно развалясь, смеются –
До непристойного: пусть видят, пусть!
А в нём – лишь скрип.

И капли отдаются
Внутри, как резкий прединфарктный пульс.

* * *

Как хорошо, что ты не изменилась,
Как будто годы избранных щадят.
Как будто есть таинственная милость,
Способная освободить тебя,
Решить, что ренессанс твой будет долгов
И красота бездонна, трать и трать.
Как будто вечность – чуткий археолог –
Готова даже пыль с тебя сдувать.
Как будто невдомёк судьба чужая:
Часы, таблетки, трости – глупый хлам...
И я, в тебе желанно отражаясь,
Отказываюсь верить зеркалам.

* * *

Натке

Подарок друга, что давно в отъезде,
Любовь моя – великолепный трёп.
Каноном, в склад и в лад, дуэтом, вместе.
Без меры, перебивами, взхлёб.

Продолжить, шарф мотая в коридоре.
Продолжить на ступенях, у перил.
Перекричать вокзальный шум и горе,
Поскольку дома не договорил.

ПРОГНОЗ

Черника отдаёт больницей,
А слива уксусом разит.
Когда тебе «давно за тридцать»,
И счастье можно исказить.

Когда тебе давно за сорок,
То вкус теряет остроту,
И не достаточно озона,
Чтоб сочный летний день вдохнуть.

Полжизни – мёртвому припарка...
Зато, когда тебе за сто,
Жизнь возвращает все подарки
С внезапной детской добротой.

* * *

На подброшенном мяче
Жить, не чувствуя движенья.
Жить в сияющем луче –
И не замечать свеченья.
Только полным вдохом жить –
И не ощущать дыханья...

Мы с тобою, стало быть,
Очень чёрствые созданья.

* * *

Ольге Соколовой

Москва пропитана стихами,
Они сочатся.
Цезуры точатся о камень,
Ходы ветвятся.

Стихи становятся помехой
В метро – невольно –
И добавляют звукам эхо
На колокольнях.

Они на хлам непозитичный,
Как блеск на веки,
Ложатся: в ресторанном киче,
В салонах, в ЖЭКе...

Давно ль поэты рвались прочь, и
Тянулись сани...
Теперь стихи – московский почерк,
Её дыханье.

Но переплавке в амальгаме –
Нет, не подвластны.
И все труды «писать стихами»
В Москве напрасны.

ПОСЛЕ СЕМИНАРА ПО ПОЭЗИИ БРОДСКОГО

Столица мчится из тени к нам,
Златую пасть распахнув.
Приходишь в недоумение,
Увидев внутри луну,
Как круглый штамп стоматолога
В венозной кайме чернил,
Как пломбу на зубе города,
Который насквозь прогнил.

* * *

Кроссворд зимы разгадан. В нём едва ли
Найдёт пустую клетку человек.
Машины мчатся – по горизонтали.
Следы плетутся – по горизонтали.
Вороны кружат – по горизонтали.
А вертикали заполняет снег.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

1

День разграфлён процедурами, кафельная стена:
Квадрат – полоса ожидания – очередной квадрат...
От утренней температуры до слишком раннего сна
Прислушиваемся к ранам. Уверены: не болят.
Лишь ночи глумятся, наглые (на публике мы бодры,
Стекаем к дверям больницы, скапливаясь, как ртуть).
А ночью... если есть ангелы на острие иглы
Миллилитрового шприца, – они бы могли подуть.
«Мама придет утром, а сколько часов сейчас?»
Медсёстры, давясь зевотой, послушно идут на рёв.
Но бесполезно хоть внутрь, хоть пластыри назначать
В питомнике, где заботой вытеснена любовь.

2

В соседней девятиэтажке шесть окон светится уже,
Охранник вышел из подъезда, на куртке слов не разберу.
Условный голубь покидает дыру в чердачном этаже,
Перелетая для чего-то в аналогичную дыру.

Цветных детей ведут за ручки, подтягивая к небесам,
А те, что дотянулись, гнутся под грузом школьных рюкзаков.
На подоконнике седьмого стоит мужик в одних трусах,
Ему везёт, он моет окна! Своё окно – своей рукой.

Заводят сонные машины, спешат на собственных ногах,
Вдали деревья в полном теле, не облетевшие пока.
А глянешь вниз – кресты на «скорых», как пятна крови на бинтах,
И дверь на вход, но не на выход, не успеваешь до хлопка.

3

Как жизнь в моё отсутствие полна
С той стороны больничного окна!

* * *

Нищая почва, прожжённая до сердцевины.
Нищие пальмы в лохмотьях сквозной мешковины.
Нищее небо без признаков тучного стада.
Нищие люди – обманщики и казнокрады.

Море исправно налоги свои собирает.
Полноголосое,
Золотоносное,
Жемчугом тканное,
Тысячегранное,
Море владеет богатствами этого края.

ССОРА С СЫНОМ

Как тяжело идти мне налегке,
Не чувствуя твоей руки в руке.

БАДМИНТОН

Але

Воланчик в развёрнутом небе.
Глаза поднимать горячо.
Под солнцем почти не заметен
Сверкающих нитей пучок,

Затянутый узел – на память
О том, как бывает тепло,
О том, что позволено падать
И снова вставать на крыло.

Воланчик закручен спиралью
И силой богов наделён.
Он прочерком быстрым стирает
Любую границу времён.

С ним прошлое – импульс подачи,
Грядущее – пряная ложь:
Мол, промахи мало что значат,
Ты точно теперь попадёшь!

Мечты о Испании

ПОДРАЖАНИЕ ЛОРКЕ

Темнеет. Сирень отцветает в углу.
(Прижавшись виском к стеклу)

И запах стекает ручьём по стволу.
(Прижавшись виском к стеклу)

Разбросаны кольца дождя на полу.
(Прижавшись виском к стеклу)

Быть может, я так и проснусь поутру,
Прижавшись виском к стеклу.

ВЕЧЕР С RASO DE LUCIA

В сумраке платьев твоих, Карменсита,
День заблудился, и выхода нет.
В трепетном шёпоте топот копыта
Соткан с токаттой твоих кастаньет.
Время, пространство – в одном хороводе.
Не удержать, не постичь, не разъять.
И развивается тема мелодии,
И развивается женская прядь.
Прошлых и будущих мыслей узоры,
Определённые вмиг по руке,
Для развлечения вздорной сеньоры
Собраны в узел на пёстром платке.

Ты – вся гармония, та, Карменсита,
Что в окружающем растворена.
Счастлив внезапно тобою открытый,
В нём остаются твои имена:
Страсть. Обнажённость. Дыхание танца.
Отблеск далёких костров на стене.
Голос испанца и гордость испанца
Каплей дрожат на гитарной струне.

ГРАНАДА. ОСЕНЬ

В Гранаде тоже чувствуется осень.
Земля тепло дневное не хранит.
Каштаны в парке, ударяясь оземь,
Костяшками отщёлкивают дни.
Всех солнце к югу, к Гибралтару манит,
Лишь тени пред церквями пали ниц.
Экскурсии крылатыми платками
Напоминают перелётных птиц.
Всё меньше едут тратить, греться, плавать...
За лето устарела старина.
И на развалах у арабских лавок
Взывает к вам последняя цена.
Узор Гранады походя расхватан.
Но всё равно, по склонам до низин,
Как зёрна перезрелого граната,
Рассыпался бессмертный Альбайсин.

* * *

Скатилось солнце в бокал вина.
Сеньора вскричала: «Ай!
Букет испортит. Прожжёт до дна.
Скорей его вынимай!».
Болталось солнце туда-сюда,
Как скользкий, густой желток,
Пока щипцами для колки льда
Сеньор его не извлёк.
Добычу стряхивал солнцелов,
Брезгливо отставив кисть.
А солнце где падало, там росло,
И лозы его плелись.

Светился радостно каждый ус,
Теплел аромат земной...

Сеньора сказала: «Приятный вкус.
Умеют они – вино».

МОЙ ПЕРВОМАЙ

Сегодня улицы пустынные,
Окрест расчерчены ветрами.
Река по-стариковски стынет,
Жалеет, что разделась рано.

Подвижник-кран семиэтажный,
Чуть отклоняясь для обзора,
Накладывает хром и сажу
На холст, запечатлевший город.

Нет, фон не серый и не сизый,
Не верь поклёпам голубиным.
Смотри, как по пустым карнизам
Сухая кисть прошла кармином.

Гляди, как кобальт проступает
Мазками тополиных почек,
Как света охра золотая
То здесь мелькнёт, то там проскочит.

Теперь от холодов окрестных
Освободишься ты едва ли.
Нам не покинуть это место:
Нас в нём уже нарисовали.

ВЫПУСКНОЙ

Пока подрастают дети,
мы можем играть в игрушки,
которые покупали
якобы им в подарок.

Ведя к совершеннолетию,
их музыку можем слушать,
в металле, как в гулком зале,
отстукивая удары.

Ещё подрастают – можем
в их брючины ноги втиснуть,
себе отхватить рубашек,
оправить рукав и ворот...

Когда они старше стали,
мы можем носить их мысли,
осваиваясь и даже
гордясь, что обновка впору.

* * *

Мой город, что для многих смог
Стать воплощеньем райских кущ...
Здесь гнутый, ржавый водосток,
Как одеревенелый плющ.

Здесь, словно палая листва,
Шуршат газеты под ногой.
И человек царит едва ль:
Он тот же, серый и нагой.

Здесь телефоны вразнобой
С утра чирикают. И – да! –
Из этих дебрей нас с тобой
Не прогоняют никуда.

* * *

Я не успела заметить, с какого года,
С какого «-изма», стремящегося к нулю,
Уже смешно, архаично, совсем не модно
Говорить о любви вот так: я тебя люблю.

В почёте метафорические кульбиты,
Сравнения в степени, вычурный перифраз.
Мы ищем слова табуированные, забытые
(В идеале – специально созданные под нас).

О цвете глаз заикнуться теперь неловко.
Про запах или улыбку – поди посмей!
И всей моей отличной артподготовки
Не хватит, чтобы слово попало в цель.

Но ты между делом читаешь посты в Фейсбуке.
Тебе интересно, чем тешится праздный люд.
Так вот. Цвет глаз. Твой запах. Улыбка. Руки.
Из нового – ничего.
Я тебя люблю.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВКУС

Поэт просил знакомого поэта
Дать список книг для чтения на лето:
– Ведь ты начитан! В курсе всех новинок.
Так назови хотя бы половину.
– Я перечислю те, что мне дороже,
Но ты в ответ мне посоветуй тоже.

Итак, они друг с другом поделились
И – близости душевной подивились:

Один поэт советовал собрату
Всё то, что сам насочинял когда-то.
Другой включил в число рекомендаций
Лишь собственные книги. Штук пятнадцать.

* * *

И опять я в такси один, на втором сидении.
Открываю глаза – огни. Закрываю – темень.
Город манит лунатиков, мреет кометой Галлея.
Прочь, дешёвая магия. Верю: во мне светлее.

Я ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ

Что такое «обживать»?
Это значит – обвивать
Чай с душицею – тряпицей.
Двери в зелень одевать.

Что такое «обживать»?
Это значит – обшивать:
Накидушки – на подушки.
Покрывало – на кровать.
Что такое «обживать»?
Это значит – ожидать
И торчать свечой в окошке,
Ветром щёки обжигать.

Что такое «обживать»?
Это значит – оживать!
И плести, как на коклюшках,
Тёплой жизни кружева.

Стихотворения для детей

СПЕШИ, ВЕСНА!

Спеши, спеши, весна, к июлю.
Суши, суши в пути ручьи.
Круши, круши кордон сосулук.
Паши, паши поля свои.
Туши, туши в сугробах искры.
Маши, маши, встречай стрижей.
Дыши, дыши легко и чисто.
Пляши, пляши, тепло уже!
Верши, верши на ветках гнёзда.
Кроши, кроши озёрный лёд.
Глуши, глуши напев морозный.
Спеши, спеши, лети вперёд!

ВЕСЕННЯЯ СТРИЖКА

Как обросли дома за зиму!
Сквозь космы им не видно дня.
Для красоты необходимо
Хотя бы чёлки подровнять.

Дома сидят с небрежным видом
В сугробах-креслах за спиной,

А вместо шёлковых накидок
Обвиты ленточкой цветной.

И суетится парикмахер,
Озябших не жалея рук,
Он убирает пряди махом –
Лишь клочья белые вокруг.

Ну вот. Состригли, смыли, сдули...
Неузнаваем каждый дом
Без грязных, слипшихся сосуллек,
Без бахромы под козырьком.

Рад мастер! И в словах прохожих –
Заслуженная похвала:
«Как будто город стал моложе!
В чём дело? А, весна пришла!».

РАНЕНый РАНЕЦ

Разболелся школьный ранец.
Ранен ранец-оборванец.
Врач пришёл лечить больного.
Осмотрел его сурово,
Рот несчастному разинул,
Посветил лучом в глубины,
Подержал его за ручки,
Разглядел все закорючки,
И сказал:

«Диагноз ясен.

Ранец гимназиста Васи
Поднимал большую тяжесть,
Заработал грыжу даже.
Он изранен, искурочен
В битвах, честных и не очень».
Врач заметил, что к тому же
Ранец, кажется, простужен:
Вероятно, вместе с Васей
Он вчера в снегу валялся.
Ранец бледный, невесёлый
И не хочет больше в школу.

«Обеспечьте отдых другу:
Положите в дальний угол,
Над душой его не стойте,
Одеялами накройте».
Отдохнёт герой немножко,
Будет в погреб за картошкой
Ходить.

СТИХИ-МУРЛЫКИ

Мурлыкать умеет море,
Облизывая сандалии.
Ему вертолёты вторят
Мурлыканьем в синей дали.

Мурлыкать умеет голубь,
Гуляющий в одиночку.
Мурлыкать умеет голод,
Свернувшись во мне клубочком.

Мурлыкать умеют двери,
Разболтанные немножко.
А также (Ты не поверишь!)
Мурлычут КОТЫ и КОШКИ.

ПОРА ДОМОЙ

Не волнуйтесь, волны,
Летом мы довольны.

Не кручиньтесь, кручи,
Город нам наскучит.

Не горюйте, горы,
Мы вернёмся скоро.

Береги их, берег:
Пляжи, сосны, белок...

ПОХОЛОДАНИЕ

Жара спалá, спалá, спалá и спáла.
Прохлада долгожданная настала.

ГОРОДСКИЕ ГРИБЫ

Целый день – дожди стеной.
Ливень, ливень проливной.
Город засветло подёрнулся тяжёлой пеленой.

Площадь, улица, бульвар,
Свежий чёрный тротуар
Обросли густой грибницей, как пенёк, что очень стар.

Но грибная полоса
Не такая, как в лесах:
Шляпки в клетку и в горошек, да пошире колеса!

Подберёзовики? Нет!
Подосиновики? Нет!
ПОДЗОНТОВНИКИ обычные являются на свет.

Их не съешь, как шампиньон,
Не положишь их в бульон,
Подзонтовник быстро вянет, очень короток сезон.

А под шляпкой у грибка
Кто-то вместо червяка:
Грустный взгляд, сырые ноги и холодная рука.

НАВОДНЕНИЕ

Дождик-дождик, ты не лей!
Всё промокло до корней.
На корнях сидит рачок,
Сосёт мокрый кулачок.
Рак остался без жилья
И гостит у муравья.

ПОСВЯЩЕНИЕ БОГАТОЙ, УРОЖАЙНОЙ ЮЖНОЙ ДЕРЕВНЕ

Ах, сколько птах!
Ух, сколько мух!
Ох, сколько блох!
Эх, сколько всех!

ГОЛОСА КАЧЕЛЕЙ

Одни качели баят ворчливо:
«Давай, приседай, поднажми, ленивый!».

Другие качели скрипят недовольно
(Наверное, старым суставам больно).

Третьи восторженно распевают
Песни взмывающей птичьей стаи.

Четвёртые — рядом, у нас под боком –
Молчат, задумались о высоком.

А наши – визжат и зубами клацают:
Боятся
ТАК
ВЫСОКО
КАЧАТЬСЯ!

ВИЛКИ И БУЛКИ

В городе Хватинск, в Съестном переулке
Встретились затемно Вилки и Булки.

Булок характер – прекрасный и сдобный,
Вилок характер – зубастый и злобный.

Вилки внезапно на Булок напали,
Двух облизали, одну покусали.

Булки сначала мялись, краснели,
Но осерчали и вмиг зачерствели.

Стали ругаться, лопаться с шумом,
Метко плевать в Вилочку изюмом.

Серые Вилки, как серые волки,
Булочку ловили за пышные холки.

Булочки спасались с бранного поля
С криками: «Братцы, нас накололи!».

Горки крутые их укатали,
Вилки стальные их не догнали.

Вилочку вожак оскалился злобно:
«Жаль, я опять остался голодным!».

Стая прогнулась, кланяясь низко:
«Может, пойдём, половим Сосиски?».

ТАЛАНТ

За одно из сочинений,
Длинных школьных сочинений,
Получил я «тройку» с плюсом,
Только я не виноват.
Вероятно, я не гений,
В сочинительстве не гений,
Очень жаль, но я не гений,
Всего-навсего талант.

ХОРОШИЙ ПОЭТ

У хорошего поэта
Есть удачных три стиха,
А всё остальное – это
Чушь, труха и чепуха.

Екатерина
СЕРДЮК

Стихотворения



Екатерина Сергеевна СЕРДЮК

Место рождения (1989) и всего последующего обитания – город Томск. Младшая дочь в многодетной семье пережила трудное детство вместе с двумя старшими братьями и с музыкой, которой успешно училась в томской ДМШ № 1. Рано ушла из дома в самостоятельную жизнь – ещё будучи школьницей, подрабатывала «на кусок хлеба». А по окончании двух школ, продолжая трудовую деятельность, заочно окончила отделение журналистики ТГУ (как-то неожиданно сказались гены отца, томского журналиста). Ещё один «генный след» в её биографии – поэзия, которой в семье хватало (родной дядя и старший брат отца Валерий Сердюк – поэт далеко не местечкового уровня, и мама Ирина по жизни довольно ярко себя на этом поприще проявила).

Катерина и в творчестве пошла своим самостоятельным путём – на нём «присутствовали» авторская песня под гитару и не только, занятость в музыкальных группах, и, конечно, стихи, ещё в тинейджерстве оформлявшиеся ею (опять же самостоятельно – уже в роли редактора и оформителя) в маленькие самиздатовские книжки. Это творчество суммарно вылилось в яркую поэтическую драматургию книги «На грани марта» (2014), по достоинству оценённую в профессиональной среде литераторов: через год Катерина Сердюк была принята в Союз российских писателей. После чего продолжает так или иначе жить и творить в родном городе...

ГДЕ-ТО НА ТВОЁМ ПЛЕЧЕ

ПО ПРЯМОЙ

Под серым небом
[весенним ливнем]
стою и плачу – смешно самой.
Теперь свободен от неизбывной
тоски мой путь по сплошной прямой:

ни ям, ни рытвин, ни поворотов –
такой предательский автобан.
А я шагаю,
и я не против –
ведь он мне свыше зачем-то дан.

Чеканить шаг ли,
идти с почётом,
ползти обочиной, как змея –
к тому концу доберётся кто-то,
но это буду уже не я.

В кармане счастье,
а мне всё мало,
а мне бы – множить свою печаль.
Меня, похоже, уже не стало –
без гильотины, без палача.

Мне улыбнулась любовь до гроба,
а я всё плачу – смешно самой –
о том, что было,
и что могло бы,
но не случится уже со мной.

ПЕТЬ И ПАДАТЬ

Я пела на крыше нелепые песни
и падала мысленно в зелень листвы.
Казалось мне, так будет лишь интересней –
а что бы об этом подумали вы?

Я пела и падала в город забавный,
где люди как люди, во все времена.
Движение вечное тихо и плавно
катило меня, как кораблик весна.

Я пела всё громче и падала в звуки,
и знала, что лучше не будет нигде...
Но голос пропал. И бессмысленно руки
искали опору в беззвучном дожде.

ТВИН ПИКС

Уравнение с неизвестной [икс] –
неизвестной, но без конца искомой:
этот город смахивал на Твин Пикс
ещё до того, как он стал мне домом.
У кого-то – белый в кармане брюк,
у кого-то – горы взрывного спайса.
Избегать ошибок – дешёвый трюк.
Это значит: детка, не зарекайся.
Не садись за руль, не считай столбы
на неосвещённой пустой дороге,
на пути туда, где возможно быть
кем угодно, только не недотрогой;
собирайся в колледж, пиши стихи,
демонстрируй правильность и прилежность,
ограничься только полусухим –
но процесс запущен, и неизбежно
уравнение с неизвестной [я]
оборвётся где-то на грани марта.

Это знаешь что?
Это Питер Мартелл
наконец нашёл меня у ручья.

СЕЗОН ДОЖДЕЙ

Ну, с первым дождём.
Его крупные капли я перебираю, как чётки,
и только с началом сезона дождей
себя ощущаю живой.
Когда я впадаю в истерику,
на автомате включается чёткость,
и я начинаю ровнее дышать
и думать уже головой.

Но даже при ясности мыслей и снов
всё же многого не понимаю:
ну как это – близко,
и с кем это – в такт,
и где это – пристань и дом?..
Сажу на диете – не пью, не курю,
исключаю еду и трамваи,
и в то, что когда-нибудь это пройдёт,
не верится даже с трудом.

А летом мне светят чудесные ночи
на маленьком томском вокзале,
романтика улиц, асфальтовый пол
и голода вечная власть.
Бывает и хуже, я знаю,
я видела это своими глазами.
Но всё же, когда ты стоишь на краю,
сложнее шагнуть, чем упасть.

А солнце всё ближе,
в разгаре весна,
и должно бы всё проще казаться –
желания радужней,
ярче цвета
и чуть бесшабашней душа...
Я сбилась. Мне кажется, в тысячный раз
за мои бесконечные двадцать
всё рушится, всё превращается в пыль –
а я не могу помешать.

ПУНКТИРОМ

...Мне четыре. Я покупаю хлеб,
как всегда, дотошно считаю сдачу.
Я хочу быть ведьмой, чтоб на метле,
и ещё конфет, но не буду клянчить.
Разрисован мелом асфальт у ног –
там, конечно, солнце и пара кошек.
Я приду и стану смотреть кино
про таких же маленьких глупых крошек.
Я люблю варенье и рисовать,
и пою, когда ухожу в кровать.

...Мне двенадцать. Я продолжаю быть,
по ночам пугаясь любого звука,
по дороге в школу считать столбы
и Настюху лучшей своей подругой;
на уроках руку всегда тяну,
отвечаю громко и как по нотам,
я люблю Бивальди и тишину,
ненавижу Моцарта и енотов,
и гоняю гаммы по часу в день,
не нуждаясь в мультиках и еде.

...Мне пятнадцать. Вяло бреду домой.
Мне разбили голову в школьной драке.
И пускай победа была за мной –
я сжимаю зубы, чтоб не заплакать.
Дома тоже битва, но – кто бы знал?.. –
за свободу действия, мысли, слова...
Мимо уха бойко летит пенал.
Слишком рано, мама, я не готова.
Я прикинусь маленькой и немой.
Но однажды время придёт. За мной.

...Девятнадцать. Сутками у станка.
Не война, кажись, и не в третьем мире –
просто выбор мой невелик пока.
Я сама снимаю себе квартиру.
Я хожу в обносках и каши ем,
с переходом плавным на хлеб и воду.
И ещё мне хочется жить. Зачем?
Чтобы всё не зря – типа, зов природы.

Я боюсь отчаянно темноты
и люблю котов (и меня – коты).

...Я почти закончила универ,
вот ещё полгода – и я с дипломом.
Я хочу уехать туда, к Неве.
Я хочу быть нужной и не бездомной.
Я сходила замуж, пора назад –
возвращаться, краситься, поправляться;
и плевать, что некому рассказать,
что ещё чуть-чуть – и готова сдать.
Я устала верить. *Мне двадцать два* –
и я уже, по-моему, не жива.

БЛЮЗ НОМЕР ОДИН

Третью неделю расписаны планы на вечер.
Третью неделю я знаю все ваши маршруты.
Блюз – это повод для новой нечаянной встречи
[будто бы повод действительно нужен кому-то].

Будто бы мы без того не играли ночами
что-то спонтанное, бьющее в самое сердце.
Я одиноко молчу. Пожимаю плечами.
Блюз – это значит, мне нужно немного согреться.

Мир расплывается, в землю уходят все краски.
Нам наплевать бы – и снова, как будто сначала...
Блюз – это просто тоска по несбывшейся сказке
[будто бы сказки когда-нибудь раньше сбывались].

Я воспалённую душу растерянно прячу,
всё понимаю – никто не придёт, не залечит.
Флейта, гитара и голос – и в ночь, наудачу.
Блюз – это значит, мне хочется плакать – а нечем.

Третью неделю живу не по мыслям – по нотам.
Третью неделю мы больше, чем просто знакомы.
Блюз – это просто какая-то точка отсчёта,
после которой всё будет совсем по-другому.

ФОРС-МАЖОРЫ

Форс-мажоры придуманы не для нас,
всё случится по графику, точно в срок.
Будут крики навывлет и соль из глаз,
будешь пальцы наматывать на курок,
буду сопли наматывать на кулак,
будем нервы натягивать вместо струн,
будут Штуттхоф, Освенцим, Дахау, ГУЛаг,
апокалипсис, швах, Götterdämmerung.

Будет голос – до хрипа, до немоты,
будут палки в колёса, под хвост шлея,
будет кто-то чувствительнее, чем ты,
будет кто-то решительнее, чем я,
будут снова костяшки лететь к стене,
будет выжженный город – горящий Рим,
будет что-то пульсировать там, в огне –
чем докажешь, что это не мы горим?..

Будет время, закрученное в спираль,
разворачивать щупальца, бить кнутом,
будет всё – и зима, и пустой февраль
не по-женски из горла, но всё – потом.
А сейчас ты сидишь у меня внутри
и за ниточки дёргаешь, как дурак, –
и сиди. И ни слова не говори,
потому что пока ещё не пора.

НИ ДО, НИ ПОСЛЕ

Ни до, ни после, ни даже между
не будет больно, не будет страшно.
Я опускаю свой щит бумажный
и меч – заточенный карандаш.
Всё станет точно таким, как прежде –
до первой скуренной сигареты.
Одна беда – даже в темноте ты
мне восемнадцати лет не дашь.

А это значит – уходит время,
уходит в штопор незримой тенью –
мой врач, учитель мой неизменный,
мой персональный маркиз де Сад.
Но я хочу убежать от тени
и спрятать сны в телефонной будке –
и здесь кончаются предрассудки
и начинаются чудеса.

КОГДА-НИБУДЬ

Ночь наступает, скребётся в окно обещанием
выжить в любом умеренно-чёртовом случае,
вспомнить, как мы умирали
в картинном молчании
лишь потому, что фразы давно наскучили.

Просит все силы потратить на целенаправленность,
стать для тебя случайной, но незабываемой...
Было бы, в общем, неплохо,
но как-то неправильно –
встретить тебя в одном из последних трамваев.

Больше не верю в такие слепые случайности.
Падаю вверх, в безбрежность небес податливых –
слушать твой шёпот,
размноженный эхом до крайности:
«Мы же ещё когда-нибудь
будем
счастливы?..».

ИДИЛЛИЯ

Все говорят, что мы – не пара,
что слишком много разных «но»,
что мы похожи как гитара
и первосортное бревно, –
но я-то знаю: все неправы,
готова клясться на крови,
что все твои ко мне предъявы –
лишь проявления любви:
«Сегодня в супе мало соли,
в печенье много имбиря»...

Бегу отмачивать мозоли
в твоей джакузи. Втихаря.
Ну что ты, нет, какая шуба –
ведь куртке только десять лет...
Я на работу, ты из клуба –
ну здравствуй! Завтрак на столе.

Изобрази теперь усталость,
брось томный взгляд на свой портрет.
Я о тебе всю жизнь мечтала –
поставить в угол и смотреть,
сдувать пылинки, раз в неделю
водой горячей обдавать,
и не давать заняться делом,
и даже вовсе – не давать!..

Уже четвёртый день мы вместе,
а значит – точно навсегда.
Всё по порядку: я невеста,
жена, вдова... «Согласна?..» – «Да!»

И, без препятствий, как по рельсам –
в довольно скучный хэппи-энд:
ты едешь за костюмом в Strellson,
а я – за платьем в Second Hand.
Совет, любовь. И в счастье зыбком –
мой, пробирающий до слёз,
извечный запах эпоксидки;
твой неизменный Hugo Boss.

НЕ ПРОЩЕ

Отчего-то не проще уйти и забыть, –
да плевать – всё равно всех не вырветь слёз.
И к чему мне дано это право любить,
если я им – как брызгами из-под колёс?

В этом, может, и есть свой отчаянный шарм,
но – дождливо внутри, да и плащик промок.
И к чему мне дано это право дышать,
если лёгкие сжаты в надёжный комок?

Это даже забавно – по кругу гонять
и теряться в цепи бесконечных реприз...
Но к чему мне дано это право стоять,
если я оступаюсь
и падаю
вниз?

И ТАК БЫВАЕТ

Больное утро. Звонишь кому-то,
считая трупики сигарет.
Смеяться глупо – вот-вот наступит
тебе на горло твой штатный бред,
наступит крепко – ни до розетки,
ни до верёвки не доползти,
два пальца в рот не помогут рвоте –
у этой осени новый стиль.

И остаётся – плевать в солнце,
подальше в небо забросить ключ,
давиться ядом, бросая взгляды
на морду в узком разрезе туч;
бродить по городу вслед за скорой,
ходить в театры, сходить с ума, –
раздавит осень анабиозом.
Гораздо проще, когда зима.

Иловишь чувство – вот-вот отпустит,
сейчас всё станет как раньше, ну!..
Но всё по новой – тебе хреново,
и кто ответил бы, почему.
Такое дело – заело плеер
на треке «твой перманентный бред».
И так бывает – заснёшь в трамвае,
а просыпаешься в декабре.

ВЗАХЛЁБ

эта странная зима
без конца и без начала
ничего не обещала
и опять свела с ума

у меня внутри тобой
каждый чёртов сантиметр
и всю гуляет ветер
между правдой и судьбой

ты мне снишься по ночам
мы с тобой в одной маршрутке
чёрт бы знал какие сутки
ищем личного врача

я боюсь тебя спугнуть
я пытаюсь верить рунам
на гитарах рвутся струны
я опять иду ко дну

завтра клюквенный пирог
мне придётся стать домашней
и теперь уже не важно
сколько пройдено дорог

и потеряно ключей
и рассказано историй
лишь бы мне проснуться вскоре
где-то на твоём плече

А ТЫ КАК ДУМАЛ?

Ты думал, ты чёткий – всегда при мнении;
и недосыгаем твой потолок;
какие неясности и сомнения –
ты с ходу любой прошибаешь блок.
Ты думал, ты сам себе пишешь правила
и их нарушаешь ты тоже сам,
но что-то удача тебя оставила
и стихли знакомые голоса.

Не пишутся песни, не пьётся лишнее,
молчит телефон, в кошельке голяк.
И самое время просить всевышнего,
чтоб сделал хоть как-нибудь, но не так.
Тебе бы подальше засунуть гордость и,

скрепив своё сердце, шагнуть за край,
но даже теперь ты считаешь с твёрдостью,
что в этом и есть самый верный кайф.

Ты думал, тебе одному так хочется
ловить себя за руку на мосту,
до колик тащиться от одиночества
и не вылезать из своих простуд,
гореть фонарями, лететь трамваями,
шуршать листопадами, ветром петь,
в промёрзшую землю вбиваться сваями
и из-под земли это всё терпеть?

Ты думал, нет круче парней, чем ты сейчас,
и все свои пули ты ловишь сам?
Да вас таких сотни, нет, даже тысячи,
отчаянно молятся небесам:
пусть кто-нибудь вспомнит, приедет, выпросит,
куда ты пропал и чего ты ждёшь,
а ты вот так пафосно в воздух выпрыснешь:
«Без вас проживу», – и шагнёшь под дождь.

Друзья твои, в общем, ребята смелые,
и многое сделали для тебя,
но просто устали долбиться в стену – и
достали для дружбы других ребят.
А это ведь было твоё последнее,
неужто нельзя без понтов, дружок?..
И вот ты лежишь на своих сомнениях
и взглядом втыкаешься в потолок.

БЕЗ ТОЛКУ

Всё это кем-то за нас придумано –
мы не могли бы так зло и грубо
петь о себе под чужими струнами,
ветром целуя чужие губы.
Ведь не бывает таких случайностей,
чтобы опять проняло до дрожи.
Толку, скажи мне, бросаться в крайности,
если за краем – опять всё то же?

Толку, скажи, признаваться в верности,
если наутро – в чужих постелях?..
В шоке от собственной эфемерности
в теле ношу твои пули-стрелы,
можно контрольный – пустыми фразами,
сбросить потом в глубину [Гольфстрима]..
Тихо сползаю по стенкам разума,
смотришь – насквозь или просто мимо.

Я разлетаюсь под псевдовзглядами
сотней отчаянных снов-осколков.
Толку, скажи мне, меняться правдами,
если в итоге – на разных полках?
Мне бы сойти вот на этой станции,
но кто говорил, что всё будет просто?..
По позвонкам ледяными пальцами
перебирает арфистка-осень –

стать уменьшёнными септаккордами
и зазвучать под её руками!..
Видишь, какими мы стали гордыми –
прячем себя за семью замками.
Вроде бы всё навсегда потеряно –
лишь притвориться неинтересной
и заплутать в коридорах времени,
но... Кто говорил, что всё будет честно?

ПОСЛУШАЙ

Послушай, есть много красивых стервочек
и сотни талантливых милых сук,
готовых играть с тобой в нежных девочек,
в быту заменять тебе штат прислуг.
Есть кроме меня заводные, классные,
такая не взглянет – запьёшь с тоски..
Зачем ты меня приручаешь ласками
и сонно целуешь с утра в виски?

Послушай, есть тысячи умных, вдумчивых,
не бьющих по стенам, не пьющих дрянь,
готовых кормить тебя, а при случае
варить тебе кофе в любую рань.

Поверь мне – их много, и есть примерные:
спокойные, тихие – грош цена.
А я не такая. Я слишком нервная,
к тому же неверная [ни хрена].

Послушай, вокруг настоящих, искренних,
практичных и правильных – пруд пруди.
И пусть не умеют взрываться искрами,
от них тоже может щемить в груди,
и с ними всегда – беспричинно радостно,
и с ними не холодно в ноябре, –
а я не такая, мой милый [Августин],
и чёрт тебя дёрнул меня пригреть.

КАК ВЧЕРА

Сесть в электричку, до пятой направо,
слезть – и на насыпи долго курить.
Там же нечаянно вспомнить о главном
и специально об этом забыть.

Так, как вчера – ненавидеть работу.
Так, как вчера – осмеять небосвод.
В Англию. В Питер. В морскую пехоту.
Даже туда нас никто не возьмёт.

Помнишь – вчера обжигал этот город
лицами просто случайных людей.
Мы говорили – ты помнишь? – что скоро
мы задохнёмся от глупых идей:

сесть в электричку, до пятой направо,
слезть – и на насыпи долго курить.
Там же нечаянно вспомнить о главном
и специально об этом забыть.

КАМУШЕК

Что-то уж больно увесистый
нынче камушек на душе –
всё, что когда-то двигалось,
в оцепененье немом застыло.

Снег серебрит виски.
Воспалённое солнце клюёт в затылок.
Я примеряю улыбку –
довольно мило. Салют, мон шер.

Здравствуй, мой призрачный сказочник –
будто Андерсен во плоти.
Кажется, я намеренно верю в тебя
и твои причуды.
Я обещаю клятвенно, слышишь,
что слёз и нытья не будет.
Если же дорого время,
то я готова тебе платить.

Что ты тоскуешь,
зачем ты настырно прячешься в зеркалах?
Что тебе в них – молчания тусклое золото,
блеск интрижек?
Кажется, так мы точно с тобой
ни на йоту не станем ближе.
Мне непривычно проигрывать в прятки
мальчикам из стекла.

Бесперспективны попытки
бежать в соседние города,
ждать поездов [для галочки],
в целом – бездарно терять минуты.
Что умирает в нас так отчаянно
с каждым похмельным утром?
То, без чего так паршиво внутри –
словами не передать.

Пусть не становится легче
привычный камушек на душе.
Плачь, моя скрипка, плачь,
береги мои раны – так будет лучше.
Снег обнажает душу –
жестокое солнце нещадно сушит.
Прячу улыбку на крюк –
пусть всё будет честно. Адью, мон шер.

ВЧЕРА

Вот и всё. Вот такие были.
Вот и всё. А ведь знали, знали...
Губ страницы покрылись пылью,
крыльев перья покрылись сталью.
Мне бы в Питер. На Кубу. В Польшу.
Хоть куда-нибудь – прочь от скуки.
Знаешь, нужен. И даже больше...
Просто я опустила руки.
Я иду, а куда – не знаю, –
и не знает никто, наверно.
Это хуже сентиментальных,
слишком лживых романов Стерна,
Это хуже – ведь это правда.
Всё реальней, чем этот город.
Знаешь, буду безумно рада,
если истина сдохнет в споре.

Вот и всё. Вот такие были.
Вот и всё. Вот такие стали.
И не то чтобы позабыли –
просто верить уже устали.
Я забросила сны, учёбу
и пою так, как будто завтра
умирать. А умрём – так оба.
И – до встреч на седом Монмартре.
Дома – в угол бросаю маску
и теряюсь в изломах стёкол.
Знаешь, в этой дурацкой сказке
непростительно одиноко...

ГОВОРИЛА МНЕ МАМА

Говорила мне мама
всё реже правду.
Двадцать лет, и всё мимо –
кого волнует?..
Будто кто-то незримый
меня, дурную,
подобрал для рекламы –
как жить не надо:

на проявленной плёнке
не божья милость,
не ничтожная малость,
ни тьмы, ни света.
Говорила мне мама –
таких, как эта,
придушить бы в пелёнках,
чтоб не плодились.

Говорила мне мама –
давай напьемся.
Мне бы маму послушать –
да гордость, что ли...
Остаётся по лужам
со слабой доли
жадно мерить шагами
пределы Томска.

Кто скулит, кто страдает,
кто дышит реже.
Старый плеер упрямо
трещит от трэша.
Говорила мне мама –
пойду повешусь...
Да, по-моему, я
отвечала тем же.

БОСОЙ И ПЬЯНОЙ

Босой и пьяной выйти в этот город
и вычерпать все улицы до дна.
Так искренне поверить в то, что скоро
я буду просыпаться не одна,
что – вдруг сойти с ума, упасть на камни,
и небу не показывать лица,
и снова бить с размаха кулаками
по стёклам – до победного конца,
и, оставляя на бетонных стенах
безумный яркий цвет [forever young],
не чувствовать, как, не вмещаясь в вены,
бежит душа из незащитых ран...

...Прийти домой и, приготовив ужин,
давиться им в крошечной темноте.
А рядом вновь не будет тех, кто нужен,
и в гости вновь попросятся не те.
Под стук дождя струящейся картечи
лежать и ждать, пока придёт зима,
и осознать, что время вряд ли лечит, –
а это значит, вновь сойти с ума.
Мой мир как будто ножницами вспорот,
в разрез глядит застенчиво луна...
...Босой и пьяной выйду в этот город
и вычерпаю улицы до дна.

ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ

*Давай начнём.
Разговор недолгий,
но больно трудный –
покончим с ним.*

...Послушай, девочка – всё без толку.
К таким, как ты, не приходят в сны.
Таких, как ты, не пускают ближе,
с такими вдумчиво мнут постель,
а сразу после меняют их же
на чашку утренних новостей.
Таких не водят по ресторанам,
кафе и барам. А по утрам
их оставляют трезветь под краном
до новых встреч [первоклассных драм].

Вот, кстати, утро. Трезвей и помни –
таких, как ты, не пускают в дом,
таким не греют теплом ладони,
не греют душу сухим вином;
таких, как ты [как слова] – на сдачу,
таких полно – только ни к чему..
А ты всё рвёшься, а ты всё плачешь,
и по конвертам себя – ему.
Да есть же тысячи разных судеб –
на счёте «пять» выходи искать...

А этот мальчик – восьмое чудо,
и не тебе с ним идти в закат.

Его всегда невозможно мало,
и так легко на него подсесть –
я не единожды умирала
с тех пор, как «Здравствуй, имею честь».
Он вечно пишет [со зла, со скуки],
по стенам – маты, в блокнот – стихи,
он не умеет входить без стука
и выходить из воды сухим,
он по тебе не страдал, не плакал –
да он вообще не тебя искал!..

*...Но я бессильно сползаю на пол.
В пустой квартире.
Среди зеркал.*

МАЛЬЧИК УХОДИТ

На кухне в углу – постаревший мальчик.
Он слышал не раз – мужики не плачут.
Он слышал. Но что это может значить?
Ему бы букварь хоть на раз прочесть...
У мальчика есть под кроватью тайна –
игрушки из латекса [made in china].
Но мальчик уходит – на три случайных, –
и в этом сакральное что-то есть.

У мальчика сплин, депресняк – неважно,
он уши себе затыкает гранжем.
Никто ему слова теперь не скажет,
никто не посмеет остановить.
Кончатся чипсы и сигареты,
рождается почва для новых сплетен –
а мальчик уходит на три конкретных,
имея на жительство новый вид.

И мне – подарить бы себя в масштабе,
и выдавить нежность [но давит жаба],
и как-то талантливо избежать бы
пустых уговоров, ненужных фраз...

Я радуюсь жизни – ну так, по-детски,
а повод задуматься, в общем, веский:
мой мальчик уходит на три советских,
и надо же – мне наплевать как раз!

УМЫВАЮ РУКИ

Кажется, я умываю руки –
просто я чувствую слишком чутко.
Хватит мне в душу входить без стука
и оставаться на кофе-чай.
Что за волшебная сила слова,
главное – веский придумать повод.
Кажется, я обретаю снова
чудо-привычку – рубить сплеча.

Я наугад, как слепой паломник,
к солнцу и свету тяну ладони...
Время прошло. Я уже не помню
прикосновения тёплых рук.
Сны внутривенны, слова подкожны –
это запомнить не так уж сложно.
Кажется, жить бесконечно можно,
если себя переплавить в звук –

не существует ключей и скважин,
всё подчиняется мне, и даже
мой идеал полноценным шаржем
бесится в танце усталых нот...
Всё надоело. И где-то между
тем, что наступит, и тем, что прежде,
я распиная себя в надежде –
может быть кто-то заметит? Но

правда глаза никому не колет –
что тогда в жертвенной этой боли?
Я начинаю хотеть на волю,
в этой каморке ни встать, ни сесть –
жизнь старика Диогена в бочке,
вот уже вытянулась цепочка
дёрганных мыслей от строчки к точке –
в этой агонии что-то есть.

Каждое слово – с налётом бреда,
в духе затёртого Кастанеды,
вечер субботы втекает в среду.
Ангедония – ты тут как тут.
Пляшут молекулы, шкалят герцы,
стоптаны внутрь мужские берцы.
Что же ты, девочка, прячешь в сердце –
даже при вскрытии не найдут.

Без остановки мелькают лица –
вот бы мне встретить, найти, влюбиться...
Я всё сильнее боюсь спалиться –
с каждой когортой седых волос.
Кажется, всё началось в апреле –
снова за кадром и не при деле.
В эти последние две недели
категорически не спалось –

верилось в сладкие чьи-то бредни,
верилось в лучшее [худо-бедно]...
Я оказалась безмерно вредной,
мир оказался не так уж прост.
Яда из раны уже не выжать,
нож перочинный кладу поближе –
как бы мне так попытаться выжить,
чтобы никто не присел на хвост.

Буду теперь применять наружно
громкие клятвы в любви и дружбе.
Значит, всё в жизни бывает нужным
только до времени, до поры.
Зря я училась страдать в разлуке,
плакать не только от злого лука –
всё-таки я умываю руки
и выхожу из чужой игры.

КОЛЫБЕЛЬНЫЙ ВОЙ

Всё должно закончиться хорошо –
под венцом, доской или барбитурой.
Мне по кайфу выглядеть полной душой
и по кайфу то, что ты не нашёл

ни врага, ни друга, ни палача,
ни жены во мне, ни сестры, ни б***и.
Не имеет смысла – к моей досаде –
всё, что было сказано сгоряча.

Все твои истерики – с потолка,
это мы не раз уже проходили,
я не врач тебе – и уже не дилер,
чтобы сказки в ухо тебе толкать,
чтобы сладкий мой колыбельный вой
усыплял твоё разбитное эго.
У меня готово всё для побега,
у тебя – для выпада головой.

Я боюсь, дружок, за тебя боюсь,
вынимаю сердце, бросаю рядом
[чтобы мог использовать, если надо]
и считаю вслух, проверяя пульс.

Всё должно закончиться хорошо.
Я иду и плачу, смеюсь и плачу,
мол, теперь всё будет совсем иначе...
И смотри, какой аккуратный шов.

ХРОНИКА ОДНОГО

У каждого есть бог его дорог.
У каждого свой ад и свой Вергилий,
и, если бы меня ты попросила,
я стал бы им.
Ты слышишь? Я бы смог.
Я только что приехал.
Был рабом
на ссохшейся от времени галере.
Вот только ты не начинай мне верить
сейчас –
уж лучше никогда ни в чём.
Я спотыкался, падал и вставал,
и бил, не глядя, хоть и через силу.
И, если бы меня ты попросила,
я мог бы твой портрет нарисовать
штрихами старых вёсел по воде.

И он бы там остался, я уверен...
Но ты молчишь.
И я опять потерял
в толпе таких же скомканных людей.

Лови губами дождь – и не скучай.
Я буду театрально улыбаться.
В отчаянной попытке оказаться
хоть кем-то, кроме личного врача,
я снова потерялся между строк.
Искать меня не нужно – будет хуже.
Пойми, что я давно тобой простужен
и от твоих дождей насквозь промок,
и в голосе охрипшем слышно, как
слеза застыла в горле.
Я не плачу.
Обрывки слов – как будто бы на сдачу –
в карман кладёт дрожащая рука...
Ты на ночь перелистывай меня.
Мои страницы правды не скрывают
и, может быть, однажды – так бывает –
нетронутыми выйдут из огня.

А я сижу на облаке. Курю.
Такая незаконченная повесть.
Спуститься вниз мне не позволят совесть
и гордость – я себе так говорю.
Мне сверху видно многое. А жаль.
Я не хотел бы видеть – это грустно.
Воздушный замок безнадёжно пуст, но
по стенам – чуть заметная печаль,
на окнах паутинками туман,
а на полу – ковры из белой ваты.
Да, мы с тобой, конечно, виноваты,
что не сбежали вовремя с ума.
Слегка помятый, в этом вечном дне
я разучился петь –
и ты не слышишь.

Я вниз смотрю –
ты ходишь, спишь и дышишь,
а значит, не нуждаешься во мне.

СЕМНАДЦАТЬ

И опять барабанит сентябрь по трубе,
и о смысле нельзя догадаться.
Я гуляю в себе.
Я хотел бы
вернуться
в семнадцать.

Там, в семнадцати, кеды украсят асфальт,
затоптав в него жёлтые листья.
Нарисованный альт
запоёт,
выходя
из-под кисти.

Там ещё впереди без ответа любовь,
и звонки, и слова без ответа.
Там пока ещё в бровь.
И за что-то
задержано
лето.

Там гитары, костры – у реки до утра,
там лежать бы в траве до восхода!..
Но наутро – пора.
Слишком быстро
меняется
мода.

Голубиное небо над мокрой травой.
Голубиное небо над нами.
Я взмахну головой –
и рисунки
окажутся
снами.

Я со вздохом сложу изувеченный том –
там, в шкафу, таких сотни пылятся.
Несмотря ни на что,
я хотел бы
вернуться
в семнадцать.

ВЫ НЕ ТАНЦУЕТЕ?

Добрый вечер.
Вы не танцуете,
город моей мечты?
Хватит фальши.
Вам не к лицу эти
приступы тошноты.
Сбросьте небо –
оно вас мучает,
давит вам на виски.
Кстати, город,
вы мне поручены
до гробовой доски.
Может, джина,
чем-то похожего
на новогодний смех,
или виски?..
Право, ну что же вы,
падать – так маслом вверх,
падать громко,
падать восторженно,
падать, срываясь в крик...
Вы же – будто
на ноль помножены
в мире своих интриг.
Стены – уши.
Окна глазастые.
Ветер – почти насквозь.
Вы идёте –
очень опасная –
так по-кошачьи вскользь.
Завтра утром
вы вновь забудете
этот безумный вальс.

Добрый вечер.
Вы не танцуете,
город кошачьих глаз?

БЕЗРАССУДСТВО

Мы разбросаны по углам,
между нами барьером – ночь,
охлаждает и гонит спать,
стылая.
Нагрубил ей – она ушла,
будет звёзды в дожди толочь.
Я тебя прихожу читать,
милая.

Я – рисунок в твоей руке
и узор на стене, но мне
недостаточно просто быть
фрескою.
Красный след на моей щеке
с каждым шагом горит сильнее –
я к тебе прихожу любить,
дерзкая.

Ты – в моей голове снаряд,
доставать не рискнут врачи,
слишком низок процент, что я
выживу.
Ни одна из краплёных карт
не спасёт – пой, пляши, кричи...
Безрассудство и боль моя,
рыжая.

БЕЗ МИНУТЫ ВОСЕМЬ

Детка, спишь? Без минуты восемь.
Город призрачен и красив.
Это лето рождает осень –
четверть срока не доносив.
Неизвестно ещё, что будет –
кто креститель и кто крещён...
А по городу ходят люди.
И трамваи.
И ты ещё.

Детка, слушай, какого чѐрта,
если ветер свободы стих,
мы по улицам мчимся гордо,
отрываясь от нас самих?
Этот бег не таких уморит,
доконает и разозлит..
А за городом, может, море.
И причалы.
И корабли.

Детка, зря ты так неуклонно
отдаляешься от меня.
Мы проснѐмся в одном вагоне,
полном маленьких чертенят,
по дороге в святую небыль,
в изошрѐнное [никуда]..
А над городом чѐ-то небо.
И синицы.
И провода.

ЧУТЬ

Ноги истѐрты
промокшими напрочь кедами.
Всѐ, что я понял
на этом своём пути –
что-то чуть больше,
чем скупое делиться бедами,
что-то чуть меньше,
чем просто просить простить.

Знаешь, на этой дороге
похожих – тысячи.
Все как один.
Только мне поджигать мосты
хоть и сложнее,
чем душу наружу выкричать,
всѐ-таки проще,
чем болью твоей простыть.

В глупой борьбе за рассудок
пытаюсь выстоять.

Этот, похоже, чертовски неравный бой –
это чуть больше,
чем громко кричать об истине,
это чуть меньше,
чем просто молчать с тобой.

Всё, что я понял,
в пути на улыбки выменял.
Пуст мой сундук.
Жадно раны себе солю –
так хоть сложнее,
чем просто назвать по имени,
всё-таки проще,
чем тихо сказать «люблю».

ГОРОД

Город любимых –
почти чужих –
брызгами по проспектам.
Все, кто хотел хоть немного жить –
разом сменили вектор.

Город героев –
почти лжецов –
летописью сомнений.
Сколько таких, получив в лицо,
падало на колени?..

Город находок –
почти разлук.
Вырвался – значит, вздорен.
Легче ли дышится на полу,
чем на высокогорье?..

Город обмана –
почти потерь.
Голову блюзом кружит.
То, что стучало в груди, теперь
бьётся в неё снаружи.

ВНУТРИ

Мы дверь закрывали от бури
и прятались где-то внутри.
Цедили по каплям микстуру
холодной и рваной зари.

Дотошно считали недели,
секундам – крутили хвосты.
В застывшем на месте апреле
я был твоим богом, а ты

была моей первой таблеткой,
и, что ты там ни говори,
достаточно твёрдо и крепко
таблетка засела внутри.

Но богом опасно казаться.
Я крикнул: «Не хочешь – не верь!».
От веры легко отказаться –
ты встала и вышла за дверь.

Я раньше терял свой рассудок
в таинственном нашем «внутри».
Теперь – прочищаю желудок,
пью воду и ем сухари.

А дверь я оставил открытой.
Мне просто поверить пришлось:
теперь мы как будто бы квиты,
теперь мы как будто бы врозь.

НЕ НУЖЕН

Да ладно тебе, погрущу и забуду –
я в тысячный раз остаюсь за кормой.
Четвёртые сутки не мою посуду,
да, в общем, и не возвращаюсь домой.
Считаю в карманах последние звёзды,
хочу наскрести на счастливый билет –
но весь капитал мой счастливый был роздан
стригущим хиппи за чувственный бред.

В моей голове самым острым из перцев –
по свежим царапинам новый настил.
И азбукой Морзе горячее сердце
всё просит, чтоб я наконец отпустил.
Но я непреклонен, неистов... Не нужен.
Рисую акрилом простой натюрморт:
на фоне окна пара взбалмошных кружек,
как сердце, стучится в пустынность трюмо.
Железная кружка гораздо прочнее,
чем кровью пронизанный мяса кусок...
Теперь его нет. Я теперь не болею.
За рёбрами – звёздные пыль и песок.
Старею и трачу последние силы
на то, чтоб уже никуда не расти.
Пусть сердце разбито –
когда-то ведь билось,
а значит, достойно глухого [прости]!..
Да ладно тебе. Погрущу – и забуду.
В неделю стал старым. И этот старик
теперь уже вряд ли покажется людям –
бессилен, бескрыл, бессердечен и дик.

А МНЕ ТЕПЕРЬ ЧТО?..

Похоже, зима не меняет личины –
опять ворвалась без особой причины
и ходит по городу важно и чинно,
дотошно следы замечая ко мне.
Прогнозы не врут – снегопады обильны,
весь выбор – одеться в тулуп или стильно.
А мне теперь что?
Пересматривать фильмы,
в которых есть тонкий намёк на конец.

С небес опустевших не падают звёзды,
из глаз опустевших не катятся слёзы.
Зима хладнокровно и так скрупулёзно
обрывки судьбы замыкает в кольцо.
Такая безумно волшебная сказка,
в которой сгущаются тучи и краски,
и где предсказуема, в общем, развязка –
красивый сюжет со счастливым свинцом.

Да, точно, зима. Я рискую остаться
одним из любимых её постояльцев.
Похоже, мне всё же придется поддаться
и выпить с ней горькую на брудершафт.
И вам уже – право просверливать дыры
глазами на стенах продрогшей квартиры.
А мне теперь что?
Снова в плеер Земфиру –
и слушать ночами, почти не дыша.

Сбежать бы отсюда в далёкие страны,
где каждый второй улыбается странно
уже на пути к перманентной нирване,
и там – ничего и ни с кем не делить...
Простите меня. Я опять забываю,
что в ваших берлогах чудес не бывает,
и что никогда вас не крали трамваи
и не довозили до края земли.

Крепчает мороз, сны становятся злее,
глаза не горят и страницы не тлеют.
Смотрите, смотрите: я больше не млею
от взглядов в упор из-под длинных ресниц.
На голых ладонях снежинки не тают,
и все одиночки сбиваются в стаю.
А мне теперь что?
Перечитывать Фрая
и верить, что я доживу до весны.

а теперь смотри

*с высоты моста
все листы чисты
ни души кругом
чтобы кем-то стать
нужно чем-то слыть
даже если сном*

*с высоты моста
даже ты не ты
и права трава*

*неба не достать
все мечты просты
и пусты слова*

*с высоты моста
ты решаешь сам
ты решаешь вниз
не пусты места
слышишь голоса
но не видишь лиц*

*на мосту таких
сколько видит глаз
вдоль перил стоят
ты не помнишь их
помнишь только грязь
в этом суть твоя*

*и на раз-два-три
все вперед шагнут
каждый будет рад
а теперь смотри
ты идёшь ко дну
а они летят*

МОН АМИ

Монохромный рассвет разрезает ночь.
Чёрно-белое утро. Привет, ты как?
Мы на всём этом фоне – цветным пятном,
и не действуют слёзы и белый флаг.
Не хватайся за лезвие и пойми –
нападать собираются со спины.
Это сон-обещание, мон ами,
мы кому-то за что-то его должны.

Ты читаешь мне сказки, но вдруг – на миг –
ровный голос предательски задрожит.
Это сон-испытание, мон ами,
нам зачем-нибудь нужно его прожить –
и живём, начиная свой новый день
кулаками/молитвами/шардоне,

спотыкаясь под грузом своих идей
и вопросов без смысла на «да» и «нет».

Одинаково нервно проходят дни,
нежно целятся болью тебе в висок.
это сон-откровение, мон ами, –
и под веками тихо шуршит песок.
Мы теперь, вместо высокопарных фраз,
приглашений на кофе и менюэт,
только тычемся в стены до искр из глаз
да пытаемся в окна поймать рассвет.

Есть какие-то двери, но за дверьми
только погреб с картошкой да, может, ад.
Это сон-наказание, мон ами,
мы застряли в нём тысячу лет назад,
и с тех пор здесь рождается вновь и вновь –
гугенотами/шлюхами/травести...
Я навьючен тюками ненужных слов,
я готов вывозить – но куда везти?

Нет дорог и вершин, не дают взаймы
ни бумаги, ни сахара, ни монет.
Это сон-доказательство, мон ами –
нам докажут, что не было нас и нет.
И исправно – на виселицу к семи,
а потом на распятие к четырём.
Это сон-искупление, мон ами,
мы проснёмся когда-нибудь – и умрём.

ИМЕННО

Всегда высчитывал в уме,
насколько близок был ко дну,
но если плавать не умел,
то что мешало утонуть?..
Всё копошился на мели –
остался неучем.
И больше нечего делить.
И спорить не о чем.

И вещи не находят мест,
и я не нахожу вещей,
и вещий сон, как вечный крест –
сегодня, завтра и вообще.
И в дрожь от запаха вины,
довольно терпкого:
не только некому звонить –
и вспомнить некого.

Мой чёртов сплин и чёртов блюз –
я из-за них почти исчез;
пока я пью, пока я бьюсь,
пока я ем, пока я есть –
в нелепый страх вгоняет тень
любого встречного.
И вроде нечего хотеть.
И делать нечего.

Вокруг, как водится, война,
и в мной придуманном бою
весь город смотрит на меня,
а я – дрожу, а я – боюсь,
кричу в окно: «И это – жизнь?..» –
сигналят: «Именно!..».
Ни счёта в банке. Ни души.
Ни даже имени.

ВЫЗОВ

Хочется громко кричать
уходящим вперёд:
«Заберите с собой!» –
но не кричу.
Почему?
Самому непонятно.
С ниточной лестницы
тонкими пальцами
с неба – звезду за звездой.
Я не мошенник.
Протру –
и повешу обратно.

Больше не плачу,
не пью, не курю,
значит, боль остаётся со мной –
громко смеяться
и резаться в покер
на случай.
Больше не страшно
от звука шагов
за моей напряжённой спиной.
Больше не страшно –
и, может, поэтому
скучно.

Я безразлично свисаю с балкона
на тридцать восьмом этаже.
Прыгать не стану –
дождусь, пока руки отсохнут.
Частым желаниям
вырваться,
выбежать,
выдохнуть
в дерзкой душе
альтернативой –
сорваться,
сбежать
или
сдохнуть.

ТРАНЗИТ

Сложенный вчетверо –
я судьбе заткнут за тонкий пояс,
в клочья изорванный –
с облаков сыплюсь на вечный лёд.
Это не вырванный [с корнем] крик –
это сигналист поезд.
Поезд отходит –
и вместе с ним время моё уйдёт.

Поезд летит скоростной стрелой –
неумолим и быстр.

Хочется, выглянув из окна,
видеть, как тормозит,
как оставляет на рельсах сноп
пышный изящных искр
мой персональный [из жизни в смерть]
межвременной транзит.

Это желание – в никуда,
выдох не будет вечным.
Все пассажиры – один в один:
мраморный цвет лица,
кожа да кости, да пропасть глаз...
Поезд гремит к конечной
[знать бы, кто тащит его к концу –
выпороть подлеца].

Но ведь не поздно [под стук колёс]
многое можно сделать –
дёрнуть стоп-кран, отцепить вагон,
стрелку перевести!..
Я не могу [обездвижен, слеп,
накрепко руки к телу,
а за попытку шагнуть назад
могут и срок скостить].

Поезд скользит [по чужим телам],
холодом веет с юга,
капли с асфальта по небесам,
стрелкам – обратный ход!..
Сколько ещё не утихнет
за перегородкой ругань,
где мой конец не предсказывал
разве последний чёрт?

Сколько в [обитом тоской] купе
жизнь прожигать не с теми,
сколько терзаться вопросами –
к счастью ли?.. На беду?..
Кто-нибудь! Я заклинаю вас –
остановите время!..
Остановите же время.
Я тут же с него сойду.

И ЭТО ПРОЙДЁТ

В анналах истории царь Соломон
крутит в пальцах кольцо своё.
Единственно верный и вечный закон –
в мире всё – никому, ничьё.

Как только я слышу «и это пройдёт» –
загораются зло глаза,
и что-то предательски палец мне жжёт
и как будто зовёт назад.

Приходится встать, осмотреться вокруг:
не сидит Соломон в углу?..
И древнюю я принимаю игру,
заостряя свою иглу.

Обмен на любезность любезностью, – и
Соломона и след простыл.
Собрать воспалённые мысли свои
и вернуться из пустоты.

А палец не жжёт. Да и раньше не жгло –
просто я был чертовски слеп.
А что Соломон? У него всё прошло,
и теперь он развозит хлеб.

Вчера он своими руками на борт
присобачил тот самый текст:
«И это пройдёт».
Слышишь? Это пройдёт.
Ты – пройдёшь вместе с этим.
Весь.

НЕ РЕЗОН

Прости меня, моя мечта.
Мы слишком долго были вместе.
Жених... Невеста... Много чести!..
А за словами – пустота.

Прости меня, моя весна.
Меня не манят грязь и лужи,
когда нас ждут готовый ужин
и то, о чём не нужно знать.

Прости меня, моя печаль.
Когда-то я тобой напился.
Теперь же – заново влюбился,
и мы гуляем по ночам.

Прости меня, мой горизонт.
Ты был далёк и слишком резок.
И этот жизненный отрезок
не повторится – не резон.

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Своим чередом – как в каком-то фильме,
как будто всё видел уже не раз –
живёшь и встречаешь глазами злыми
своё неоконченное [вчера].
Вчера ты смотрел, как друзья сгорают,
враги – продолжают свой долгий путь.
Сегодня ты понял, что в нас играют.
Слепой персонаж поднимает бунт.
Закончил. Отбросил. Рассыпал пеплом.
Развеял по ветру. Не соберёшь.
Сегодня не кажется чем-то светлым,
тебя почему-то бросает в дрожь.
Кричишь в высоту: «Ненавижу, сука!» –
и бьёшь кулаком в пустоту миров.
Все пальцы в крови. И такая штука –
трезвеешь, когда проливаешь кровь.
Но поздно – и руки уже за спину,
ботинком по почкам и мордой в пол.
«Пускай полежит и чуток остынет,
борец за свободу и рок-н-ролл».

Лежишь, бездвиженный, под забором.
Не чувствуешь – значит, и не болит.
Эй, кто потрезвее у монитора –
нажмите на [ctrl_alt_delete]!

ДЕНЬ

*...И снова день. И снова этот город
плевался и гримасничал мне вслед.
Мне говорят, что я подохну скоро –
от сигарет.*

*От сигарет. От выдохов и вдохов.
Диагноз странный, но врачам видней.
А есть звезда. И было бы неплохо
идти за ней.*

*Идти за ней. Идти за новым светом
и первым сделать шаг из тени в плен
и всё принять за чистую монету...
А был ведь день.*

*А был ведь день – без грохота, без пыли,
и я кого-то, кажется, любил.
Никто не виноват, что вы забыли,
что я забыл.*

*Что я забыл, что значит слово [чувство].
Мне кажется, какой-нибудь пустяк.
В груди, под сигаретами, так пусто
и больно так.*

*И больно так. И тянутся минуты,
и я наполовину – в эту тень.
Но мне нестрашно как-то. Почему-то...
...И будет день.*

ЧТО ЗА?..

*Что за город? Здесь плачут улицы
мне в наушники каждый раз,
когда в сердце весна беснуется
и впадает зима в маразм.
Ноги в кровь об него исколоты –
это даже не первый круг.
Я чужая. И веет холодом
мне от глаз его и от рук.*

Похудевшая, босоногая,
покидаю свою тюрьму
и такими иду дорогами,
что и снятся-то – не ему.
Рассыпаюсь по небу знаками,
кораблями лежу на дне.
А вокруг пустота и вакуум,
времена и пространства – вне.

Я гораздо умней, чем прошлая,
я умею сжигать мосты.
Выскребаюсь из сердца кошками –
из чернеющей пустоты
вырываюсь такими песнями,
что кроваво вспухает даль.
Говорят, это сумасшествие,
а по-моему, так февраль.

Вы с ним, знаешь, довольно подлые:
настигаете тут и там
[улыбаюсь почти беззлобно и –
посылаю ко всем чертям],
шлёте письма с такими строчками,
что сжимается всё внутри...
Я [над i] расставляю точки и
растворяюсь в глазах витрин.

Это я теперь – та, которая
влюблена в канитель и бег.
Я такую творю историю,
что приснится – да не тебе.
Не пиши, не звони, не спрашивай,
пусть всё будет, как было. Пусть.
Постаревшая и уставшая,
я однажды в себя вернусь.

КТО-НИБУДЬ, КРОМЕ

В масляных красках рассвета похож на сыр
месяц – кивни ему, выйди к нему босым;
ближе к утру перестанешь считать часы,
и в полудрёме

встретишь свой дом. Ветер выбил ему окно –
он замерзает, он просит уюта, но
ты же убьёшь себя, если проснётся в нём
кто-нибудь, кроме.

Ты не один – видишь, ветер готов с тобой
в небо, в огонь и воду, в бордель любой...
В свете последних событий похож на боль
сон безответный.

В тысячный раз незаметно придёт рассвет, –
не остаётся в живых ни одной из вер.
Тонко пульсирует ниточка в голове –
[так и не встретил].

Ночь – заставляет ссориться с головой
[«только хватило бы твёрдости, боже мой», –
ветер поможет, он всё ещё самый твой
преданный донор].

Пообещай мне вернуться домой к утру.
Ты меня знаешь – и знаешь, что я умру
прежде, чем неуверенно наберу
твой старый номер.

ПО КРУГУ

Ползёт по стене рассвет.
В стаканах утихли бури
и всё хорошо вполне.
Я молча готовлю завтрак,
ты бесконечно куришь
и смотришь в окно. А мне
спокойствие – в горле ком:
не выплюнешь, не проглотишь,
мне быть бы почти всегда
на старте, на взводе, взлёте,
быть для тебя чем-то большим,
чем выплывшим прошлым.

Звонить бы тебе тайком
из той телефонной будки,
где все твои мысли – вслух.

Стоять за твоей спиной
и красть у тебя минутки –
как раз не хватает двух.
Простить бы тебе твои
хождения влево-вправо
и верить тебе, когда
ты врёшь мне о самом главном,
сам же краснеешь от правды –
и кажешься рядом.

Тебя рисовать всю ночь
на стенах, гордиться этим,
к утру возвращаясь в дом.
Играть бы тебе себя
безумием кварт и септим,
в конце возвращаясь в «до».
И слать бы тебе себя
в нелепых таких конвертах,
смотреть на тебя с чужих
рисунков / картин / мольбертов,
от взглядов в упор хорошея,
дышать тебе в шею.

Носить бы тебе себя
в постель по утрам, как кофе,
и там забывать на день.
Смотреть бы всю ночь на твой
родной ироничный профиль
и робко просить – «одень».
И снить бы тебе себя
в таких нереальных платьях,
и чёртовы мысли – которые
так несказанно кстати
противоречат друг другу –
гонять бы по кругу.

ГАМЕЛЬН

Тому, кто крутит мою планету,
чихать на частности и права
вот так – веками, бродить по свету,
небрежно сплёвывая слова;

искать причины для новой жизни
[в которой проще всё, говорят]...
Ну обнадёжь меня, докажи мне,
что это время прошло не зря,
и что растоптано сапогами
не всё живое ещё во мне,
что город спящий – совсем не Гамельн,
с моей крысиной норой в стене,
в которой тусклый фонарь у входа
кромсает комнату на куски.

Плывёт бессмысленно пароходик
моей невыраженной тоски
по водной глади в тазу [с носками] –
и не плеснётся вода за край.

Я здесь сама превращаюсь в камень –
я жду, когда ты придёшь за снами,
обнимешь ласковыми руками
и тихо скажешь: «Не умирай...».

ЧАЙ

Присмирела. Конец истерикам.
Птицей в клетке уже не бьюсь.
Прилипаю на вечер к телеку
и, где требуется, смеюсь.
Не смотрю ни хоккей, ни новости –
мне ж неважно, кого и кто.
Злясь от собственной беспонтовости
зашиваю своё пальто
и питаюсь супами постными,
вытираю от капель стол,
по субботам стираю простыни
и по пятницам мою пол.

Не болтаюсь ночами тёмными
[и желания даже нет],
поглощаю конфеты тоннами,
если кто принесёт конфет,
если нет – то найдётся вкусное
и намажется мне на хлеб...

А рифмовки сугубо устные,
и гитара стоит в чехле,
и не хочется снова-заново
распевать свою грусть-тоску.
Говорю себе: «Эй, всё планоно,
не срывайся и не рискуй».
Но когда я была за правильность
и готовила каждый день?
Видно, что-то во мне не справилось,
видно, всё-таки быть беде.

И плевать, что работа-сессия,
на семью и намёка нет –
мне становится даже весело
от подсчёта своих монет.
Никогда не дружила с числами,
и сейчас это так, с трудом.
Жду, когда меня выпнут-выселят,
а пока, возвращаясь в дом,
на кроватку стекая вечером
и в безлунную ночь молча,
я по-прежнему верю в вечное –
в чудеса и в горячий чай.

МОТЫЛЁК

Я потерялась. А вдруг меня нет?
Вылечу в мир, от тебя полупьяная.
Я – мотылёк. Мне привычно – на свет –
рваться и биться о стены стеклянные
сотен домов. Моё дело – летать,
падать в огонь, истлевая до святости.
Я – мотылёк. Мне привычно латать
жжёные крылья обрывками радости.
Серыми лапками в окна стучу –
кто-то впускает. С какими-то целями.
Так и выходит – я вечно мечусь
между твоим и другими прицелами.
В этот тоскливый закат не спалось
мне и тебе. Вот ведь скука постылая:
ради забавы собрать меня в горсть,

выкинуть в ночь – «Береги себя, милая!...».
Тонкие крылья промокли от слёз
и не удержат комочек над пропастью.
Взмыл мотылёк – и растерянно сполз
вниз по сочащейся стёклами плоскости...

Замер рассудок. Я верю в его
мелом по стенам скупые пророчества.
Я не боюсь, и, что хуже всего,
я начинаю ценить одиночество.

ДВЕ ДОРОГИ

Грозным громом и ливнем,
не терпящим всех возражений,
разбивая все капли о стены
на полном лету,
эта осень расставит нам точки
в концах предложений
и заставит признать на коленях
её правоту.

И никак нам с тобой не заснуть
под одним одеялом,
и никак с этой осенью
неба нам не разделить,
и уже не покажется город
немыслимо малым...
Как сказали бы в Питере –
просто мосты развели.

Опадают на землю
все встречные наши билеты,
с тихим шорохом
их засыпает сухая хвоя.
Две дороги расходятся
в разные стороны света –
потому что я, слышишь,
уже навсегда не твоя.

ПОЕХАЛИ

Готов? Поехали. Дубль первый.
Точнее мысли, острее взгляд.
Мне лучше сделаться милой стервой,
тебе – прикинуться, будто рад.
Допили кофе. Оделись. Вышли –
бродить по разным, по сути, снам.
Мы не нужны тем, кому мы пишем,
и так же с теми, кто пишет нам.

Немного больно, немного страшно.
Немногословны, немного мы –
рискуем всем, чем рискует каждый,
пытаясь выбраться из тюрьмы.
А голос сердца всё тише, тише...
К чему подсказки? Всё знаешь сам:
мы не нужны тем, кому мы пишем,
и так же с теми, кто пишет нам.

И перманентно нас рвут на части,
бросают в дрожь, выбивают пот
такие игры в любовь и счастье,
где ставка больше, чем весь джек-пот.
И если ты ничего не слышишь –
читай отчаянье по губам:
мы не нужны тем, кому мы пишем,
и так же с теми, кто пишет нам.

ЗЕРКАЛУ

Спасибо зеркалу. Я с ним
иду бок о бок двадцать лет.
Спасибо зеркалу за сны,
которых не было и нет.
За то, что рядом нет друзей,
за то, что каждый день – с нуля,
что среди тысячи ферзей
не отыскалось короля,
за то, что ты был глух и слеп,
за то, что не был мне никто
ни Прометеем на скале,
ни Иисусом под крестом,

за твой протяжно-хриплый стон
под этим колющим дождём...
Спасибо зеркалу за то,
что мы друг друга не найдём.
За жизнь как будто наяву,
за жизнь как будто налегке,
за то, что я ещё живу
в своём раздавленном мирке.
Спасибо зеркалу за страх,
шизофренично-громкий смех –
я вижу боль в своих глазах.
Они тупеют, как у всех.

ЗАБЕРИ МЕНЯ

Заплетается утро дорогами вен
на ещё не остывших от клавиш руках,
километрами строчек в пустой голове,
непродлёнными встречами на облаках.
А за стёклами пыльно и пусто, смотри,
и ни капли воды за стеной дождевой...
Забери меня, слышишь, из этих витрин –
я устала всю ночь притворяться живой.

Собирается жизнь из осколков судьбы,
собирается быт из осколков тепла.
Тяжело потерять, тяжелее – забыть
и развеять всё пеплом по тёмным углам.
Воспалённые стрелки замедлили бег,
я пытаюсь руками их вновь разогнать...
Забери меня, слышишь, я в этой борьбе
захлебнусь, выплывая с пустынного дна.

Поднимается ветер из мёртвого сна,
начинается вечер с удара в ребро.
Я бы всё отдала, чтобы правды не знать,
даже если разложены карты таро.
А за вечером ночь, как с другого листа,
и наутро он снова исчезнет в огне...
Забери меня. Я обещаю не стать
той, которую ты ненавидишь во мне.

ЛУННЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Ноты устанут ранить.
На кухне погаснет свет.
В зовущем ночном стакане
ненужных и лишних – нет.

Лунный лимон в коктейле –
слегка сумасшедший шарм.
Так между Стендалем/Бейлем
металась одна душа.

В этом больном июне
от злости и нервных рук
однажды порвутся струны,
не дав превратиться в звук.

Будем тогда швыряться
безумием в эту высь!..
На стыке борьбы и танца
корабль покинет крыс.

Где-то скучают крыши,
пьют небо из луж коты.
Нас утром порвёт всевышний
дождями на лоскуты.

ЖАН ПОЛЬ

У меня есть чердак, а на нём сундук.
Я его – между нами – зову Жан Поль.
Всё, что мне от тебя достается, – боль –
я с завидным упорством в него кладу.

Это самая честная часть меня,
я ему доверяю как никому;
он за мной – хоть куда: на каток, в тюрьму
или просто без дела гусей гонять.

Даже если я снова сойду с ума
и с последним трамваем уйду в депо,
то меня непременно спасёт Жан Поль –
и вернёт меня в мой неземной кошмар.

СНАРУЖИ

Только не надо льда, шоколада, мёда,
приторно-сладких [милая, ну прости].
Знаешь, ко мне не ходят, не зная брода:
дров наломаешь – вечность не разгрести.

Знаешь, в меня не верят – ни так, ни эдак.
Знаешь, меня боятся, как диких сов.
Делай как все. Считай это полным бредом,
но запирайся вечером на засов.

Я истерична, взбалмошна, невозможна,
я бесконечно каменна и черства.
И разобраться, кстати, довольно сложно,
кто мне вообще дал право существовать.

Если бы я всё время была снаружи,
то несомненно, где-то годам к восьми
я бы устала всю эту ересь слушать –
я бы себя повесила, чёрт возьми.

Я бы себя давно – головой об стену,
я задыхаюсь здесь!.. Только хватит врать –
Я нереально счастлива. Я блаженна.
Мне бесконечно нравится умирать.

НАПРИМЕР

Сотые сутки – прости-помилуй –
как на войну, в камуфляж и берцы.
[Я не гожусь в пехотинцы, милый,
слышишь?] – стучит, заикаясь, сердце.
Мне остаётся лететь и помнить,
тело вминая в пространство ночи,
что ничего не осталось, кроме...
[что никого не волнует, впрочем].

Я обещаю держаться крепко,
я обещаю – насколько хватит.
Кто посадил меня в эту клетку?
Катя – так скажем спасибо Кате.

Я не гожусь в Галатеи, милый,
Пигмалион из тебя – ни к чёрту...
Брошенный следом тобой будильник
мне разорвёт, например, аорту.

Я, например, разревусь от боли,
или, положим, потеря крови
мне обеспечена. Поневоле
утром мы всё начинаем снова.
Я не гожусь в героини, милый,
капля, ты знаешь, и камень точит.
Скоро обломки бывшего мира
мне переломят хребет – и точка.

Сколько их было – таких вот точек?
И после каждой из них – всё строго –
я собираю себя в совочек
и приношу тебе – на, попробуй.
Я не гожусь в оптимисты, милый.
Я улыбаюсь скорей от злобы.
Либо ты мобилизуешь силы,
либо мы кончимся скоро. Оба.

ЛЕДЕНЦОМ

С каждым вдохом всё тяжелей дышать
и держать треклятую спину прямо.
И зима с упорством Ж. К. Ван Дамма
заставляет нить, замотавшись в шарф.

Все, кто мог, давно улетел на юг,
только я и ветер [слова и ветер],
только снег и сны. В канители этой
я себя ни разу не узнаю.

Рассекаю полночь на семь частей –
по числу влюблённых в меня придурков.
Жаль, из них не выйдет ни Микки Рурков,
ни пророков, гаснущих на кресте.

Время тает медленно [леденцом
за щекой – со вкусом мацы и перца],

вырастает за ночь из шутки скерцо,
из окурков – призрачное лицо –

и летит над всем этим, как праща,
как фанера – в небе, как стрелы – мимо.
Если мир становится осязаемым,
мне совсем не нравится – ощущать.

Я же знаю, мне не дожить до ста:
голод – он не тётка [и боль – не тётка].

За моей спиной обретают чёткость
тени тех, кем мне никогда не стать.

ПАРАШЮТ

Странная штука –
моя принадлежность кому-то:
в общем, неважно – кому,
до которой поры...
В ней что-то
от затяжного прыжка с парашютом:
долго лететь
и в конце [ни за что] не раскрыть.

Взлёт совершён
неизбежно поддатым пилотом.
Кажется, ты сомневаешься,
мой генерал?
Знаешь, надёжней
забыть парашют в самолёте –
чтоб без иллюзий,
что сам эту участь избрал.

Я – НЕБО

У неба от бога есть много секретов,
таких, например, как бесчётные шрамы,
которые болью прокуренный ветер
цепляет и рвёт – как в игре с парусами.

Таких, например, как сентябрьский запах,
которым пропитано небо до мозга, –
и корчатся перисто серые лапы
в преддверии зимнего анабиоза.
И дождь – это вовсе не слёзы. Так глупо –
ведь кровь проливать и надёжней, и легче...
И небо бывает впадающим в ступор,
и небо сутулит усталые плечи.

Я небо. Я есть, я была и я буду.
Я сдула себя – до размеров Вселенной.
Знакомы с тобой? Да окстись, да откуда?
Я небо – а небо не жалует пленных.
Забудь, отрекись и беги что есть силы,
срывая асфальт, нарушая границы...
А я – пожалею, что вновь отпустила,
и буду ночами не то чтобы снится,
а просто дышать тебе в ухо. Чуть слышно.
Казаться родной и, конечно, безумной...

Не хочешь бежать?
Подойти к тебе ближе?
Но только влюбиться –
ты слышишь! – не вздумай.

ДЫМ

...А солнце светит, текут ручьи,
сугробы тают [и вся фигня],
а мы с тобой до сих пор ничьи,
и так до судного, значит, дня.
Раз крепок кофе – некрепок сон,
и мысли мыслятся кое-как,
и ты чертями не унесён,
и я зачем-то жива пока.

И жизнь не учит нас ничему,
и время лечит всё трын-травой,
и наши песни – такая муть!..
Хоть бейся в стену, хоть волком вой.
Весна в разгаре, и скоро май:
мне в мае замуж, тебе – в стройбат...

Мы продолжаем сходить с ума
по обе стороны баррикад,
и мы становимся всё грубей,
и нам становится не до сна,
но в этом городе, хоть убей,
никто не ждёт настоящих нас.

И если верить тому, что дым
не появляется без огня, –
мне странно нравится знать, что ты
уже не хочешь терять меня.

ПАЛИНДРОМ

Что-то есть между нами. И это не снежный ком,
не цунами, не буря, не слезоточивый газ
[застревающий в горле недвижимым узелком],
и не свет [потому ли, что свет бы давно погас].

Не тревога, не сон, приключившийся наяву
[от которого так безрассудно и страшно мне], –
это даже не то пресловутое дежавю,
и эффектом плацебо здесь тоже не пахнет, нет,

это даже не море [послушный моим словам,
мой корабль, попавшись в воронку, уходит в слив],
это даже не чувство присутствия божества
[до него мы ещё пару жизней не доросли],

и не вольный огонь [где придуманный кочегар,
выгребающий нас кочергой из мешка золы].
Это даже не солнце – а так, неземной фонарь
[оставляющий тёмными, в сущности, все углы].

Это даже не слово – отчаянный палиндром
[одинаков: с конца ли, с начала его читай –
одолев первый слог, спотыкаешься на втором
и рискуешь рассудком]. И мы ему – не чета.

НИЧЕГО ПОДОБНОГО

У меня в карманах ни снов, ни денег,
ни идей, ни принципов, ни крестов,
ни случайно сделанных наблюдений,
ни нарочно вывернутых понтов,

ни свечи, ни ветра со мной, ни праха,
ни напоминаний, куда идти,
ни стихов, ни музыки, ни зла, ни страха,
ни иных несотканых паутин,

ни молитв, ни лозунгов, ни проклятий,
ни икон, ни истины, ни мощей,
никаких оценочных восприятий –
ничего подобного вообще.

Я – кусочек серого пластилина,
ты стоишь, в руках меня теребя, –
и лепи теперь с чувством властелина
из меня что хочешь – нациста, мима,
безымянный камень в степях Скайрима,
что угодно – призрака, пилигрима, –
только не похожее на тебя.

ПОД РЕБРОМ

Каждый вечер во мне, где-то под ребром,
где касаются пальцы басовых струн,
где виски покрываются серебром
[но становятся чёрными поутру],
где венчаются боль и прогорклый джаз,
где реальность со вздохом уходит в сны,
мой мотор барахлит, и в который раз
переходит на [шаффл*] – и чёрт бы с ним.

Я пытаюсь согреться – и пью вино,
я пытаюсь напиться, но, боже мой,
это даже не тема для слов и нот,
это даже не повод уйти в запой.

* Шаффл (англ. shuffle) – ритмическая фигура, составляющая основу блюзового ритма.

Иногда я жалею, что нет метро –
и его не услышать, припав к траве...
Каждый вечер во мне,
где-то под ребром,
ты приходишь домой –
и включаешь
свет.

ФАРТУЧЕК

И снова теряюсь
в забеге прозрачных минут,
ты – снег,
на моих ресницах совсем не тающий.
Мне жизнь представляется
сытным отборным меню,
отборным –
равно: отобранном у зевающих.

И что-то твердит мне –
пора бы отбросить понты:
давно ведь не ем,
а просто глодаю косточку.
Но внутренний голос,
простуженный до хрипоты,
настойчиво просит лечь
под тот плед, в полосочку.

И я допекаю блины,
доедаю свой рис,
послушно иду в кровать
и снимаю фартучек.
Сегодняшней ночью, ты слышишь,
приснись-прикоснись,
но не оставляй под сердцем
визитных карточек.

НА ЖИВЦА

Не спеши просыпаться в пять –
у кровати стоят толпой
безутешные, будто сны,
воспалённые словоформы.

Это хуже,
чем эгоизм, меланхолия и запой –
это норма.

Они ловят тебя молчком –
и готовы всю жизнь стеречь,
они ловят тебя тайком на живца –
потому что проще –
и сидят возле самых плеч.
И сменяют своих предтеч
еженощно.

Не пытайся залечь на дно,
ты же прятаться не мастак.
Им написано на роду
выжимать из тебя все соки.
И попробуй теперь
писать не от боли, а просто так –
о высоком.

ОТДЫХАЙ

Стаи твоих заводных кораблей
лавируют между льдин,
словно пытаются взять на таран
незыблемость всех основ.
Долго ли, коротко ли, но теперь –
конечный итог один.
Все корабли затихают на дне,
все реки имеют дно.

Плавится вечер, стекает по стёклам,
путаясь сам в себе.
Радует нас откровенностью дыбы
с нежностью палача.
И не случайно ты сам
выводил мне формулу наших бед –
все чудеса происходят
не здесь, не с нами и не сейчас.

Всё. Отдыхай, [не]хороший, [не]мой,
от вечных моих причуд.

Твой неукушенный локоть
уже вот-вот облизнёт свеча.
Я прижимаюсь к дивану –
щекой к мужскому его плечу.
В кружке с отколотой ручкой
так сладко дремлет остывший чай.

СКАЗКИ

Я больше не верю в нелепые взрослые сказки
про добрых и злых,
где спрятаны нервы под ссохшейся крашеной маской –
покрепче стальных;
где много реальных врагов и приятелей ложных,
живущих в кредит;
где жить лишь одной головой непростительно сложно –
до боли в груди;
где злобно-звериное детство и нищая старость
дуэтом поют...
Я больше не верю в нелепые сказки. Осталось
придумать свою,
где хочется жить – без оглядки, без слов, без опаски
поддаться судьбе...
И я, чёрт возьми, напишу свою лучшую сказку –
но не о тебе.

ПОТОМ

Потом, когда-нибудь, через годы,
когда белила зальют виски,
И потекут по затылку к коже –
дорожкой до гробовой доски,
и будет не за что больше братья –
я разберу свой ненужный хлам:
мне было двадцать, ну вроде двадцать –
да, точно двадцать. И я была.

Мне всё казалось чертовски важным,
тебе же – попросту ни о чём,
но к миллионам замочных скважин
мы подбирались с одним ключом,

и в многих тысячах измерений
дышали близко – до немоты...
Но вышло время, скупое время.
Да, вышло время – а с ним и ты.
Ты доказал мне, что сердце – мышца,
и всё – живи, не сходи с ума.
Моё [с пометками на страницах]
себе оставил, как талисман.
Осталось форму залить бетоном
и дать застыть – я не в должниках.
И мне не больно, нет-нет, не больно,
уже не больно – уже никак.
Но я исправлюсь, я стану чище,
честней, счастливее – что ещё?
Я буду знать, что никто не ищет,
что бесполезно гореть свечой,
не стану строить воздушных башен
и не по праздникам лезть в стакан...
Сейчас мне страшно, мне просто страшно.
Как в детстве, страшно – по пустякам.

Потом, когда-нибудь, буду с палкой
хромать от дома и до ларька,
и будет поздно, и будет жалко,
и водка будет не так горька.
Мне больше не за что будет драться
и перекусывать удила.
Но было двадцать, ведь было двадцать?..
Да. Было двадцать. И я – была.

ТИТРЫ

А впрочем, милый, ведь будет честным –
остаться жить у тебя под кожей,
давить из горла больные песни
и гладить нервы до дикой дрожи,
безумным смехом лететь из лёгких
и по дороге давиться чаем...
Мы перестали играть в далёких
и начинаем играть в случайных.

А что за штучка – пусть погреться?
Наверно, много болит и ноет?
Не плачь, мой маленький. Это сердце,
и даже к лучшему, что больное –
такое, знаешь, не даст разбиться
и разлететься на сотни буден.
Позволь его предсказаниям сбыться,
сейчас я выбегу – и забудем.
Давай карабкаться из болота –
я точно знаю, мы сможем сами.
Не рвать же те неземные фото,
не жечь же письма и телеграммы.
Нарежешь память [ножом] на части –
вот ты один, вот ещё нас двое..
Не плачь, мой маленький. Это счастье,
и даже к лучшему, что чужое.

Да просто, милый, мы так похожи –
как бог и дьявол, как Том и Джерри,
и по-другому уже не можем,
и никаких тут «до новых серий».
Давай – как будто уже забыли –
расправим спины и слёзы вытрем?..

...На мягких креслах слой вязкой пыли.
Почти улыбка.
Стоп-кадр.
Титры.

А ЗАВТРА?..

*Меня до сих пор непогода пьянит,
когда я иду через вьюгу
и очень старательно делаю вид,
что мы только снились друг другу.*

А. Рубан

Рассвет застаёт её заспанной в зале
с улыбкой, в мелу руками –
всю ночь рисовала на стенах, писала
цитаты из Мураками.

За доброе утро – бокальчик [кампари],
но так, чтоб остаться трезвой.
Ей вовсе не хочется что-нибудь жарить,
тем более – что-то резать.
А в окнах напротив – знакомые лица
и твой ироничный профиль.
Там столик в углу, превосходная пицца
и неповторимый кофе.
Ты делаешь вид, что без всякой причины
любишься пармезаном.
Она, как обычно, берёт капучино,
садится в соседнем зале.
Пусть вы не знакомы, но снитесь друг другу,
а это всерьёз сближает.
И каждое утро опять всё по кругу –
никто никого не знает.
Она увлечённо считает прохожих
в зелёных шарфах и шляпах.
Ты – взглядом одним прикасаешься к коже,
и ловишь тончайший запах.
Потом будет вечер – и звёзды согреют
её в предосенний холод.
Она будет долго бродить по аллеям,
укладывать спать свой город.
Потом, возвращаясь и грея ладони,
зайдёт перед сном к соседу.
Ты всё это видел, ты знаешь, ты помнишь,
что дома, под мягким пледом,
она засыпает под запахи пиццы
в обнимку с Камю ли, Сартром...

Но если сегодня забудешь присниться,
она не проснётся завтра.

ДЖЕК

Вот Джек, который построил дом.
О нём известно одно лишь имя –
а как должно быть невыносимо
сидеть у вечности под замком...
Но Джек в порядке – он хлещет ром
и курит «Кэмэл» – не вру, ей-богу.

И, как порядочный недотрога,
со вкусом женщины не знаком.
Он славный мастер – наш милый Джек, –
но дом достроен. Он не при деле,
а зов природы и слабость в теле
осточертели ему уже.
И каждый вечер он на крыльце –
как на кресте – в бесконечных муках,
он растворяется в каждом звуке –
и изменяется вдруг в лице:
ну нет девчонки – и смех, и грех...
И Джек, признаться, слегка растерян:
он даже имя придумал [Мэри],
и цвет волос [золотой орех]...
Наутро снова придётся встать
и делать вид, будто время лечит...
Накинув пугалу плащ на плечи,
наш Джек, вздыхая, идёт в кровать.
Но Джека не замечают сны,
да и чему тут прикажешь сниться –
Маршак дал в руку ему синицу,
но не доверил ему жены.
И Джек, допивший свой ром со льдом,
в петле болтается. Что в нём толку?
Как ни крути, всем известно только –
он тот, который построил дом.

НЕВЗНАЧАЙ

А она всё время ждала кого-то,
без особо веских на то причин,
И любила мальчиков по субботам,
а по воскресеньям – уже мужчин.
И пила по вторникам капучино,
а по пятницам – с бергамотом чай,
и жила – опять-таки без причины –
незаметно, нервно и невзначай.

Загоралась ярко – но тут же меркла,
прикрываясь мнимой своей тоской.
Собирала марки, снимала мерки,
созерцала мир сквозь калейдоскоп.

По утрам казалась довольно близкой
тем, кто рядом, кто не отводит глаз.
Вечерами томно цедила виски,
и неважно, где, лишь бы фоном – джаз.

Убегала из дому утром ранним
на природу – вечная пастораль,
и ценила дальние расстоянья –
так спокойней, правда же? Просто рай.
И держала всех у себя на мушке,
и сама боялась своих идей,
и летала в Питер – лишь потому, что
как-то ночью Питер приснился ей.

Напевала песни, что в горле комом
[а без них всё плохо, совсем беда],
и писала письма [родным, знакомым] –
отправлять не думала никогда,
в неизменной тайне хранила файлы,
в каждой строчке – чудный, изящный бред...
А однажды утром себя застала
в монохромном жизненном ноябре.

И – конец ответам, конец вопросам,
всё совсем серьезно [не глюк, не баг].
Понимала – это такая осень,
из которой выбраться – не судьба.
Поменяла с возрастом все привычки:
не курила в ванной и в неглиже,
методично жгла и бросала спички,
вместе с ними – что-то в своей душе.

Не смотрела в зеркало – вид усталый
[у суровой старости в кандалах]...
И о чём-то, может, ещё мечтала,
только ничего уже не ждала.
Прожила немного – осталось мало,
всем делам присвоены номера –
ведь всю жизнь старательно умирала,
и в итоге всё-таки умерла.

НЕЗНАКОМЕЦ В СЕРОМ

...И когда на город нисходит ночь,
щерится оскалом
воспалённых звёзд – я иду на дно,
я прошу о малом:
пусть ко мне приходит болтать [пифон],
ночевать [химера],
но когда в мой дом проникает он,
[незнакомец в сером],
и стоит [растерянным божеством]
надо мной – то разом
я теряю весь свой и без того
невеликий разум.
Он не друг, не враг мне, не сват, не брат,
но который вечер
я опять стою [у дельфийских врат]
и толкаю речи.
Повторяя вслух миллион причин,
[завернувшись в тогу],
я прошу его потерять ключи
и забыть дорогу...

Я меняла всё – имена, замки,
города, эпохи,
я бежала с ним наперегонки,
на последнем вдохе
обгоняя – чёрта ли, палача,
падая без силы...
А сегодня он заходил. На чай.
Я сама просила.

ВРАЧ

Снова болтались по крышам и вечным лужам?
В детство впадаете? Выпасть давно пора уже...
Дайте мне градусник, скальпель, и что там нужно.
Мне не для дела. Мне просто для антуража.

Истинный врач не нуждается в этих штуках.
Я нарисую на белом листе таблетку –

вот вам рецепт. Созерцайте три раза в сутки.
И не забудьте блокнот в голубую клетку.

Дважды в неделю, когда вам удобней будет,
мысли свои излагайте – и тут же жгите.
Хватит скрываться в своей черепной посуде –
я предлагаю на переговоры выйти.

Честное слово, вам станет гораздо лучше;
может быть, станете скоро совсем здоровым...
Индивидуализируя каждый случай,
я ведь лечу не болезнь – самого больного.

НА ВЕТРУ

Каждый новый день – бесконечный блюз.
Сонный город в нём без остатка тонет.
Я гитарой грею свои ладони,
на улыбке странной себя ловлю.

Каждый новый мир неизменно мил,
каждый новый мэн непременно старше.
Здесь красиво, будто на Патриарших,
за открытыми [навсегда] дверьми.

Я стою с мороженым на ветру.
И теперь неважно, что век недолог.
Мне становится непривычно дорог
каждый прежний друг.
Настоящий друг.

ИСТЕРРИКА

Счастливые тоже плачут – примите как аксиому /
палите из всех орудий / кончайте душой кривить.
Всезнающий Терри Пратчетт меня не учил такому
[хоть вера в слепое чудо течёт у меня в крови].

Стреляйте в людей словами / ищите судьбы Энея /
растите в себе отвагу – как сделал бы сам Эней, –

но всё, что нас убивает, не делает нас живее,
а то что не убивает, не делает нас сильней.

В руке догорает спичка. Я снова рыдаю в ванной.
Я снова читаю Терри, и он говорит, что жизнь –
не более чем привычка.
И что-то течёт из крана –
не более чем потеря
последней моей души.

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ

Не принимать участия в войне.
Не спать, не сквернословить, не смеяться,
не мастерить условных декораций
из песен, ритуалов и монет.

Держать ровнее спину, по утрам
дарить поклоны солнцу и свободе.
Домой не возвращаться на восходе
[я обещала Пашке жить без драм].

Не пить [хотя так тянет иногда] –
вискарь из горла, воду из копытца.
И никуда вообще не торопиться –
и никуда вообще не опоздать.

И всё, чему научит этот бег, –
способности ни в чём не истончаться.
Не плакать, не бояться, не кончаться.
Не принимать участия в себе.

ЗА СТЕКЛОМ

Я же помню, точно всё было вот –
отпустив трамвай (всё равно не тот).
Кто-то хитрый под ноги мне кладёт
золотые горы – на зависть инкам.
На дворе октябрь, мне двадцать пять,
я сажусь в автобус (не в свой опять,
но пешком не хочется телепать)

и осеннюю завожу пластинку:
я рисую маркером на стекле
что-то вроде шкафа, в шкафу скелет,
у скелета сердца, конечно, нет –
оттого он мною и уважаем.
Несмотря на боль (у него артрит,
и колено прямо-таки горит),
он со мной отзывчиво говорит.
Помолчим немного – и продолжаем.

Старики ворчат, малыши орут,
мужики сжимают своих гертруд...
Впереди у нас затяжной маршрут.
Не гнушаясь речи высокопарной,
он расскажет мне про тоннель и свет,
и про всё, что видел за столько лет –
до того, как сам навсегда ослеп
и забрался в шкаф под замок амбарный, –
он расскажет про абсолютный ноль,
и про то, как важен самоконтроль,
про борьбу-и-боль, про тоску-и-боль,
и про все печали земной юдоли...

...Я ищу глазами, куда бы сесть –
пассажиры словно застыли все,
нет улыбки ни на одном лице,
а скелет смеётся, скелет доволен.
Я пугаюсь жуткого визави,
я кричу маршрутке – остановись! –
и решительно возвращаюсь в жизнь,
перепрыгнув через кругляк колодца.
А шофёр заходит на новый круг,
и как будто вдруг приглушили звук...

Мой рисунок,
мой безнадежный друг
на стекле
автобусном
остаётся.

С ЦЕПИ СОРВАВШИСЬ

И будет день. И будет дно.
На дне найдётся старый якорь.
Обозначает он одно,
воспринимается – двояко.
У нас свободная страна,
и это знание излишне.
Ты опускаешься со дна,
ты опускаешься всё ниже.

Ты сам привёл себя в тюрьму,
сам затерялся в этом море.
Ты ищешь в истине – вину,
а истину – совсем не в споре.
Прилипнув к якорю, душа
застенчиво свободы просит.

Со временем начнёшь дрожать
и ненавидеть эту осень,
начнёшь бояться темноты,
и перестанешь дуть на воду,
и осознаешь – это ты
сопротивляешься свободе...

Мелькнёт пугающая тень
и плавниками волны взрежет.
И снова дно. И снова день.
Где ничего
тебя
не держит.

Леонид Шелудько

Иная. Повесть	5
Рассказы	38
Стихотворения	57

Сергей Куклин

Рассказы	95
----------------	----

Олег Лапшин

Рассказы	181
----------------	-----

Татьяна Прокопьева

Стихотворения	257
---------------------	-----

Анастасия Губайдуллина

Стихотворения	311
---------------------	-----

Екатерина Сердюк

Стихотворения	351
---------------------	-----

Библиотека томской поэзии и прозы

Том 7

Леонид Николаевич Шелудько
Сергей Александрович Куклин
Олег Валентинович Лапшин
Татьяна Валерьевна Прокопьева
Анастасия Николаевна Губайдуллина
Екатерина Сергеевна Сердюк

Координатор, разработчик проекта,
редактор книжной серии *Г. К. Скарлыгин*

Технический редактор *О. В. Карташов*

Корректор *И. А. Сердюк*

Издание Томской писательской организации.
Отпечатано в ООО «Томская полиграфическая компания».
Подписано в печать --.--.2018 г. Печать офсетная.
Формат 140×240 мм. Шрифт Cambria.
Усл. печ. л. ____. Уч. изд. л. ____. Тираж 1 000 экз.